Государственный архив РФ
ФОНДА р 7055
ОПИСИ 1
ДЕЛА 285

Государственный архив РФ
ФОНДА р 7055
ОПИСИ 1
ДЕЛА 285

Государственный архив Российской Федерации

Лист использования документов

Фонд № р 7055 Опись № 1 Дело № 285

Заголовок дела ______________________________

Дата исполь-зования	КОМУ ВЫДАНО Фамилия, инициалы (разборчиво)	ХАРАКТЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (копирование, выписки, просмотр и др.)	№№ использо-ванных листов	Подпись лица, использо-вавшего дело

Государственный архив Российской Федерации

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА

Фонд № р 7055 **Опись №** 1 **Дело №** 285

В деле подшито и пронумеровано 163 (сто шестьдесят три)

_____ листов
(цифрами и прописью)

с № _____ по № _____

В том числе:
литерные номера листов _____

_____

пропущенные номера листов _____

_____

+ листов внутренней описи _____

Особенности физического состояния и формирования дела	Номера листов
1	2
повр.ся	68, 124

в/спец
Наименование должности работника

Анисий
подпись

_____
расшифровка подписи

23 01 2018 г.

Заказ № 4.18.10.16.13

В. Ф. МАРЦИНКОВСКИЙ

ЗАПИСКИ ВЕРУЮЩЕГО

ИЗ ИСТОРИИ РЕЛИГИОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Центральный Государственный архив Октябрьской Революции и соц. строительства СССР
Ф. № 7055 Оп. № 1 Ц. хр. № 285

ПРАГА 1929

В. Ф. МАРЦИНКОВСКИЙ ЗАПИСКИ ВЕРУЮЩЕГО

В. Ф. МАРЦИНКОВСКИЙ

ЗАПИСКИ ВЕРУЮЩЕГО

Вся Россия лишь страданье,
Ветра стон в ветвях берез.
Но из крови и рыданья
Вырастает ожиданье
Царства Твоего, Христос!
(С. Соловьев.)

Из истории религиозного движения в Советской России (1917-1923)

СОДЕРЖАНИЕ:

Среди народа. Проповедь в храмах. На церк. соборе. Октябрь в Москве. Лекции по вопросам этики и религии в Моск. Университете. Диспут с Луначарским. Работа среди студенчества. Встречи с Патриархом Тихоном. Арест. Проповедь Евангелия в тюрьме Чеки. О евангельском движении. Высылка за границу.

ПРАГА 1929.
Издание автора.
Made in Czechoslovakia. Copyright by author, Prag, 1929.
Tiskem »Legiografie«, Praha XIII., Sámova 665.

2

Памяти отошедшей

матери

3

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В Боге восхвалю я слово Его.
Пс. 55. 11.

Во время великой русской революции, когда разгорелась борьба против религии в России, я испытал в связи со своей религиозной работой некоторые своеобразные трудности и, между прочим, был заключен в тюрьму в результате открытого свидетельства против атеизма, во имя Евангелия Иисуса Христа — и пробыл за тюремной решеткой семь месяцев и десять дней.

Цель моего рассказа не состоит в том, чтобы кого-либо порицать или возбуждать какие-либо политические чувства.

Равно я не хотел бы кого-либо хвалить. — «Хвалящийся, хвались Господом». Я и хочу прославить Его, Царя царствующих и Господа господствующих: Ему дана всякая власть на небе и на земле. Он имеет ключи не только от тюрем, но и от ада и смерти. Его дух позволяет рабам Его не только не подчиняться среде и обстоятельствам, но и господствовать над ними.

Своим рассказом я хотел бы также дать картину из жизни нашего русского религиозного движения и показать, через какие этапы оно проходит.

Я выступаю публично с докладами и лекциями по вопросам этики и религии, в духе Евангелия, уже много лет — еще с тех пор, как в 1904 году, будучи студентом, я

обратился ко Христу и нашел в Нем своего Спасителя и Господа. По окончании историко-филологического факультета С.-Петербургского Университета я стремился проводить свои убеждения на почве педагогии, будучи учителем гимназии (1907—1913).

С 1913 г. я, согласно приглашению П. Н. Николаи, посвятил себя работе в Христианском Студенческом Движении в России и выступал с лекциями соответственного содержания в Университете и других высших учебных заведениях Москвы, Петрограда, Киева, Одессы, Самары — при чем обычно устраивал после этих лекций свободный обмен мнений.

С начала революции моя лекционная деятельность не изменилась в своем содержании и не сократилась в объеме, — наоборот, она еще более возросла вместе с увеличением интереса к вопросам христианства, как среди интеллигенции, так и среди народа вообще.

Эта духовная работа в дни антирелигиозных выступлений естественно привела к различным трудностям. Их то я и хочу описать, попутно касаясь также и крупных событий, имевших значение в духовной жизни России и бывших предметом моих непосредственных переживаний и наблюдений. Рассказ мой неизбежно будет несколько односторонен, ибо я — лишь капля в безмерном русском море. Но тот, у кого острое чутье, по вкусу и запаху капли может составить себе представление о характере безбрежной русской стихии.

СРЕДИ НАРОДА.

Свои лекции я читал не только для студенчества и интеллигенции вообще, но также для рабочих и крестьян.

Работа в деревнях, «хождение в народ», привлекали меня еще со времени студенчества. Уже с 1906 года я ходил в летнее время, а иногда и зимой, во время рождественских каникул, по деревням, фабрикам и заводам в одежде простолюдина в качестве книгоноши св. Писания с кожаной сумкой через плечо. Одним летом я странствовал в течение двадцати дней по берегам Волги (пользуясь бесплатным сквозным билетом О-ва «Кавказ и Меркурий»); я возил за собой на пароходе большой ящик св. книг и, прибыв к известному пункту, оставлял его на пристани — забирая с собой в пешеходное путешествие по окрестным деревням нужное количество экземпляров.

Часто приходилось читать народу из Евангелия, беседовать, отвечать на вопросы. В своем родном селе я устраивал во время каникул такие открытые собрания у плетня: сначала читал и объяснял какой-либо отрывок из св. Писания, затем прочитывал в качестве дополнительной иллюстрации подходящий небольшой рассказ из русской художественной литературы.

Новая эпоха русской жизни породила множество вопросов в деревне, — а с ними и желание разрешить их в свете Божьей Правды. Когда же в деревню стала прони-

кать атеистическая пропаганда, интерес к религиозным беседам возрос до крайней степени.

Одну из таких религиозных лекций я сейчас опишу.

В начале 1918 года в большом селе Тверской губернии была назначена моя лекция на тему «Евангелие и свобода». Ее основное содержание было посвящено этическим вопросам, вызванным новым строем жизни. — Революция строя и форм требует революции духа. Свобода может привести к анархии и произволу, если она дана человеку, носящему в душе эгоистические навыки и низшие инстинкты. Гражданской свободой может разумно пользоваться лишь человек, нравственно обновленный: он должен иметь новые желания, новые навыки, новые благородные понятия о личности, о собственности, о долге и общественном благе. Только Евангелие раскрывает в совершенном смысле эти возвышенные идеи, и только Христос делает человека способным их осуществлять, возрождая его к новой жизни. —

Таковы были основные тезисы моего доклада.

Лекция должна была сопровождаться музыкальными иллюстрациями, — а именно, пением духовных стихов в художественном исполнении N., окончившей Московскую Консерваторию. В программу входили также световые картины.

Заблаговременно было сделано объявление в окрестных деревнях. В назначенный день мужички потянулись в село Х. на подводах и пешком. Местом собрания служило просторное помещение (человек на 400) во втором этаже народной чайной. К вечеру, когда стало смеркаться, зал был наполнен. Все стояли вплотную. Но народ все прибывал. Уже была запружена лестница. Народ толпился также внизу. В зал втиснулось, по словам хозяина, человек до тысячи. Передо мной была сплошная масса человеческих голов — стоял пар от духоты, доносился гомон снизу. Следовало допустить в зал лишь половину прибывших слушателей. Мой друг (ныне покойный) Николай Л. стоял внизу, наблюдая за порядком. Человек он

был мало практичный и только радовался в детской простоте тому, как народ валом валит, чтобы послушать слово о Боге. Он только поглаживал свою черную бородку и ласково говорил: «ступайте, родные: всем места хватит».

Собрание было открыто пением. Звонкое, чистое сопрано певицы приковало внимание толпы. Она пела известный духовный стих:

I.

«Стучася у двери твоей Я стою, —
Впусти меня в келью свою.
Я немощен, наг, утомлен и убог,
И труден Мой путь и далек.
Скитаюсь Я по миру, беден и нищ,
Стучуся у многих жилищ.

II.

Кто глас Мой услышит, кто дверь отопрет,
К себе кто Меня призовет —
К тому Я войду и того возлюблю,
И вечерю с ним разделю.
Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе —
Я силы прибавлю тебе.

III.

Ты плачешь — последние слезы с очей
Сотру Я рукою Моей.
И буду в печали тебя утешать,
И сяду с тобой вечерять...
Стучася у двери твоей Я стою, —
Впусти Меня в келью свою»...

Потом я начал свою речь. Было очень трудно говорить в этой духоте, в упор к близко стоящим людям, которые все время шевелились, — лучше сказать, качались от натиска прибывающих снизу. Вдруг снизу раздался крик: — «Спасайтесь... в потолке трещина...» В то же

мгновение мы с ужасом видим с эстрады, что каменная печь медленно отклоняется от стены, грозя упасть на головы людей. Она казалась лишь слегка задержанной, как бы повисшей на железной трубе, идущей на чердак. Поднялся невообразимый гвалт; люди в панике теснили друг друга. Некоторым удалось взобраться на окна, и они уже хотели прыгать на улицу.

Никогда не забуду этой картины. Каждое мгновение потолок мог рухнуть (как оказалось потом, 8 железных балок вышли из своих гнезд, и пол выгнулся вниз, образовав нечто вроде корыта). Вся масса человеческих тел вместе с потолком должна была обрушиться на стоящих внизу, да еще печь своим падением усилила бы катастрофу.

«Оттеснитесь к стенам от середины!» скомандовал чей-то решительный голос. (Это, оказалось, был комиссар из соседнего уездного города, человек военный, с привычным самообладанием).

Кое-как образовали внутри проход, и народ стал медленно подвигаться к лестнице.

Крики, визг и плач сменились смехом и прибаутками.

Высокий старик наставительно говорил:

«Если бы на танцы пришли аль на веселье какое непутевое, не собрали бы костей! А тут слово Божие хотели послушать, — вот Бог и помиловал».

Из толпы вносится предложение: «Граждане, идем к отцу Ивану... Пущай ключи от храма даст... Вить, лекция божественного содержания»... Его поддержали многие: «Правильно, товарищ!».

Я сказал: «Лекции с туманными картинами не принято в храме устраивать. Я могу там сказать другое слово, без картин».

— «Просим, просим»... Собрание в храме назначено было в 9 часов утра, на другой день.

Многие остались ночевать в селе.

Утром я произнес в храме перед многочисленными слушателями слово на тему из Евангелия. Местный свя-

щенник был тут же. По окончании слова крестьяне обратились к нему со следующей просьбой: «Так что, батюшка, мы вас просим отслужить благодарственный молебен о спасении жизни... Вчера многие бы живота решились, если бы не милость Господня»...

И священник служил молебен.

Потом просили меня говорить еще раз после обеда из слова Божия, потому что: «люди жаждут, издалека приехамши».

В три часа в том же храме было второе собрание — я опять читал и объяснял отрывок из Библии (из пророка Исаии: «Жаждущие, идите все к водам»).

А вечером состоялась лекция, которую не удалось провести накануне.

Теперь пошли в другую чайную, но в зал (находившийся тоже во втором этаже) впустили по билетам (бесплатным) 400 человек.

Все прошло в строгом порядке, чинно, тихо, торжественно.

Благодарили, просили приезжать еще. Поднесли в подарок большой черный хлеб.

Николай Николаевич ликовал.

— «За все слава Богу! Но вот как мы теперь расчитаемся с хозяином, у которого мы дом, так сказать, раздавили?» говорил я озабоченно.

Мой спутник благодушно поглаживал бородку.

— «А ничего ему не надо! Я уже говорил с ним. Он даже рад. Говорит, теперь, по крайней мере, освободят меня от военного постоя, — потому дом, выходит, бракованый. А то уж очень много хлопот с этими солдатами»...

Дом так и остался непочиненным. Он требовал капитальной переделки: нужно было извлечь балки и везти на специальный железо-прокатный завод. Хозяин ограничился домашным ремонтом. Так и стоит эта чайная по сей день, с вогнутым полом, как один из памятников религиозного движения, которое вызвала в русском народе революция.

В этом же селе и еще в другом, соседнем, мы с одним студентом из местных крестьян распространяли среди народа книги св. Писания.

Опишу одно из таких хождений, тем более, что оно сопровождалось несколько загадочными обстоятельствами.

Взяли мы полную кожаную сумку Евангелий и, помолясь, пошли. Это было зимой. Перед нами было типичное русское село Приволжья. Избы с крылечками и резными украшениями были полузанесены снегом. Тихо, не слышно ни звука — только хрустит снег под ногами, да издали доносится собачий лай. Входим в первую избу. Только отворили дверь, как на нас бросилась с страшным лаем огромная собака, оскалив зубы. Я в страхе отскочил, едва успев захлопнуть дверь. «Ну», думаю, «если здесь такие псы, то мы далеко не уйдем». «Миша», говорю я своему другу, «надо сходить домой — захватить палку». Мой друг, спокойно улыбаясь, говорит: «Ну, зачем палку? И так все будет хорошо»... Я несколько подивился его беспечности — но это было, в сущности, самообладание веры.

Пошли в следующую избу. Опять со двора слышится лай, хотя уже менее грозный. Входим. Вдруг, откуда ни возьмись, втирается за нами в калитку с улицы какая-то другая собака — большая, серая. Она начинает играть с дворовым псом и этим отвлекает его внимание.

В третьей избе мы задержались минут двадцать.

Вся семья оказалась дома — и хозяева охотно купили у нас книгу, с интересом беседовали с нами, благоговейно слушали чтение из слова Божия. Выйдя на улицу, мы видим, что наш неожиданный спутник ожидает нас, сидя на снегу.

Тронулись мы, и он за нами.

Так он и не отставал от нас в течение всего пути — а мы посетили изб сорок. И везде, где случалась собака, наш верный попутчик вступал с ней в переговоры.

«Что это за собака?» спросил я Мишу (а он местный житель).

— «Не знаю... И никто ее здесь не знает... Она нам вместо палки послана», отвечает он, смеясь.

Удивительно и то, что когда мы пришли к краю села, закончив свой обход — то, по выходе из последней избы, мы этой собаки больше не видели. Смотрели во все стороны, но ее и след простыл...

Мы вернулись домой, удовлетворенные своим посевом. Крестьяне приветливо принимали нас и покупали Евангелия, которые для многих были новинкой.

Темна наша деревня.

И как жаль, что духовенство так мало пользовалось благоприятной почвой для благовествования!

Впрочем, тут сказывалась природа государственной церкви.

Священник данного села откровенно признавался мне, что он не верит в совершаемую им литургию. «Но, ведь, надо же кормиться!» с кривой усмешкой говорил он. Он даже пытался устроиться в одну из высших школ Москвы и для этого оставил приход. Когда же поступить в школу ему не удалось, он устроился в другом приходе.

Я не знаю его дальнейшей судьбы, но один подобный «служитель культа» в годы революции отказался от религии и стал заниматься антирелигиозной пропагандой: ему ничего не стоило переменить государственную религию на государственный атеизм. Ибо для духовного лица оффициальной церкви всегда есть опасность считать государство выше религии, а значит, и выше всего.

Этот бывший священник в своем селе говорил: «Граждане, я вас прежде обманывал: никакого Бога нет»... А мужички на это ему и ответили: «Коли ежели ты нас прежде обманывал, так кто ж тебе теперь поверит?»

А как немного надо было усердия, чтобы этот народ вдохновить Словом Божиим! «Ибо жаждет душа его слова»...

Помню, как я в первый раз очутился на амвоне

церкви, в стихаре. Это было 26 июня 1916 года в этом же селе, в день Тихвинской иконы Божьей Матери (престольный день данного храма).

Перед этим я видел сон. (Сны отражают не только то, что было, но и то, что будет, ибо многое из того, что будет, уже п р о и з о ш л о — и оно также может отображаться на светочувствительном, так сказать, экране нашего сознания).

Вижу я, будто стою в церкви, в алтаре. Священник, худой и бледный блондин, кадит и окутывает меня густыми волнами пахучего дыма. Потом надевает на меня голубой стихарь с крестами, шитыми серебром, и говорит: «Помогите мне»...

Так мне снилось. А некоторое время спустя, я оказываюсь в этом, только что упомянутом, селе на берегу Волги.

Был канун престольного праздника. Я со своим другом решил организовать продажу книг св. Писания у входа в церковь — народу ожидалось много, со всех окрестных деревень.

Обратились за разрешением к священнику. Он был как раз в храме. Вдруг он обращается ко мне: «А вы не могли бы завтра сказать проповедь в церкви?» Я даже испугался. — «То-есть, как это? Я никогда не говорил в храме». «Ничего, наденем на вас стихарь... Да вы не бойтесь!.. Евангелие завтра легкое... Вот оно». Он взял книгу с аналоя и открыл место, заложенное лентой: «Вот... Это насчет Марфы и Марии... богородичное. Помогите мне, а то у меня завтра много молебнов...» Он уговорил меня. И я с волнением готовился к своей первой проповеди.

На другой день я стоял в алтаре, одетый в стихарь. И когда священник кадил в алтаре, обращаясь ко мне, — я мгновенно вспомнил сон: все было точно, как тогда во сне — и священник, бледный и худой блондин, и волны кадильного дыма, и голубой стихарь на мне — и даже слова, которые он мне сказал накануне: «Помогите мне...»

Пропели «Отче наш», потом запричастный стих. Я вышел из алтаря на амвон. Передо мною стояло море голов (храм вообще был огромный, построенный помещиками еще во времена крепостного права). Говорилось легко и свободно, и потому что внешний резонанс в этом храме отличный, а еще более потому, что ощущался внутренний духовный резонанс в русской душе, которая никогда не бывает так открыта, как в минуту религиозного воодушевления. А что особенного я говорил? Я лишь иллюстрировал небольшим жизненным опытом отрывок из св. Писания... Но втеснялись в душу простые слова Евангелия о Том, Кто, будучи Сыном Божиим, пришел в дом обыкновенных грешных людей, о Марфе и о Марии, которая сидела у ног Христа, с жаждой внимая Божественному учению.

Я говорил минут сорок. Когда кончил, неподвижно стоявшие люди стали истово осенять себя крестным знамением.

После литургии я пошел в лес. Радость слияния с народом в едином духовном экстазе наполняла душу. О, как возгорелась тогда жажда отдать всю жизнь служению словом этому народу! Перед этой проповедью мне открылись из Евангелия слова, которые так меня вдохновили: «хорошо служившие приготовляют себе высшую ступень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». (I Тим. 3. 13). Только бы иметь смирение, без которого служение приведет не к дерзновению, а к дерзости!

Как-то летом, перед посевом озимых хлебов, крестьяне из разных деревень просили священника отслужить молебен в поле.

Прислали за ним лошадь. Не имея псаломщика, священник пригласил меня с собой для чтения Апостола. Мы ездили из села в село. На поле, за околицей, под синим небом священник облачался в ризу и служил. Потом освящал зерно, приготовленное для посева. Мужики и бабы усердно молились, крестились и низко кланялись. Как глубоко трогает это внесение религии в подлинную,

природную жизнь земли! С церковным пением сливается щебетание жаворонка, ласково шевелит волосы на голове полевой ветерок — и травы и деревья клонятся перед своим Творцом... Я читал положенную на этот случай главу из послания к Евреям, читал по-русски, чтобы было понятнее.

В некоторых селах я говорил крестьянам слово о трех условиях урожая (молитва, любовь, труд).

В ближайшее воскресенье после обедни подошел ко мне один из крестьян и с таинственным видом спросил: «Что это за новое, еврейское Евангелие вы читали на молебне? Вы все поминали евреев... некоторые очень даже смущались»...

Зимой 1918—19 г. я жил некоторое время в одном селе Самарской губернии. Расскажу об одном курьезном случае, свидетельствующем о наших народных воззрениях. С целью отдохнуть я, между прочим, прибегал к так называемому «лежанию на воздухе».

Хозяева мои приспособили для этой цели крылечко у верхней части сеновала; здесь я лежал, укутанный овчинами, и вдыхал живительный морозный воздух. Иногда я оставался в таком положении до сумерек. Крестьяне никогда такого способа лечения не видели, и я привлекал их любопытство, тем более, что место, на котором я лежал, было видно с улицы через калитку ворот.

Молва обо мне по селу пошла уже с тех пор, как я сказал в церкви за обедней проповедь (с разрешения местного священника). Говорил, между прочим, против распространенной в то время выделки самогона («через самогон русский человек сам себя в ад гонит», говорил я для большей понятности).

Однажды, хозяйская дочь (студентка) передает мне, что обо мне ходят разные слухи: «в мороз спит на дворе», «по ночам на звезды Богу молится» — словом, человек необыкновенный.

— «Они вас за святого принимают. И вот просятся некоторые поговорить с вами о своих без вести пропавших

родных... Сегодня я позволила им притти; вы ничего не имеете против? Они тут ожидают»...

Я согласился побеседовать с этими людьми.

Входит баба, крестится на образа, низко кланяется.

«Мы, родимый, слыхали, быдто вы все наскрозь знаете... Душа у меня болит о сыне... Уж который год ни слуху, ни духу... Пропал, значит, без вести... Вот я и не знаю — за здравие ли молиться, или за упокой?»...

Я сказал ей, что слухи обо мне, как об ясновидце, совершенно неосновательны. Но, не желая отпустить эту женщину без слова утешения, я взял Евангелие и прочел ей несколько стихов, которые тогда открылись.

Сказал ей, что судьбу сына надо поручить Богу в молитве — жив ли он, или нет.

Баба благодарила и хотела даже что-то уплатить в награду за мои «труды».

Потом пришли еще двое (кажется, муж и жена). Эти спрашивали о Священном Писании. И опять был хороший повод, пользуясь их простодушным доверием, поговорить о жизни на основании Слова Божия.

«Передайте и прочим», сказал я в заключение, «что я ничего не предсказываю, но о Боге поговорить со всяким рад на основании Слова Божия».

Здесь проявилась, хотя и не по адресу, типичная жажда русского человека — видеть живых носителей Божьей правды; отсюда столь близкий русскому сердцу культ святых, странников, юродивых, хождение за советом к людям духовного опыта и готовность полного отдания себя в их руководство (так называемое старчество).

В НАЧАЛЕ РЕВОЛЮЦИИ.

И на такую-то духовно неподготовленную почву упала революция.

Она пришла неожиданно и повсеместно, поистине, упала как гром.

В Петрограде она родилась «в грозе и буре», под грохот ружейной и артиллерийской пальбы. В Москве же переворот совершился почти бескровно. На Воскресенской площади у Городской Думы*) зачернели толпы народа с реющими над ними красными флагами. Пошли по Тверской, не встречая никакого сопротивления. Городовые исчезли: они, как говорили, переоделись в гражданское платье. Была весна в природе. Была весна и в самой революции. Точно большой народный праздник, праздник свободы наполнял улицы и площади небывалым оживлением, опьянял исступленным весельем! В эти дни члены нашего христианского студенческого кружка рассыпались среди уличной толпы, раздавая маленькие евангелия. Их принимали охотно, с одобрением, даже говорили: «Ну, вот теперь новую жизнь начнем»...

На улицах был расклеен новый журнал с возвышенными, идеалистическими призывами.

Среди них были и стихи Бальмонта:

Когда опять в любовь поверим
И все сердца скуем в звено,
Вновь будем в Кане Галилейской
И слезы претворим в вино.

Подобная поэзия вполне созвучала с народными настроениями Москвы.

Да, это была весна революции, ее романтика...

Настала свобода слова... Заговорили все, кто во что веровал... Лекции, воззвания, летучки, митинговые речи полились проливным дождем на иссохшую русскую почву.

Меня приглашали в ряд городов для чтения лекций.

Такие темы, как «Евангелия и свобода» (Революция духа), о путях к братству, об идеалах молодежи, отвечали моменту и привлекали много слушателей.

---

*) 28 февр. 1917 г. стар. стиля.

Вместе с одним верующим студентом мы совершили лекционную поездку в июне 1917 г. (Полтава, Лохвица, Лубны, Волынская губ., Киев).

У нас не было никаких средств, мы ехали на веру и поистине, — «ни в чем не имели нужды».

Говорили перед молодежью, перед студентами и крестьянами.

В Лохвице украинская молодежь битком набивала большой зал гимназии и выражала свое сочувствие поднесением цветов. Около ста сельских учительниц, съезд которых в это время там происходил, изъявили желание участвовать в группах для систематического изучения Евангелия.

В Лубнах публика, не вместившаяся в зал, слушала с улицы через открытые окна.

В Волынской губернии я устроил собрание в родном своем селе Дермане перед теми же крестьянами, которые и прежде посещали мои евангельские и литературные беседы. Объяснял им, как новые общественные условия и новые лозунги, только при условии евангельского просвещения и духовного обновления, могут содействовать улучшению нашей жизни. Крестьяне пришли в большом числе и слушали с живым вниманием, стараясь вникнуть в смысл новых слов и понятий. «Понятно ли вам сказанное?» спросил я в заключение. «И понятно и приятно», одобрительно ответил один из стариков.

Я не был на родине с 1914 г. Много крови и слез было пролито здесь на родных полях в годы великой войны...

И теперь еще, лежа ночью на сеновале, я слышал гул орудий, доносившийся верст за сорок. Это шло знаменитое наступление «18 июня», под командой Керенского.

«ОКТЯБРЬ».

В октябяре 1917 г. я поехал в Одессу. Уже в самом пути чувствовалось, как неспокойно бурлит русское взбаламученное море. Вагоны переполнены. Расписание не соблюдается. Кажется, в дни этой разрухи родился следующий анекдот. В Лондоне некто подходит к начальнику станции и спрашивает, когда отходит поезд туда-то. Начальник отвечает: «В 12 часов, 5 минут и три секунды». — «Неужели с такой точностью?» — «Ну, конечно... Ведь, время военное».

В Москве же на подобный вопрос начальник станции, махнув рукой, отвечает: «Неизвестно». — «Как так?» — «Да очень просто, — время военное».

Мой поезд приходит в Киев с опозданием.

Вот беда. Значит, я не успею захватить поезд, идущий в Одессу.

Выбираюсь из вагона, натыкаюсь на поезд. Его вагоны и даже площадки забиты солдатами. «Где поезд на Одессу?» спрашиваю я. — «Да энтот и есть. Садитесь скорей... Сейчас трогается»...

Оказывается на мое счастье и этот поезд опоздал.

Неразбериха иногда имеет своеобразный ритм, а давняя привычка к ней помогает русскому человеку не теряться и в дни революционного хаоса. И я «сел», вернее, лишь вскочил на площадку поезда. Стекла в окнах были выбиты; почти всю ночь я сидел, скорчившись от холода, на полу. Но потом удалось попасть в вагон.

В Одессе я читал в анатомической аудитории Университета (на темы: «Вера и творчество» и «Революция духа»). Много записок с вопросами было подано со стороны студентов.

В перерыве профессор анатомии Х. пригласил меня для беседы. Выражал свое сочувствие и при этом советовал как-нибудь прочесть лекцию на тему из Апокалипсиса — именно «о конях»[1]) — утверждая, что шествие

[1]) Откр. 6.

коней — белого, рыжего, вороного и бледного — символически вполне точно отражают ход мировой истории.

Ходил на берег моря. Оно уже чернело предвестием осенних бурь.

Темнело и наше русское море: грозовые тучи скопились над ним.

По улицам разбрасывались прокламации — бюллетени о новом перевороте в Петрограде.

«Власть в руках большевиков».

Еду в Киев. Там назначена моя лекция в Коммерческом Институте — на тему о единении и братстве.

В городе пушечная стрельба. Это берут военное училище. Публики на лекцию пришло мало: человек семьдесят. Пришли, кто был посмелее да жил поближе. Среди слушателей оказался мой законоучитель гимназии о. Владимир (очень уважаемый учениками). Во время беседы он встал и выражал, как педагог, свое удовлетворение по поводу того, что христианские идеалы, к которым его ученик обнаруживал свое влечение еще на гимназической скамье, теперь приносят свои плоды и притом в такое ответственное для общества время.

Спешу в Москву, потому что есть опасение, что путь будет отрезан. По дороге все слухи и слухи, один другого страшнее. В Малоярославце узнаю, что Москва горит... у Никитских ворот... (недалеко от них наша квартира). Революция бушует вихрем красного пламени. Россия в огне... Красный флаг неудержимым ураганом несется по стране...

Вот уже и сюда, в наш поезд, врывается стихия революции. Поезд полон раненых, взятых с немецкого фронта, офицеров. В вагоны входят солдаты в кожаных куртках... Это красные... Они отбирают оружие у офицеров.

Старые кадровые офицеры, едущие в отпуск, угрюмо молчат... Боятся наткнуться на красного. Кто знает?.. Может быть, и этот сосед тоже на стороне красных?.. Жуткая тишина... Страх неизвестности и растерянность...

Словно что-то веками нажитое сорвалось и ухнуло в темную беззвучную бездну...

Я лежу на верхней полке. Достаю из кармана Евангелие. Открывается место — «Христос во время бури»... Я не удержался и сказал соседям: «Позвольте, я прочитаю из Евангелия, тут как раз о текущих событиях говорится»... Мои соседи посмотрели на меня с удивлением. — «А ну, прочитайте». И я стал читать. «И поднялась великая буря; волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. А Он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель, неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что́ вы так боязливы? как у вас нет веры? И убоялись страхом великим и говорили между собой: кто же это, что и ветер и море повинуются Ему?»[2]).

Все слушали внимательно. Потом завязался разговор. Некоторые соглашались с тем, что Евангелие всегда жизненно и правдиво, и, если бы мы были со Христом, то и теперь не боялись бы никаких бурь... Другие возражали. Все отделение вагона оживилось; мертвый штиль угнетенного молчания был разбит.

Приближаемся к Москве.

Поезд задерживается недалеко от станции. Его не пропускают. Неужели не попаду домой?

Еще в Одессе тревожное чувство по этому поводу овладело мной, но меня успокоили слова из Библии, когда я ее открыл: «Господь сказал: от Васана возвращу, выведу из глубины морской»[3]).

Я выхожу из вагона. Уже ночь. Вдали над Москвой зарево — не то от электрического света, не то от пожаров...

Тяжело ухают редкие пушечные выстрелы...

---

[2]) Мр. 4. 37—41.
[3]) Пс. 67. 23. (русск. стар. изд.).

Наконец, поезд трогается — нас окружным путем переводят от Брянского вокзала к Александровскому.

Я выхожу вместе с одним полковником — он, оказывается, живет в Москве, неподалеку от меня. Складываем свои вещи в зале третьего класса. Кто-то подходит и приглашает офицера следовать за ним. Я жду его час, два... Сильно клонит ко сну. Наконец, поручив соседу вещи, иду разыскивать полковника. Язык до Киева доведет, а иногда и подальше...

Попадаю в революционный комитет.

«Здесь такой-то?» — «А вы кто такой? Пожалуйте сюда». Вхожу... За столом сидят красные. Один из них снимает с меня допрос. Настроение у меня отличное, а в таких случаях меня неудержимо влечет к юмору. Меня обыскивают. — «Это что?» спрашивает агент, вынимая из моего кармана маленький металлический предмет.—«А угадайте», говорю я подзадаривающим тоном. Тот вертит вещь в руках... «Что это такое?» уже нетерпеливо спрашивает он. «Динамит», отвечаю я, деланно-страшным тоном. Старший, сидящий за столом, обращается ко мне и, стуча карандашем по столу в такт своим словам, отчетливо и строго говорит: «Товарищ! Не забывайте, что вы стоите перед революционным комитетом».—«Ну, ладно, так и быть, я вам объясню... Это не что иное, как аллюминиевый складной стаканчик»...

— «Ну, то-то... Вы знакомы с полковником Н.?»

— «Нет, я только ехал с ним вместе. И живем мы в Москве по соседству — так хотели идти вместе домой».

Меня отпускают... В город идти не советуют до утра... С рассветом иду с вокзала домой один. Полковника так и не отпустили[4]).

После бессонной ночи иду с вещами в руках, но чрезвычайность положения обостряет мою энергию: я лечу домой, не чувствуя усталости, иду с бьющимся сердцем.

---

[4]) На другой день я проведал его семью и застал его в добром здоровьи среди своих.

Что там, у Никитских ворот? Застану ли своих живыми? Вот и Бронная улица... Поднимаюсь по лестнице, стучу характерным своим способом — сейчас же отворяют. Слава Богу — все живы и здоровы! «Ну, и страху же мы натерпелись! Целую неделю из дому не выходили. А другие в подвалах отсиживаются... У Никитских ворот дом сгорел... Помнишь, большой такой, посреди площади?» говорит мне сестра.

Скоро я побывал и у Никитских ворот.

Этот район оказался местом ожесточенного боя. От пулеметного и ружейного обстрела все стены близлежащих домов были густо усеяны точками, словно политые свинцовым дождем. На тротуарах кучи обломков стекла, также зеркального от витрин, толщиной в мизинец. Большой дом, расположенный посредине площади, разрушен пальбой и пожаром. Впоследствии в его подвалах нашли несколько десятков обгоревших трупов.

Другой огромный дом напротив стоит без части верхнего этажа — уцелел только его железный скелет, сиротливо торчащий кверху...

Жаркий бой, продолжавшийся семь дней, уже приходил к концу. Кремль был взят. Уже висели по стенам декреты новой власти, диктующие противной стороне условия сдачи и помилования.

Ожесточение и злоба улеглись... Тогда —

«Считать мы стали раны,
Товарищей считать»[5]).

Стали убирать убитых... Было объявлено время погребения.

Сначала были красные похороны — под стенами Кремля. Пробравшись кое-как сквозь толпу, я примостился на тротуаре у Иверской часовни, откуда мог все отчетливо видеть.

---

[5]) «Бородино» Пушкина.

Огромные толпы запрудили Красную площадь, оставив проход для процессии. Раздались звуки революционного траурного марша... «Вы жертвою пали»... Вот несут гробы... один за другим... Красные ленты у венков, красные знамена и красные гробы... открытые...

Встречаются изуродованные лица...

Их несут туда, к общей могиле, вырытой под высокой кремлевской стеной...

«Вот тебе, сердешный, и земля и воля», с сокрушением говорит, не выдержав, одна баба, вспоминая известный эсэровский лозунг.

Иногда попадается гроб, покрытый церковной парчей — как видно, родственники некоторых из убитых пожелали совершить над умершими чин отпевания в православной церкви. Идут группы за группами — иногда поют «Вечная память». Но что это? В одной группе медленно, дружно и истово поют молитву: «Свя-а-тый Бо-же, Свя-а-тый крепкий, Свя-а-тый бессмертный, помилуй нас!»

Этот молитвенный возглас не звучит на красных похоронах странным диссонансом и никого не поражает, ибо таинство смерти поднимает толпу выше партийных земных споров.

Несется она, эта скорбная мольба, как вопль к небу, из сердца матушки-Москвы.

Как бы ни думали они политически, но ведь и они, эти отказавшиеся от креста, красные воины, и они сыны ее — плоть от плоти ее и кость от кости ее — и пали они *жертвою* в смертном бою...

Одинаковой скорбью исходит о детях своих и красная мать и белая мать[6])...

Я был и на белых похоронах...

Хоронили юнкеров в храме Большого Вознесенья — на Большой Никитской[7]).

---

[6]) Ср. стихи И. Горбунова-Посадова на эту тему.

[7]) Здесь некогда происходило бракосочетание нашего великого поэта А. С. Пушкина с Н. А. Гончаровой.

Их гробы поставили в ряд, пред алтарем. За ними стояли закутанные в траур, согбенные скорбью родные. Преосвященный Дмитрий говорил прочувствованное слово. Пахло ельником и сосной. Тихим надгробным рыданием, словно сдавленный стон из наболевшей груди, звучало панихидное пение.

«Помилуй раба Твоего»... «Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя»...

При пении «Со святыми упокой» толпа молящихся склонилась на колени. А в конце, когда раздался призыв хора: «Придите, последнее целование дадим умершему», высокие своды храма огласились горьким плачем, взрыдами и стонами сестер и матерей, припавших в последний раз к дорогим останкам.

«Белая мать... красная мать»...

ЦЕРКОВНЫЙ СОБОР (МОИ «ПРАВОСЛАВНЫЕ» ИСКАНИЯ).

Я пишу эти строки по памяти, не имея при себе никаких записей, которые я делал в свое время. Описываю то, что врезалось в памяти неизгладимыми следами (что забыто — это, пожалуй, — «не мое», а лишь постороннее и для моего изложения несущественное).

Я силюсь лишь издали всмотреться в сложное, полное загадок лицо России и увидеть ее в основных очертаниях.

«Русь, вижу тебя из моего прекрасного далека, тебя вижу»...

Собор для православия — основной орган церковной жизни и творчества. О нем мечтали давно все, кто жаждал возвращения русской Церкви к подлинным первоапостольским преданиям. Нарушения правил апостолов и постановлений вселенских соборов в современном православии с болью замечались многими. И я, как ми-

рянин, вдумывался в эту сторону церковной жизни. Многое мне осветило внимательное чтение церковной книги «Правила Свв. Апостолов и постановления вселенских и поместных соборов» (на церковно-славянском языке).

Уже около 1905 года образовалась «группа 32» — объединившая православных священников, искренно и убежденно стремившихся к обновлению Церкви. Издавался журнал «Век», в котором излагались смелые мысли в реформаторском духе.

К людям, болеющим нестроением Церкви, пламенно и вдохновенно писавшим о подлинном выявлении в ней правды Христовой, личной и социальной, принадлежали В. Эрн, В. Ельчанинов, проф. С. Н. Булгаков, В. Свенцицкий. Некоторые из них проповедывали христианский максимализм, или так называемое «голгофское христианство». Многие среди интеллигенции смотрели с надеждой на их выступления. Еще будучи студентом, я познакомился лично с некоторыми из них.

Вообще, личная беседа с глубокими людьми всегда давала мне очень много, гораздо больше, чем иная хорошая книга.

Я посещал собрания «Религиозно-философского общества имени В. С. Соловьева» в Москве, где дебатировались эти церковные вопросы, беседовал с выдающимися представителями православия.

Однажды, приехал в Москву старец Оптиной пустыни Анатолий, на всю Россию известный своей духовной прозорливостью. Остановился он в частной квартире Ш., на Малом Толстовском переулке. В назначенный день с шести часов утра у него начался прием. В тесном коридоре толпились люди, пришедшие за советом. Пришла и моя очередь. Я вошел. Старец сидел в кресле. Он очень ласково приветствовал меня, преподав благословение.

Удивительная простота, мягкость, тишина чувствовались во всем его облике. Говорил он не совсем ясно, слегка косноязычно. Расспрашивал меня о моей жизни, о духовных затруднениях. Перешли к церковному во-

просу. «Скажите, батюшка, в чем вы видите главную причину того, что возрождение православной Церкви так плохо подвигается вперед?...

Старец подумал, слегка вздохнул и очень серьезно сказал:

«На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи».

Когда я впоследствии читал биографию Амвросия Оптинского и познакомился с теми притеснениями, которые чинили синод и архиереи по отношению к глубоко благочестивой Оптиной пустыни — я лучше понял слова старца.

Знакомство с такими светлыми личностями дало мне почувствовать в среде православной Церкви, на ряду с казенной, оффициальной ее стороной, иную положительную стихию.

Такое же светлое впечатление я вынес из книги П. Флоренского «Столп и утверждение истины». Я целое лето штудировал это значительное, глубокое произведение о православии. После того я ездил в Сергиев Посад и посетил автора. Его вдумчивый и крайне простой облик, напоминающий обыкновенного послушника (войдя в комнату в простом подряснике, он «преломился» в поясе иноческим поклоном) — лишь дополнил и оживил многое, прочитанное из этой красиво и вдохновенно написанной — я бы сказал — поэмы о Церкви.

Старчество — это своеобразный институт православия, своего рода поправка (корректив) к мертвой оффициальной церковности. К старцам, как к опытным духовно людям, народ идет со своими скорбями и печалями, прося их молитв и советов.

Некоторые из них обладают даром ясновидения, но, конечно, и это не обеспечивает непогрешимости в человеке.

Мои друзья, ревнующие о чистоте моей веры и чувствующие в моих взглядах расхождение с некоторыми сторонами современного православия, посоветовали мне

однажды посетить старца Алексея в Зосимовой пу́стыни (это недалеко от Сергиева Посада).

Я прибыл туда вместе с друзьями. Среди них был один молодой человек, который перед этим потерпел тяжелый удар в семейной жизни и теперь болел вопросом о разводе.

Нам отвели место в монастырской гостинице. Мы посещали богослужения... Было много молящихся, паломников с разных сторон. У старца, принимавшего на клиросе храма, была большая очередь — и я не мог попасть на прием к нему в первый день.

Пустынь была красиво расположена. Нам позволялось гулять в саду. Помню — я зашел в одну небольшую часовню. Внутри ее был колодец с светлой родниковой водой. Наклонившись над ним, я вдруг увидел на водной глади ясный лик Иисуса Христа. Оказывается, в куполе часовни был нарисован красками образ Христа — и Он отражался в воде, как в зеркале, когда она была спокойна.

Не так ли душа, словно глубокий колодец, может отображать в себе Божественный Пречистый Лик, если она от всего земного отрешена, глубоко, невозмутимо спокойна и обращена к Господу, «взирает на Иисуса» — согласно слову Апостола? О, если бы мысли и желания нашей души были чисты и прозрачны, как светлые воды криницы! Тогда мы постоянно были бы способны отражать небесную красоту.

Вхожу в храм. Вижу, как мой юный друг весь в слезах, словно пришибленный, сходит по ступенькам клироса, где он только что беседовал со старцем. Оказывается, последний поразил его своим уклонением от его главной сердечной скорби: вместо того, чтобы помочь ему разобраться в семейных трудностях, он сурово обличал его в лютеранской ереси и наставлял в правоверии.

Я был принят на другой день. Узнав, кто я, он заволновался. «Ты из христианского кружка? Руководи-

тель? Как твое имя? Владимир? Так, ведь, уже вчера у меня тут был такой?...»

Ну, думаю, вот и разгадка слез моего друга.

Чашу обличения, предназначенную для меня, пришлось испить ему, и какой растравляющей горечью пролилась она на открытые раны этого несчастливца! Конечно, немалая вина за это лежала на моих друзьях, которые сочли нужным предупредить старца относительно меня и этим повредили его непосредственному чутью и вдохновению.

— «Это, видно, батюшка, произошло недоразумение: вчера был у вас мой друг, а он тоже Владимир».

— «Ах, вот что! Ну, ну... А скажи, ты признаешь Символ веры и вселенские соборы?»...

— «Да», сказал я.

— «Ну, это хорошо... Так, так... Держись истинного пути»...

И дальше он изложил мне еще некоторые советы, касающиеся духовной и нравственной жизни.

Это было приблизительно в 1914 году.

Позже, в 1915 году, я по смерти своего отца посетил два скита, лежащие недалеко от Троице-Сергиевской лавры: Черниговский и Гефсиманский.

В первом я познакомился со старцем Порфирием, учеником знаменитого старца Варнавы.

Портрет последнего, написанный масляными красками, во весь рост, красовался в его келье.

О. Порфирий человек простой, из народа.

После беседы с ним, он предложил мне остаться посидеть у него (на сундуке — обстановка его приемной кельи очень простая). Рядом со мной лежала куча писем, присланных ему с разных концов.

Тихий стук в дверь. «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», слышится извне.

— «Аминь», отвечает старец.

Входит пожилая крестьянка. Она осеняет себя крестным знамением и творит земной поклон сначала на об-

раза, потом старцу. Остается на коленях, пока он говорит с ней. Ведь, она верит: все, что старец скажет ей, это от Бога.

Потом пришел человек попросту одетый — вероятно, посадский житель. Он советовался о каких-то хозяйственных делах. Старец посоветовал ему что-то продать. Вслед за его уходом вышел и я. Крестьянин медленно шел передо мной. Он, видно, не согласился с данным ему советом. «Продать?...» бормотал он тихо: «как бы не так!»...

Службы в монастыре длинные. За всенощной, как только началось чтение бесконечных кафизм на малопонятном языке — я поразился звучным шепотом и говором, вдруг раздавшимся по всему храму, — это, оказывается монахи, стоящие длинными рядами по бокам, мирно беседуют между собой. Стоя изо дня в день на длинных службах, притом не все понимая из читаемого, они не выдерживают и переходят к разговорам.

В Гефсиманском скиту принимает старец Иаков — совсем непохожий на о. Порфирия. Это суровый, властный и строгий аскет, в то время как Порфирию более свойственны умиление, улыбка и даже шутка...

Я ждал в соседней келье, пока он кончит беседу с посетителем.

Мое внимание привлекло какое-то писание на стене. Оказывается, это была присяга на верность государю. Изложена она была в той же форме, в какой она обычно требуется от каждого чиновника, начинаясь словами: «Клянусь Всемогущим Богом...»

На меня она произвела подавляющее впечатление, как отражение того печального кесаропапизма, господства светской власти над духовной — которою добровольно угашает свою свободу наша иерархия.

Ибо, как правильно говорит Мережковский, Церковь не потому стала мертвой, что государство подчинило ее себе, а наоборот: потому государство подчинило Церковь,

что она оказалась мертвой. Государственный корабль мог и должен был взять ее на буксир.

Когда старец позвал меня к себе, я направил главную часть разговора на вопрос, которым так болел тогда — на тему об отделении Церкви от государства... На это старец сурово и сухо сказал мне: «Оставь этот вопрос вовсе... а лучше, как учат наши подвижники, внимай себе». «Внимай себе», — еще раз строго сказал он мне на прощание[8]).

На дворе я встретил пожилого монаха, исполняющего черные работы. Мы о чем-то разговорились с ним, — он не выдержал и высказал свою скорбь по поводу развратной и праздной жизни некоторых монахов близлежащей Троице-Сергиевской лавры.

Кончились дни, когда я мог проживать в монастырской гостинице. Мне предложили ночлег в Гефсиманском скиту. Старик-монах принес мне и ужин из трапезной — гречневой каши с постным маслом.

Спать там мне не удалось — ибо, лишь только я улегся, зашевелилось очень неприятное население — оно и понятно: комната посещалась богомольцами со всея Руси. Пришлось спасаться немедленно. Монах удивился такой моей чувствительности и отпустил меня. Я пошел, куда глаза глядят, хоть на вокзал.

Было поздно. На пути встречаю новое здание — оказывается, это был новый монастырский лазарет, еще не открытый для приема больных. С улицы видны были светлые, только что выбеленные коридоры.

«Дай, думаю, попрошусь сюда ночевать»...

Вхожу. Навстречу выходит послушник, худощавый

---

[8]) Я посетил также, находящиеся в монастырском дворе, глубокие подземные пещеры, в которых встарину известные иноки предавались тяжкому подвигу аскезы. Этот род сурового самоумерщвления характерно отражался в облике старца Иакова. Оба старца воплощают в себе две существенные стихии православия, давшие два типа — аскетизм и любовь (ср. два типа в «Детстве» Горького, выраженные в образах отца и матери).

блондин средних лет с приятным цветом лица и русыми вслосами. Как ласково и смиренно он принял меня! Сразу засуетился, отвел меня в чистенькую комнату, где были железная кровать и стол; принес маленькую лампу. На утро стучится и входит с самоваром. Словом, принял меня, как родного, с таким усердием и истовым русским странноприимством, — «как для Господа». Я прожил там несколько дней и отогрелся соприкосновением в лице этого послушника с подлинной народной, русской добротой. Он усмотрел во мне тоже как бы инока и убеждал меня всегда ревновать о благочестии — «ради Христа и Его Пречистой Матери».

В свете всех этих исканий и хождений понятно, с каким живым интересом я отнесся к вести о том, что будет собор.

Мои мечты об истинной Церкви вылились как-то в странный и причудливый сон: на темном фоне ночного неба я созерцаю большой храм, весь сияющий бесчисленными звездами, не нарисованными, а настоящими, небесными, и от него распространяется благоухание, как от ароматного сада. Звездная Церковь, «небо на земле» — так переживался мною в моем воображении идеал Церкви.

И вот наконец был объявлен созыв собора.

Во время выбора делегатов я был в Тверской губернии. Организаторы местного предвыборного собрания предложили мне сказать слово его участникам. Вместе с сельским диаконом я поехал в соответственный приход, верст за двадцать — и здесь в храме имел большую радость выразить свои заветные думы относительно возрождения христианской общины.

Наконец открылся и самый собор (15 августа 1917 г. ст. ст.).

Мне удалось получить пропуск на места, предназначенные для гостей.

Заседания собора происходили в большом зале нового Епархиального дома, на Лиховом переулке (прилегающем к Садовой улице).

Я поднялся по широкой мраморной лестнице и вошел в зал... Скамьи для гостей помещались в самом конце, но так как они находились на возвышении, то вся картина заседания была передо мной, как на ладони.

Впереди открыта раздвижная стена, так что виднеется внутренность алтаря: иконы, крест, семисвещник сверкают позолотой. Перед алтарем, за большим столом, сидят иерархи; среди них митрополит Антоний, который и был на этом собрании председателем. С правой стороны трибуна для ораторов.

Все остальное пространство зала занято рядами стульев, на которых сидят делегаты.

Так вот он собор... сердце и совесть Церкви...

На трибуну всходит очередной оратор — благообразный старец с белой, как лунь, головой.

Зал притихает. Оратор начал свое слово чтением 15-ой главы от Иоанна, где Христос учит об условиях всякой плодотворной работы. Очевидно, старик хотел направить мысли и сердца делегатов на путь единения, в русло евангельской истины. Ибо, как я слышал, на соборе чувствовалось разделение и неглубокий подход к церковному вопросу.

«Я есмь виноградная лоза, а Отец Мой — Виноградарь; всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода».

«К делу! К делу!» слышатся со скамей нетерпеливые возгласы.

Старец смущенно озирает зал — и, справившись с собой, продолжает читать Евангелие.

Протесты усиливаются и растут. Сквозь шум и ропот я слышу долетающие слова, словно кроткий, но вла-

стный голос Христа, Главы Церкви, прорезывает лучами темную и ропотную мирскую стихию, опутавшую Церковь:

«Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего».

В перерыве ищу встречи с епископом Андреем Уфимским.

Он давно привлекает мои симпатии своим идеализмом, одухотворенным обликом и ревностью о подлинном древле-церковном благочестии. Перед тем он выступал на собрании нашего студенческого христианского кружка в одном из студенческих общежитий (на Грибоедовском переулке) и привлек общее сочувствие своим безыскусственным словом о жизненном, деятельном служении христианской любви.

«Мы тут на соборе в меньшинстве», говорит он с горькой усмешкой: «нас называют за наши требования большевиками... Мой проект о реформе прихода отвергнут... И так отвергается проект за проектом. Остается быть молчаливыми свидетелями». Другие передавали мне, что собор, к сожалению, занимается чуть ли не главным образом вопросами внешними и материальными (как, напр., — о жаловании духовенству). В печати кто-то назвал состав собора «дворянско-буржуазным блоком».

Я был еще раз на соборе — и тогда тоже не вынес светлого, обнадеживающего впечатления.

По отзыву одного из участников собора, профессора О., сообщенному мне недавно в личной беседе, значение собора состояло в том, что он в трудное для Церкви время объединил и сплотил верующих. Таким образом его деятельность была чисто охранительная. О какой-либо творческой или реформаторской работе на нем не было и речи. Между тем, соответственные проекты поступили на собор. Среди них был представленный одним священником доклад о необходимости возврата к практике креще-

ния взрослых, согласно с крещальным чином[9]), требующим, как известно, евангельского просвещения и сознательной веры со стороны крещаемого до совершения таинства. О подаче этого проекта упоминалось в тогдашней светской периодической печати.

В дни собора я посетил епископа Андрея для личной беседы в Сретенском монастыре. Он назначил мне ранний час. Еще до рассвета, в потемках, я едва разыскал калитку монастыря. Епископ принял меня запросто. Беседа с ним дополнила обаяние чистого аскетического облика этого инока-идеалиста, мечтающего о действительном воплощении евангельской правды в церковной жизни. Он говорил мне, что, повидимому, уйдет из государственной православной церкви[10]).

Одним из важных деяний собора были выборы Патриарха. Предложены были три кандидата на патриарший престол: митрополиты Тихон Московский, Антоний Волынский и Арсений Нижегородский. Часть делегатов была против избрания патриарха вообще. Они предлагали опустить в урны, кроме трех записок с именами упомянутых кандидатов, еще четвертую записку, чистую — что означало бы: Господь Иисус Христос есть глава Церкви, и никаких видимых выразителей какого-либо главенства в ней быть не должно.

К этой части собора принадлежал проф. Н. Д. Кузнецов, который и рассказал мне лично об этой детали соборных деяний.

Выборы Патриарха состоялись в Храме Христа Спасителя 18 ноября 1917 г. н. ст. Огромная церковь была переполнена. Мне удалось попасть во-время и быть по близости от архиерейского возвышения.

---

[9]) Изложен в церковном требнике.

[10]) Как теперь стало известным, еп. Андрей перешел к старообрядцам (беспоповцам), последовав примеру петербургского профессора — архимандрита Михаила (ставшего епископом у старообрядцев так называемого австрийского толка, т. е. приемлющих белокриницкую австрийскую иерархию).

У царских врат была поставлена на маленьком аналое икона Владимирской Божьей Матери, а около нее урна. После общей молитвы старец Алексей (из Зосимовой пустыни) вынул записку — на ней оказалось имя Тихона, митрополита Московского.

Он и был провозглашен «Патриархом Московским и всея Руси».

Религиозное настроение народа все с большей силой искало своего выражения. 28 января 1918 года состоялся грандиозный крестный ход всей Москвы на Красную площадь.

Стоя недалеко от Лобного места, я видел, как с различных улиц втекали на площадь бесконечные потоки московского люда, возглавляемого духовенством с крестами, иконами и хоругвями, сверкающими золотом. Говорили, что в процессии участвовали сотни тысяч человек. Пели пасхальный тропарь: «Воскресение Твое, Христе Спасе»...

Повидимому, народ чувствовал уже приближение суровой борьбы с религией и хотел выразить свое сочувствие Церкви.

Со временем крестного хода случайно совпала моя лекция на Высших Женских Курсах на тему: «Живая вера и творчество жизни».

Я еле попал в трамвай, который медленно двигался по запруженным улицам. В толпе чувствовалось возбуждение нездорового характера. Когда я ехал по Арбату, какой-то господин в котелке «висел» на подножке трамвая, держась за рукоять. Вдруг кто-то из проходящих с криком: «шапки долой!» сбил палкой с его головы котелок. Неподалеку возвращались с хоругвями участники крестного хода — и сочувствующие встречали их, согласно религиозному сбычаю, с открытыми головами.

ДУХОВНЫЙ РАЗВАЛ.

23 ноября 1918 года был обнародован декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви.

Практически власть с самого начала не только отстранилась от поддержки религии, но и вступала с нею в борьбу, во всяком случае там, где была или только подозревалась за религиозной деятельностью политическая подкладка.

Народ массами стал отпадать от Церкви, поскольку он принадлежал к ней лишь формально.

И как обыкновенно, отпадение легко перешло в богоборчество, атеизм в антитеизм. («Кто не со Мной, тот против Меня»).

На смену государственной религии явилась государственная безрелигиозность и антерелигиозность.

Палка, перегнутая в одну сторону, теперь откачнулась в противоположный край, и, согласно русской повадке и способности к исступлению — привела к крайности.

В центре Москвы, на месте иконы Спасителя, укрепленной в стене бывшей Городской Думы, над Иверской часовней — теперь красовался рельеф: «Религия есть опиум для народа».

В другом месте Москвы, на одной из улиц я видел висевшую поперек тротуара вывеску (сделанную масляной краской на жести) со словами: «Нет ни Бога, ни природы».

К такому выводу приходит умствование, когда оно перехватывает через край, по известному выражению, «ум за разум заходит» (когда, по Достоевскому, «малый ум», в силу душевного извращения, становится выше «большого ума»).

А русские мужички в простоте своей немедленно стали применять безбожие к делу.

В одном селе Казанской губернии крестьяне вынесли престол из храма на улицу и расположились вокруг него обедать.

Однако местные татары не потерпели такого поругания святыни. Они отобрали престол и поставили его на место.

Еп. Андрей Уфимский благодарил по этому поводу в специальном письме, помещенном в печати, магометанского муфтия за то, что он так хорошо воспитал в религиозном отношении своих прихожан.

Позднее я не раз наблюдал, как хлеб, картофель и прочие товары в лавках и на базарах отпускались покупателю в мешках, сделанных из красивых «пергаментных» листов напрестольных евангелий — с каемками, заставками и красными строками. Оказывается, запас заготовленных Синодальной Типографией евангелий попал на рынок — и торговый люд, ничтоже сумняшеся, пустил в оборот страницы из Вечной книги, как обыкновенную рыночную принадлежность.

И не обратилось ли в самом деле Евангелие в обмирщенном христианстве лишь в предмет торговли, который мы продавали за тридцать сребренников на рынке мира сего?

И не обратился ли вообще храм — «дом молитвы», в дом торговли, в чем гневно упрекал Господь народ израильский, когда изгонял торгующих из храма?

И вот для обличения нашего Евангелие попало на базар, на прилавок торгаша, в качестве оберточной бумаги.

Эти измятые и захватанные драгоценные реликвии хранятся у меня, как печальные и выразительные напоминания о том, что св. Евангелие надо не только распространять как книгу, но надо его и объяснять народу. Здесь опять прав Достоевский, который говорит устами Зосимы: «Толкуйте народу Евангелие неустанно». «Гибель народу без слова Божия», и именно без его разумения и приятия всем сердцем.

«А если Бога нет, то все позволено», — таково, ведь, русское умозаключение, доведенное до своего конца.

Вот тут-то и оправдался пророческий стих из «Бесов» Достоевского:

Идут мужики,
Несут топоры, —
Что-то страшное будет...

Приведу одну из ужасных сцен, в которой пал жертвой один из моих друзей, инженер Д.

Это было в Тамбовской губернии.

Дом в имении некоего помещика был осажден озлобленной толпой, которая вознамерилась сжечь его в его собственной усадьбе.

Тут же случился проездом мой друг, ехавший вместе со своим знакомым, юношей А. Инженер стал уговаривать толпу. Эти уговоры дали помещику возможность спастись, обоим же новоприбывшим стоили жизни. Ожесточенные подстрекатели прежде всего размозжили булыжником голову юноше А. Затем стали бить инженера. Тот принялся от них бежать. Кто-то догнал его и проткнул сзади железными вилами. С этим страшным железом в спине, обливаясь кровью, он выпрыгнул в окно. Его настигли. Он видит, что смерть неминуема. «Братцы, позвольте в последний раз Богу помолиться», простонал мученик. Его лицо было изуродовано, выбиты зубы. Толпа затихла. Он стал на колени среди народа и молился, истово крестясь. «Ну, теперь делайте со мной, что хотите». Лишь только он кончил молиться, ему набросили на шею веревку и поволокли к речке. Бросили в воду, но он все всплывал. Наконец, после больших усилий, его утопили.

Это был редкий, кристальной души человек, кроткий, тихий, умевший и любивший усовещевать и способный положить «душу свою за други своя».

Как святая Русь вдруг стала несвятой, и народ-бого-

носец стал, по выражению одного русского умного человека, знатока русской жизни — чертоносцем?

И неужели так неглубока была позолота?

Почему оказалась она сусальным золотом, которое смыли первые потоки революционной грозы?

Вскоре я услышал разгадку из уст самого русского крестьянина-красногвардейца. Но об этом ниже.

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖАЖДА.

Гибель народу без слова Божия,
ибо жаждет душа его слова».
Достоевский.

Вернувшись однажды вечером домой, я нашел у себя на столе письмо, спешно вызывающее меня в Тулу для чтения лекции. Нужно было ехать в тот же вечер, так как зал был снят назавтра.

Я поспешил на Курский вокзал. У кассы стояла длинная очередь. Ко мне подошел какой-то господин, предлагая перекупить у него билет (оказавшийся ему ненужным). Я отнесся к нему с недоверием, опасаясь за действительность билета, но все же взял его, и хорошо сделал — ибо, как потом выяснилось, в тот день на Тулу больше билетов не продавали.

Ехать было очень неудобно. Пришлось стоять на площадке с выбитым окном. Был мороз, дул резкий ветер. Предстояло часов семь пути и притом ночью. От усталости и желая укрыться от ветра, я опустился на пол (место мое было как раз у открытого окна) и сел между солдатских сапог, так как вся площадка была забита красногвардейцами.

Каждый из них по очереди придерживал у разбитого окна большой грубый мешок для защиты от холодного ветра.

Один из солдат похвалялся грабежами и убийствами, в которых он участвовал в дни революции.

Я не выдержал, встал из своего уголка и спросил рассказчика: «Разве Христос в Евангелии учил так делать?»

— «А нешто мы его читали? Мы только крышку Евангелия целовали... А что в ём писано, того не знаем».

Поистине, «гибель народу без слова Божия».

В этих откровенных словах заключается разгадка и русского безбожия и нравственного одичания — по крайней мере, в их значительной части. Об этом я размышлял, опустившись опять в свой уголок на дне площадки.

Через некоторое время мои мысли были прерваны: «Товарищ, вставай, твоя очередь держать мешок».

Я встал и, прижимая мешок локтями, прислонился к раме. Сердитый ветер врывался через щели и немилосердно обдавал меня стужей.

Вот и Тула. Типичный для старинных среднерусских городов кремль с храмом и зубчатыми стенами.

Знаменитый оружейный завод, работающий по-прежнему.

В этом городе были прочитаны мною лекции для гимназической молодежи.

Через некоторое время с этой же целью я был приглашен в Рязань, в «Дом юношества».

Здесь я читал несколько раз при переполненном зале.

Видно было, что молодежь чувствует себя на распутьи и силится среди множества лозунгов и призывов найти верную дорогу. Для нее специально я разработал несколько лекций: «Молодость и жажда подвига», «Душа молодежи», «Новый строй и нравственные задачи молодежи» и т. п.

Единственное, что может удовлетворить молодежь, говорил я, это прекрасное действие в жизни, т. е. подвиг.

Без него жизнь будет лишь «неподвижным движением».

Религия без подвига — это религия старости.

Подвиг без религии неосуществим.

Я ставил перед молодежью два вопроса: 1) удовлетворяет ли ее призыв Христа к подвигу жертвенной любви? 2) нуждается ли молодежь в благой вести Евангелия о Христе, как источнике творческой силы?

Другими словами — «нужны ли птице крылья?»

Я старался говорить им их собственным языком, например, цитируя слова из одного студенческого письма, полученного мной: «Страшно потерять молодость!» Между тем, учение Христа — есть Евангелие вечной молодости. Тот, кто прожигает молодость для себя, тот потеряет ее — и некогда, оглядываясь на свое прошлое, с его светлыми порывами, будет переживать тургеневскую печаль: «Как хороши, как свежи б ы л и розы!..»

Но тот, кто отдаст свою молодость Христу, тот ее приобретет, тот постигнет тайну вечной бодрости, энтузиазма и творческой силы. Молодость Христу! И скорее, пока душа отзывчива на все возвышенное и прекрасное.

«Смотри, чтобы день жертвоприношения не склонился к вечеру, прежде чем ты успеешь положить дар твой на жертвенник» (Тагор).

Новый строй, устранивший старые внешние авторитеты, ставит перед молодежью новые задачи: предоставленная самой себе, она более, чем когда-либо, нуждается в выработке духовной самодисциплины и нравственной самообороны против тлетворных влияний жизни.

Молодежь чутко прислушивалась к призывам Евангелия. Образовались кружки для его изучения и практического, деятельного применения заветов любви и чистоты в жизни.

Я получал много писем от молодежи — в них много было благоуханного юношеского идеализма. Но рядом звучали ноты сомнения, искания, иногда отчаяния.

Одно из этих писем постигла странная участь.

Некий юноша — студент писал мне о своих религиозных сомнениях, прося совета, — как их преодолеть.

Каково же было его удивление и разочарование, когда он получил на это письмо ответ (за подписью моей фамилии) следующего содержания:

«Друг мой, неужели вы верите, что я искренно проповедую религию? Я делаю это только потому, что мне хорошо платят»...

Хорошо, что юноша показал это письмо той даме (хорошо знавшей меня), которая посоветовала ему написать ко мне.

Тогда все выяснилось. Письмо было кем-то перехвачено, и этот злой шутник взялся подделать мой ответ. Но «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным».

Вскоре я был приглашен для чтения лекции во Владимир-губернский от культурно-просветительного отдела местного исполкома. (В этом городе я читал однажды еще в 1916 году, и теперь мои знакомые содействовали данному приглашению).

Я отправился туда с одним студентом.

По приезде мы сразу натолкнулись на препятствие. Оказывается, под влиянием одного педагога-материалиста, лекция была отменена.

— «Почему вы нам не сообщили? Мы напрасно приехали».

— «Не успели».

Но — все к лучшему.

Мы решаем попытаться все же устроить лекцию, хотя бы в другом помещении (первоначально исполком предоставил для нее Народный Дом).

Наша знакомая, местная жительница, отправилась искать зал. Мы вдвоем стали на колени и просили помощи у Бога. Скоро дама вернулась, сказав, что для лекции предоставлено железнодорожное депо.

Мы начали действовать. Написали синим карандашем афиши (с заглавием: «Евангелие и свобода»), сварили из муки клею и пошли на главную улицу.

Студент несет бутылку с клеем и пачку афиш; я его сопровождаю.

Останавливаемся у первого столба для объявлений. Мой друг молча, флегматично и медленно намазывает место клеем... Проходящие останавливаются. Молча с любопытством дожидаются — что за афиша будет наклеена?

Толпа увеличивается. Мы идем дальше. Опять любопытные. Никто не спрашивает о разрешении.

Вечером в 7 часов идем в депо.

Там уже заранее должны были поставить столик для продажи билетов.

Но в зале мы застаем неожиданную картину. Он переполнен. Столик да и скамьи в зале были смыты нахлынувшей толпой.

Люди громоздились и на эстраде.

Передо мной было море голов.

Куча записок с вопросами росла передо мной, на столике (типичные вопросы: существует ли Бог? верите ли вы в мощи? кто написал Евангелие? существует ли загробная жизнь? верите ли вы в чудо?).

После лекции была оживленная беседа.

На другой день в местной газете появилась заметка с выражением благодарности за популярное изложение евангельских истин, столь необходимых в наше тревожное, критическое время. Так «Бог отверз нам дверь для слова» и в этом случае.

Однако, то или иное препятствие перед лекцией я наблюдал как правило.

Оно подтвердилось вскоре еще в одном случае — а именно во время посещения маленького старинного русского городка Владимирской губернии — Юрьева-Польского, куда пригласили меня знакомые.

Приехав туда, я вздумал наклеить на улицах выпущенное нашим кружком еще в начале революции воззвание чисто-религиозного характера: в нем русский народ призывался к мирному труду и взаимному единению в духе Евангелия, во имя Христа.

Только наклеил несколько этих листочков — как вдруг подходит ко мне «милицейский». — «Вы что тут клеите? А разрешение у вас есть? Кто вы? Откуда?» Пригласил меня в исполком. Там как раз происходило деловое собрание — сидели простые русские люди из мещан и рабочих. Они отнеслись ко мне не с угрозой, а с любопытством.

Я прошу отпустить меня, так как я должен читать лекцию. Не тут то было: оказался задержанным. Сижу час, два. Наконец врывается в заседание знакомый врач, который участвовал в приглашении меня из Москвы. Выясняется моя личность — и меня милостиво отпускают.

Прав Достоевский не только, когда говорит:

«Гибель народу без слова Божия» — но и во второй половине этого знаменитого изречения: «ибо ж а ж д е т душа его слова и всякого прекрасного восприятия».

Лишнее доказательство этого я видел в русском Манчестере — Иванове-Вознесенске.

Под лекцию был снят городской театр.

Когда я пошел туда, я увидел огромный хвост на площади — это покупались входные билеты. Весь театр с тысячей мест был заполнен.

В беседе выступал известный коллекционер и владелец знаменитого местного музея Бурылин.

Он обратился к молодежи с кратким свидетельством о Боге: «Тут в прошлом году один юноша покончил с собой, оставив записку: если Бога нет, жить не стоит. Это печальное, но убедительное доказательство в пользу необходимости веры», сказал он.

В заключение я пригласил желающих придти на другой день на специальное собрание для более близкого изложения вопроса по Евангелию. Мы думали воспользоваться для этого одной из комнат театра, ожидая человек 50—100.

Каково же было наше удивление, когда я увидал на

другой день опять полный театральный зал (хотя уже не так набитый, как накануне).

Между тем, я намеревался теперь прочесть не лекцию, а одну из глав пророка Исаии:

«Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте».

«Мои мысли не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших».

В иное время было бы странно выступать с Библией со сцены театра. Я упомянул об этом в своей речи. «Мы зачастую превращаем храм в театр — а на самом деле нужно театр превратить в храм. И вот революция духа приведет к этому и уже приводит. Материальная революция не может удовлетворить нас — нужно еще и преображение духа.

Я видел у вас на улицах колодцы; около каждого стоит икона, повидимому, для освящения воды. Но был некогда день на земле, когда у одного колодца в Палестине сидел Сам Христос — и Он звал душу человеческую к утолению ее духовной жажды водою живой...

«Всякий пьющий воду сию возжаждет опять; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». —

Там же была объявлена специальная лекция для молодежи. Нам позволили собраться в зале женской гимназии.

Однако, в час лекции собравшимся было объявлено, что в здании гимназии она состояться не может «вследствие карантина». Между тем толпа учащихся выросла до внушительных размеров (было человек 500). Стали вноситься разные предложения. В результате остановились на каком-то клубе и пошли всей массой. Это было оригинальное шествие молодежи по улицам — в такое время, да еще в этом огромном рабочем центре.

Пришли к зданию, но и тут препятствие — надо добиться разрешения. Ведутся переговоры по телефону. Но толпа молодежи лавой устремляется по лестницам, заливает зал. Шум, гвалт, как обычно среди юношей и подростков. Они стоят близко около меня — я говорю почти в упор. Излагаю свои мысли на тему:

«Отвечает ли Евангелие запросам молодежи?»

Я верил и верю, что русская молодежь обладает глубокой, пытливой душой, жаждущей цельности в жизни, как это выражает у Достоевского Алеша Карамазов: «Пойти за Христом не значит сходить к обедне, и отдать все Христу не значит дать два рубля нищим».

Мне всегда казалось, что именно к молодежи обращено прежде всего Евангелие, во всяком случае, к людям, молодым духом, способным мечтать, дерзать, томиться и жаждать, умеющим прямо смотреть на Солнце, в то время как люди, старые душой, предпочитают полусвет мещанских идеалов сытости и самодовольства.

«О юность, мощь в тебе орлиная летать!»
(Мицкевич).

У АНАРХИСТОВ.

Анархизм относится к характерным элементам русской души, ибо безначалие, безудержность и исступление — искони ей родственны и близки.

Вне дисциплины государства народная душа имеет два выхода: или она падает вниз, в подполье первобытного, разнузданного дикаря (это безначальная стихийность, варварство, свобода без дисциплины); или она поднимается вверх, над государством, из царства необходимости в царство положительной, творческой свободы, царство благодати, — здесь государство не нужно, поскольку в душе царствует Бог.

Однажды, весной 1917 года, проходя по улицам Полтавы, я встретил агитаторов с кружками для сбора денег в пользу какой-то социалистической партии. Я отказался платить, сославшись на то, что я к этой партии не принадлежу. «К какой же вы партии принадлежите, товарищ?».

«Теократический анархист», брякнул я им полушутя. — «Что, что? Это что-то еще новое опять?»

— «Государство совсем не будет нужно, когда человеческий авторитет уступит место Богу...» Посмеялись и отошли от меня.

Но в самом деле, разве не верно будет сказать, что лучшая «политика там, где нет никакой политики», там, где мыслями, чувствами и поступками человека управляет Высшее Абсолютное Существо?

Деятельность анархистов заметно оживилась зимой 1917—18 г. в Москве. Я посетил некоторые их идейные центры, желая ближе познакомиться со взглядами вожаков этого движения.

Один из этих центров находился в здании Купеческого Клуба, на Малой Дмитровке, недалеко от Страстного монастыря. Большой серый дом. Широкая темная лестница, темноватый зал. Молодой анархист в штатском с винтовкой за плечами (солдат Черной гвардии) направляет меня к бледному молодому человеку, сидящему за столом. Его большие глаза сверкают как угли. Имя у него как нельзя более подходящее: Лев Черный. Он насиделся в тюрьмах при царском режиме, и теперь тоже вот у власти. Короткими фразами он раздает поручения. «Вы, такой-то, пойдете в подрывном отряде». «Вы кто? Желаете вступить в Черную гвардию? Имеете рекомендацию? Что? Этого, товарищ, недостаточно для нас».

Он охотно беседует со мной, развивая свои взгляды относительно свободы, сильной личности. Ото всего веет, как и от черного флага, развевающегося там на улице — темной зияющей бездной смерти, глядящей из глазных впадин черепа.

Грустно, грустно, как на кладбище! Так жалко этих молодых людей, души которых отравлены ядом смерти. Настрадались они и озлобились, не видя света, — а душа томится в тисках несвободы, в беспощадных оковах «священного закона железной решетки». «Тесно орлу в клетке». И если нет сил освободиться, то хоть попытаться разнести вдребезги напором могучего разлета ненавистные железные прутья! И тут же сложить свою буйную голову.

Лучше умереть за свободу, чем томиться в неволе.

Но, ведь, еще лучше жить в радостной, творческой свободе—без Бога она недоступна человеку. Разве не принес нам Христос Евангелие свободы: «Познаете истину — и истина сделает вас свободными».

«Всякий делающий грех есть раб греха... если Сын освободит вас, то вы истинно будете свободны».

На мои слова Лев Черный усмехнулся мягкой грустной улыбкой...

В религию он не верит, хотя и уважает искреннюю, свободную веру. Увы, ему знакома лишь религия богорабства, и неведома свобода богосыновства.

Прощаясь, он направляет меня к заведующему отделом пропаганды, и тот снабжает меня анархистской литературой.

С интересом он выслушивает мое приглашение на религиозные собрания, выражая им сочувствие уже потому, что они свободные.

Несколько позже, проходя по Собачьей площадке у Арбата мимо красивого особняка бывшего сербского посольства, я прочитал на нем надпись:

«Союз немедленных социалистов».

Вхожу. Это опять секция анархистов. Мне охотно дают объяснения относительно данной фракции.

За столом сидят и пьют чай.

Живут на началах коммуны, при чем на нужды партии производятся экспроприации магазинов по ордеру комитета.

Приводят меня в маленькую комнату. Тут картина довольно жуткая. Это рабочая комната одного из «немедленных», специально прибывшего из-за границы, тропического мавра: сам он — красавец, с бронзовым лицом, черными волосами и большими веселыми глазами — стоит у стола и начиняет бомбы с таким преспокойным видом, как будто стол перед ним завален не страшными орудиями смерти, а картошкой или артишоками (некоторые бомбы напоминают своей формой плоды этого рода). А, ведь, только одно неосторожное движение — и все кругом будет сметено ураганом разрушения!

Слова о христианстве они слушали охотно, ибо чувствовали в нем также протест духа против материи, свободы против необходимости. По их словам, мы с ними расходимся только в способах достижения свободы личности.

Пользуясь их радушным приглашением, я зашел еще раз в этот же клуб «немедленных социалистов».

Теперь ощущалось во всех их какая-то нервность, словно они готовились к чему-то решительному. Меня встретили сухо, а некоторые и подозрительно. Передали какому-то румыну, и он повел меня наверх.

Я вижу, что он мне не доверяет и во время моего рассказа зорко в меня всматривается.

Вдруг он вынимает маленький никелевый револьвер, кладет на стол и, хлопнув по нему рукой, с холодным спокойствием, энергично спрашивает меня: «Цель вашего прихода, товарищ?»

«Цель — вот она», решил я ответить ему игрой слов, чтобы рассеять его суровость.

Протянув руку за пазуху (лишь потом я оценил всю опасность этого жеста), я дал ему брошюру — «Цель христианских студенческих кружков».

Он повертел брошюру. «Ваши товарищи», говорю я, пригласили меня зайти и порассказать о нашем кружке... Я захватил нашу литературу». — «Видите ли, вы попали в неудачное время... Мы переживаем очень серьезный момент».

— «А штучка интересная», говорю я, «указывая на револьвер, имевший вид маленькой никелевой зажигалки.

— «Да, интересная... Бьет на двести шагов без промаха. Хотите, становитесь, я вас сниму»... сказал он не то шутя, не то стращая.

— «Нет, уж я вам и так верю».

В общем я чувствовал, что наш разговор словно скользит по лезвию бритвы: — скажешь одно неосторожное слово — и вмиг обратишься из собеседника во врага, в шпиона, с которым говорить надо лишь посредством стального дула.

Оказалось, что в предстоящую ночь назначена была советской властью генеральная облава на анархистов в Москве.

Я в тот вечер уезжал из Москвы в Тулу для чтения лекций.

По приезде, я узнал, что все 19 особняков, занятых анархистами, были разгромлены.

На сером фешенебельном фасаде Купеческого Клуба зияли красноватые дыры от артиллерийского огня: осыпалась штукатурка, и торчала по краям пробитых отверстий кирпичная кайма, розовато-бурая, словно запекшаяся кровь.

Вспомнил своих собеседников: — где то они? да и живы ли?

В эту ночь (на 13 апреля 1918 года) они кидались бомбами, «головами игрался», как буйная вольница народного былинного героя Васьки Буслаева...

СТРАДА РЕВОЛЮЦИИ.

Революция постепенно изживала свою весну — и вступала в суровую полосу.

Широкий размах, чисто русская щедрость и утопизм выражались вначале во многих непрактичных шагах. Была, например, отменена оплата почты и даже езды по железным дорогам.

Но «деньги любят счет», и современем наивный идеализм уступил место реальности. Я шутил тогда по этому поводу, что в революцию вход бесплатный, а выход из нее платный.

18 февраля 1918 года в Москве над Храмом Спасителя видели странное световое явление: лучи заходящего солнца образовали крест. Это было отмечено в газетах.

Народ увидел в этом знамение. Россия, поистине, приняла на себя крест величайшего в мире переворота. И не сбросила его, а понесла, и несет доселе, чтобы изнутри изжить до конца страдание и голода, и эпидемий, и духовной разрухи.

Как-то в 1910 году в Ярославле я шел в крестном ходу. В толпе был странник в железных веригах, с железной шапкой, обшитой сукном, и тяжелой железной палицей. Он рассказал мне свою историю. Был купцом в Москве и в юности много грешил. Потом заболел смертельно и дал обет, если выздоровеет, пойти с веригами по святым местам. В Ростове Великом некий старец Иосиф благословил его на этот подвиг. Это был статный, пригожий человек лет 35 с тонким орлиным носом, с длинными черными кудрями, сожженным и обветренным коричневым лицом и глубоко запавшими черными, горящими глазами.

— «Что, по-вашему, самое главное в жизни?» спросил я его.

— «Все перенести — вот главное», ответил он мне.

(«Претерпевший до конца спасется» — это сказано и в Евангелии).

Терпение — любимая добродетель русского народа.

Один американец в беседе со мной так охарактеризовал разницу между американским и русским солдатом:

«Если американец очутится в окопах, залитых водой — то он со всей энергией и настойчивостью эту воду выкачает. А русский солдат будет терпеливо стоять по колено в воде».

Такова разница между активной и пассивной энергией, пожалуй, та самая, которую Л. Толстой иллюстрировал типами Наполеона и Кутузова (в романе «Война и мир»).

Эти два луча, скрестившиеся над Москвой, были действительно пророческими: — над Русью скрестились два меча, красный и белый, повергнув ее во все ужасы гражданской войны.

О Русь! На тебя дух мести мечной восстал
За то, что ты стоишь немея
У перепутного креста,
Ни зверя скиптр подъять не смея,
Ни иго легкое Христа.

(В. Иванов).

Весной 1918 г. я поехал в Самару на съезд христианских студенческих кружков.

Было решено усилить работу по распространению Евангелия среди народа. Так как уже неоднократно встречались затруднения в этой работе со стороны православного духовенства — мы решили отправиться целой группой к местному архиерею для объяснения своих целей. Владыка сам не мог нас в тот день принять — и он поручил это сделать группе местных священников.

Это было знаменательное собрание духовенства и мирян в большом зале архиерейского дома. Против нас

выступал священник-миссионер (по борьбе с сектантством). Он говорил, что исследование св. Писания мирянами всегда создавало только ереси и секты. В ответ на это мы сказали, что хотим работать с благословения Церкви и под руководством пастырей. Один из нас, окончивший Петербургскую Духовную Академию, говорил вдохновенно на основании пророков Ветхого Завета, напоминая пастырям об их ответственности за мирян: «Горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя! Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались. откормленных овец закалали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненой не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря... Блуждают овцы Мои по всем горам... и никто не ищет их... Так говорит Господь Бог: вот, Я — на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец»[11]).

Он говорил пламенно, и голос его звучал пророчески. Это был крик сердца искреннего православного мирянина, болеющего душой о разрухе в Церкви. Его слушали очень внимательно. После того некоторые священники высказались за поддержку этого мирянского движения. (И действительно, они впоследствии приглашали некоторых из нас, в том числе и меня, говорить проповеди с церковной кафедры).

Один из них, соборный протоиерей Л. († 1920 г.), пригласил меня однажды говорить в местном кафедральном Соборе. Это было в праздник Сретения — и я говорил на тему: «Готовься к сретению твоего Господа».

Не в пример упомянутому миссионеру, этот старец отличался широтою и терпимостью. Одна старушка спросила его однажды: «Батюшка, можно ли ходить на собрания к баптистам?».

---

[11]) Иезек. 34.

— «А что они там делают?» спросил он (хотя сам хорошо знал об этом).

— «Читают слово Божие».

— «Ну, это добро. Конечно, можно ходить».

Этот старец советовал мне также в проповеди Евангелия подчеркивать не сухие нравственные нормы, а благодатные возможности, не — «ты должен», а «ты можешь».

Как-то я был приглашен на престольный праздник одного из храмов: мне было предложено на вечернем собрании сыграть на скрипке. Во время ужина я оказался соседом миссионера, возражавшего тогда в архиерейском доме против евангельской работы мирян.

Одно время мы остались в комнате вдвоем. Я воспользовался этим и говорю ему: «Батюшка, вы сказали, что от чтения св. Писания происходят ереси. А вот тут, у Иоанна Златоуста, говорится: «от незнания Писания происходят ереси и развратная жизнь». И я протянул ему листок местного церковного издания с отрывками из Отцов Церкви.

Священник ничего не ответил мне и молча продолжал есть клубнику, лежавшую перед ним на тарелке.

В начале июня 1918 г. Самару осаждали чехословацкие легионы. Я жил на краю города, на Уральской улице. Недалеко были окопы. Иногда вечером, после пушечного выстрела, вдруг слышишь душураздирающие стоны — это кричат раненые. Один снаряд разорвался перед окном нашего дома, но без вреда. С раннего утра до вечера зловеще взвывали гранаты над городом. Одна из них влетела в комнату сапожника, жившего на соседнем дворе — и вся семья, состоявшая из пяти человек, была убита.

Однажды я шел по улице. Вдруг, в нескольких шагах

передо мной, упала отломившаяся ветка, и ружейная пуля ударилась в штукатурку стены.

Словом, я оказался в полосе фронта.

Десятилетний сын хозяина, Юрик, просил отца увести его на ночь к бабушке, жившей в более безопасной части города, но отец, человек верующий, спросил его: «Разве Христос не может тебя защитить?» — «Ну да, может»... сконфузившись ответил мальчик.

На другой день, после обычной ночной перестрелки, мальчик рассказывал с сияющим лицом, что Христос его хранил. Это был прекрасный урок Закона Божия.

В эти дни я читал лекцию к молодежи в зале реального училища. Во время нашего собрания ухали далекие пушки — и народу было мало. (Когда бой кончился, я повторил ее — и тогда собрался полный актовый зал в Университете.)

5 июня на заре я услышал странное оживление по улицам. Шли какие-то солдаты с ручными бомбами в руках, заглядывая под каждые ворота — в опасении, не скрываются ли там большевики.

Какой-то молодой человек, схваченный ими, клялся и божился, что он не коммунист: его подвела кожаная куртка. Он был отпущен на свободу.

Солдаты говорили на чужом языке: это были чехи.

В городе водворилась новая власть — так называемая учредиловская, т. е. составленная из членов Учредительного Собрания. Комендантом города был чешский полковник Ребенда.

Сторонники новой власти ликовали. Не обошлось без диких инцидентов. Двое членов исполкома подверглись самосуду толпы на улице.

Иных отводили за город и там расстреливали.

В яркий солнечный день народ высыпал смотреть окопы. Там были еще неубранные трупы. Не забуду тяжелой сцены. В окопах, прислонившись к земляной стенке, «сидел» мертвый красноармеец. Его щека была раздута от выстрела. В зубах у него торчала папироса. По

виду это был простой русский крестьянин. Толпа глумилась над ним.

У меня душа ныла от боли при виде этого.

Я подошел к краю и открыто перекрестился, сняв шапку.

Помню, в это мгновение все притихли.

После этого я ушел оттуда прочь, унося в душе горькое чувство стыда за человека.

В газетах писались фельетоны и статьи о преследованиях отступавших большевиках — они должны были бежать через болота, иногда вплавь. Много их потонуло там. «А вчерась я вытащил комиссара... с икрой, тыщ на шашнадцать», — похвалялся кто-то из мужиков (в одном из газетных рассказов).

Тысячи молодых русских жизней погибли во время этого отступления.

Через несколько дней торжественно хоронили чешских солдат.

Они несколько лет тому назад покинули свою родину, своих матерей, отцов и жен, — чтобы уже не увидеть их никогда на этой земле.

«Белая мать... Красная мать»...

Летом 1918 года Самарский Педагогический Институт был преобразован в Университет. Солидные академические силы из Петроградского и Казанского Университетов преподавали в нем[12]).

В день открытия Университета специальная комиссия последнего поручила мне прочесть публичную лекцию на тему: «Смысл высшего образования»[13]). В ней я проводил разницу между книжной учебой и жизнен-

[12]) Проф. Нечаев, академик Перец, проф. Ивановский и др.

[13]) Подобные лекции были прочитаны в этот день разными лицами по поручению Университета в различных видных залах города.

ной мудростью, живым знанием, которое невозможно без познания живого Источника всякой мудрости и всяческого бытия.

Вскоре обнаружился еще один повод для моих публичных выступлений. Ощущая острый недостаток в деньгах, правительство вздумало вновь ввести винную монополию, как известно, отмененную еще царским правительством во время великой войны.

Я, в союзе с одним молодым энергичным священником, устроил собрание протеста.

Затем, при участии некоторых профессоров Университета (как Нечаев, Тарасов), мы организовали коллективную лекцию о трезвости — сначала в кинематографе «Триумф», а затем в самом большом зале Самары «Олимп».

Народу собралось много. Сочувствующие антиалкогольному протесту давали свои подписи — их набралось около тысячи.

С этими подписями и резолюцией, одобренной слушателями, мы вдвоем со священником пошли к министру внутренних дел К.

Он принял нас. «Что же мы поделаем?» — сказал он — «нам нужно сейчас 60 миллионов золотом. Достаньте их нам — и мы не введем монополии».

Монополия, в конце концов, не была введена — ибо вскоре белая власть должна была уйти из Самары и уступить место большевикам.

Не могу не сказать еще несколько слов об упомянутом только что священнике.

Это был человек прямой и решительный.

Когда процессы о мощах вскрыли немало неправды внутри Церкви — он выступил с горячим словом на Епархиальном собрании духовенства, призывая последнее открыто признать перед народом, что были действительно случаи обмана с мощами, покрываемые некоторыми представителями высшего духовенства — и, раз эти факты теперь твердо установлены и стали известны всему духовенству, оно должно открыть всю правду и, по

долгу пастырской совести и ради авторитета Церкви, отмежеваться от неблаговидных действий отдельных духовных лиц.

Миссионер П. весьма энергично восстал против священника, резко осудив его предложение.

Священнику пришлось покинуть собрание, и вскоре после этого он «ушел на покой», оставив на время пастырскую деятельность и поступив на гражданскую службу.

По поводу мощей действительно были установлены[14]) случаи недобросовестности: находили искусственно сделанные фигуры, воск, опилки и проч. в раках угодников. В других гробницах не было обнаружено нетленных останков, хотя об этом свидетельствовали песнопения в честь данных святых (так, например, в гробнице Преподобного Сергия Радонежского были найдены лишь кости и часть волос на темени; по распоряжению власти гроб был снабжен стеклянной крышкой, через которую все желающие могли видеть упомянутые останки).

Я сам видел мощи Виленских мучеников (Антония, Иоанна и Евстафия). Они были выставлены в Москве, на Петровке, в помещении Наркомздрава — в стеклянном ящике.

Впечатление они производят страшное.

Перед вами картина неполного тления.

Почти вся кожа тела цела; она серовато-желтого цвета, словно пергамент, тесно обтягивающий кости скелета.

Но лица почти обнажены: оскалены зубы, зияют пустые впадины глаз.

Явственно видны следы мучений, которым некогда подвергались эти христиане — вывихнуты ступни ног, видна рана от меча, против сердца у одного из них.

---

[14]) В присутствии местных епископов, скрепивших подписью составленные при этом протоколы.

Рядом с гробницей положены трупы некоторых животных — и дана научная заметка о естественности засыхания тела при известных условиях в почве (мумифицирование).

Проф. Кузнецов, желая успокоить волнение верующих, читал по этому поводу в Москве публичные лекции.

Он напомнил слова Иоанна Златоуста, что мощами называются вообще останки святых — также «кости и пепел», которые мы естественно почитаем; что в самой православной Церкви, напр., на Ближнем Востоке — на о. Кипре, на Афоне — неразложение тела почитается даже плохим признаком — и Церковь молится именно о том, чтобы земля «приняла» данное тело.

Вспоминаются слова того же Иоанна Златоуста, что истинное почитание памяти святых есть подражание их жизни. А минимум почитания умершего — это дать покой его праху, а отнюдь не тревожить его останков (что, однако, допускалось в виде перенесения, пересблачения, омовения и даже разделения на части и частицы тел почивших угодников).

Однажды, я попытался проникнуть в Самарскую тюрьму с целью устройства религиозной беседы для заключенных.

Придя к зданию, я увидел огромную очередь лиц, пришедших навестить своих родственников, находящихся в заключении. У меня было (еще при старом режиме приобретенное) звание директора тюремно-благотворительного комитета одного из губернских городов (в Москве оно соответствовало званию члена того же комитета).

Подхожу к воротам и дергаю ручку звонка. Открывается окошечко. — «Вам кого?» — спрашивает надзиратель.

— «Мне надо видеть начальника».

— «Как прикажете доложить?»

— «Я член тюремно-благотворительного комитета из Москвы».

— «Ах, член комитета? Сейчас»... Он взялся за трубку телефона.

Через минуту отворились ворота.

Служащий без шапки идет с крыльца мне навстречу с приветствием. Он почтительно представляется мне, называя себя помощником начальника тюрьмы.

Что, думаю, за притча? Это какое-то недоразумение.

Входя на крыльцо, помощник докладывает мне, что во вверенной ему тюрьме все в порядке. Я инстинктивно впадаю в должный тон — спрашиваю, хорошо ли содержатся заключенные, и еще что-то в этом роде.

Помощник провожает меня в кабинет начальника. Последний знаком предлагает ему удалиться: дескать, сейчас будет конфиденциальная беседа.

Я сразу приступаю к выяснению своего положения. — «Тут, очевидно, меня принимают за кого-то другого».

— «Как так? Мне надзиратель по телефону сказал, что прибыл из Москвы член Комитета Учредительного Собрания».

— «Что вы?! Да, ведь, я ему ясно сказал — член тюремно-благотворительного комитета».

Надо отдать справедливость выдержке и воспитанности начальника: он не переменил любезного тона в беседе со мной.

— «Чем же я могу служить вам?»

Я объяснил ему цель своего прихода. Он пошел мне навстречу, обещая сделать все возможное для устройства беседы, и направил меня еще в какую-то инстанцию.

Проходя под воротами, я сказал надзирателю: «Вы меня не поняли. Я говорил о тюремном комитете». Надзиратель, улыбнувшись, махнул рукой.

Лекцию эту мне удалось устроить лишь на Рождество уже при советской власти: — позволено было придти и хору «Христославов». Нам предоставлена была аудитория из заключенных неполитических. Это были пре-

имущественно простые мужички, задержанные за спекуляцию и т. п. Как сейчас помню, с каким вниманием, выражавшимся даже в слезах, они отнеслись к евангельскому рассказу о Рождестве Христовом и к пению духовных гимнов.

Осенью 1918 г. в Самаре опять стали слышны по утрам далекие пушечные выстрелы. Со дня на день они были все слышнее. Уже взорван был знаменитый Александровский мост через Волгу у Сызрани.

Однажды в городе было сделано оффициальное объявление, чтобы в известном часу во всех домах на окраине (там, где жил и я) были открыты все окна — во избежание разбития стекол — ибо назначен был взрыв моста через реку Самарку (приток Волги). В определенное время мы видели через окно, как после взрыва оба чугунных переплета этого двойного (двухколейного) железнодорожного моста погрузились в воду.

Для меня лично эти взрывы обозначали тот печальный факт, что я был отрезан от родного дома, от Москвы.

Вечером одного дня по улицам Самары уже гарцовали красные кавалеристы. В мохнатых бараньих шапках, с развевающимися красными лентами, они мчались на маленьких сибирских конях, потрясая воздух выстрелами вверх.

Там и сям раздавались крики ура во встречных группах рабочего люда.

В «Олимпе» стали собирать митинги рабочих.

Тяжелая, накуренная атмосфера — жуткие призывы к борьбе и мести, все, чем так ужасна всякая война, а, в особенности, гражданская.

Я присутствовал на одном из таких митингов.

Военком Х. говорил: «Вам сказано: око за око... А мы тысячу очей вырвем за одно око рабочего!».

Тут вырывалась вся накопившаяся злоба, питаемая и действительной социальной неправдой.

Но, увы, злоба не творит, а лишь разрушает, вызывая в ответ недобрые чувства.

Через некоторое время этот же военком явился в какую-то недовольную войсковую часть для увещания — и, когда он говорил, первые ряды раздвинулись, — раздались выстрелы, и он пал замертво...

Я жил тогда большей частью за городом, в саду одного из моих друзей.

Однажды прихожу на квартиру и застаю в доме военный постой. Иду в свою комнату: там все перерыто. Не нахожу своей одежды, а главное, тысячи рублей, которую один из моих друзей дал мне для печатания духовной литературы.

Я решаюсь обратиться к красноармейцам с просьбой вернуть мне все взятое у меня. В коридоре на полу, рядом с печкой сидит высокий, пожилой, бородатый солдат; другой помоложе стоит тут же.

— «Товарищи, на каком основании вы забрали у меня вещи?»... — «Ничего мы у вас не брали». — «А где же моя одежда?» Бородач знаками показывает мне на печку. Я открываю ее и в глубине, за кучей угля и всякого сору, нащупываю свои вещи.

— «А деньги где?» — «Деньги, стало быть, у Василия... Он пошел в трактир... Вернется, его спрóсите».

Василий вскоре явился. Мать моей хозяйки, почтенная и храбрая старушка, обратилась к нему: «Вы что же это? Народу служите... а бедного человека обобрали... Ведь, это все, что у него было... Не годится так поступать. Сейчас же верните деньги».

Василий улыбается во весь рот.

— «Да мы, бабушка, думали, что это белогвардейский офицер — видим: его дома нет, — значит, сбежамши от нас»...

— «Вы деньги мне верните», говорю я. «Это даже не мои — они даны мне на распространение религиозной литературы», говорю я ему все как есть.

— «Ну, на, на, возьми твои деньги»... сказал он, вынимая из-за пазухи запрятанную там бумажку.

Мы все решили держаться как можно более открыто и близко к этим простым людям.

Они оказались «лесовиками», т. е. рабочими приволжских лесных промыслов.

Когда мы пили чай, мы приглашали их за стол вместе. Бородач, видя действительную нужду в нашем доме и весьма скудную пищу — сам предлагал нам свой сахар.

Я читал им в свободное время рассказ «Работник» (Христины Рой, в переводе Григория Петрова), где так просто и хорошо говорится о жизни в любви и труде, по заветам Христа; прочел то место, где описывается перелет ласточек через море: автор сравнивает с этим перелетом нашу жизнь: перелетим ли мы водную пустыню жизни, или потонем на пути? Без Христа нам не осилить долгого и трудного пути. — Они слушали внимательно. Василий, тип деревенского парня-балагура, подсмеивался с деланым ухарством над религией. Другие были как-то особенно мрачны и угрюмы. А бородач вздыхал и поддакивал рассказу.

Ужасы гражданской, междоусобной войны тревожили их совесть. Им было тяжело.

Ночью слышались из их комнаты пьяные крики — они пили и горланили свои родные волжские песни, о «Стеньке Разине» и т. п. Жуткая ночь... В доме, кроме меня, не было мужчин: лишь хозяйка да малые дети (человек 8).

Василий злобно выкрикивал мое имя и угрожал со мной расправиться. Долго за полночь раздавались песни, прерываемые неистовыми криками.

С первой встречи не взлюбил меня Василий и за то, что он оказался похитителем моих денег, которые пришлось вернуть, и за напоминание о совести и о Боге.

С другой стороны, он боялся меня — опасаясь, что я могу донести начальству насчет его мародерских поступков.

Однажды я застал такую сцену. Один из солдат грубо говорил с хозяйкой, предъявляя какие-то требования — кажется, насчет пищи. Он ругал ее площадной бранью — весь побледнев от злости. Бедная женщина чувствовала всю свою беззащитность. Он приблизился к самому ее лицу — вот, вот ее ударит. Я вскочил и стал между ними. Он стал ругать меня. «Если вы, товарищ, не успокоитесь, я пойду в штаб и заявлю»... Он продолжал браниться и угрожать. Я побежал на улицу, разыскал соответственное учреждение. Но там я, к своему удивлению, застал и буянившего солдата. Он поспел туда прежде меня и теперь был явно испуган моим появлением. Я видел, что самый факт моего прихода к начальству достаточно повлиял на него, и потому я уже не жаловался на него, а только ограничился небольшим объяснением с начальством насчет ругани, которая так распространена среди солдат.

Когда я вернулся, в доме было тихо. Солдат, боясь дисциплинарного воздействия, действительно унялся.

Ночью, однако, была очередная попойка — она длилась почти до утра... С рассветом они все вдруг загремели по лестнице вниз. Оказалось, пошли в поход дальше.

ДЕТИ УЛИЦЫ.

В 1918 г. в Самаре была введена в целях охранения имущества обывателей обязательная гражданская самоохрана на улицах в ночное время. Эта повинность приравнивалась к военной, и за уклонение от нее ревсовет угрожал карой (как было оповещено в декретах, расклеенных по улицам).

Однажды, поздно возвращаясь домой, я застал своего хозяина, инженера Х., на улице — в дворницком тулупе с винтовкой в руках. Вскоре пришла и моя оче-

редь, и я был вызван повесткой в комитет нашего квартала.

Явившись к председателю, я объяснил, что по своим религиозным убеждениям я не могу употреблять оружие. Председатель, санитарный врач Х., человек очень интеллигентный, хорошо понял меня и даже выразил некоторое сочувствие моим религиозным взглядам, но все же заявил, что он никак не может сделать мне исключение и освободить меня от «самоохраны». — «Я понимаю, что исключение было бы несправедливым. Но я предлагаю с своей стороны заменить этот труд другим — я буду собирать детей улицы по воскресеньям и бесплатно буду учить их, вести с ними просветительные чтения-беседы и т. п.»... — «Вот это идея!» воскликнул с чувством удовлетворения доктор. «Так вы приходите на наше заседание и сообщите свой проект, а я поддержу вас».

В назначенное время я пришел в комитет. Присутствовало несколько человек. Доктор сообщил в нескольких словах о моем ходатайстве и о проекте воскресной школы. «Он будет обучать наших детей».

— «Ну, что же... мы согласны», сказали рабочие: «пущай обучает ребят, уму-разуму учит».

— «Но только сегодня, товарищ, вам придется отдежурить... Вы уже записаны».

— «Ну, хорошо, да только без ружья»... Вечером я пришел для отбывания дежурства. Старший вручает мне свисток. «В случае, заметите вора... свистком вызовете других караульных».

— «Ну, нет, так я не согласен... Это значит, что я же буду стрелять в посягающих на нашу собственность, да только чужими руками... Нет, уж увольте... Да будьте спокойны, ничего не случится и без свистка»...

Была лунная ночь. Я с удовольствием оттулял положенные часы — благо, ко мне в собеседники присоединился другой дежурный, вооруженный винтовкой — мы все время проговорили с ним, и, как обыкновенно легко

случается в разговоре русских людей, перешли на глубокие темы о жизни, о Боге.

Никто не нарушал нашей беседы; она помогла нам бодрствовать в ночное время, да может быть и воров, если таковые покушались на наш квартал, отогнала.

Конечно, за детей улицы я взялся не только в качестве средства окопаться от самоохраны. Это желание всегда было близко мне как педагогу, а теперь, в особенности, когда я наблюдал картины уличной жизни детей, оно превратилось даже в чувство серьезной ответственности. В годы тяжкой борьбы за существование семейная жизнь вообще пошатнулась. Религиозное воспитание было устранено из школы. Не в том беда, что религия была отделена от государственной школы — это было даже хорошо, ибо религия в такой школе превращалась обычно в казенную учебу и часто становилась вместо источника вдохновения предметом скуки. А то было плохо, что религия и вне школы нигде детям не прививалась.

В Новой Зеландии уже за много лет перед этим религия была отделена от школы; но она стала раскрываться детям вне государственной школы — в храмах и вероисповедных школах, в обстановке свободы и обоюдного интереса со стороны учащих и учащихся; в результате, в Новой Зеландии религиозность в населении только поднялась и углубилась; в книге, посвященной характеристике этой страны, Мижуев сообщает, что там храмов в три раза больше чем в Москве с ее «сорока сороками» (это при полном отделении Церкви от государства и Церкви от школы!).

Религия не боится полной свободы от государственной опеки: наоборот, она нуждается в такой свободе, как пламя в кислороде. Подпорки и государственные привилегии, создающие в конце концов принудительную, господствующую Церковь, всегда были золотой цепью, удушающей существо религии — свободу, творчество, вдохновение и энтузиазм.

Итак, в тяжелые дни революции дети были предоста-

влены самим себе или нередко подвергались воздействию материализма и атеизма, а то и просто улицы. Дети улицы всегда были в больших городах. Теперь, после великой войны и гражданского междоусобия, число этих беспризорных элементов увеличилось.

В ближайшее воскресенье мы (т. е. я и члены нашего студенческого кружка) назначили собрание детей. Пригласили мы их посредством объявлений, розданных на базарах, у выхода из церкви и т. п.

Помещение предоставил нам на свой риск заведующий одной из городских школ.

Мы могли пользоваться последней во внеучебное время — по воскресеньям, в течение двух часов.

Я имел целый кадр сотрудников, студентов и студенток (некоторые из них были педагогичками и учительницами).

Одна слепая, очень опытная учительница, была среди нашего педагогического персонала.

В назначенный час школа гудела и звенела от множества детских голосов. Пришли дети улицы, а некоторых привели их родители. Собрание началось общим пением молитвы: «Царю небесный»... Дети пели охотно и стройно. Я помогал пению игрой на скрипке.

Затем я прочитал им отрывок из Евангелия, объяснил его примерами из жизни, перебивая рассказ вопросами, обращенными к ученикам.

В конце собрания мы нараспев заучивали основное изречение («жемчужину») из данного текста, например: «Наречешь ему имя Иисус: ибо Он спасет людей Своих от грехов их». (Матф. 1. 21).

В следующие разы мы повторяли стихи предыдущих уроков — в результате накоплялось в памяти детей «жемчужное ожерелье». Некоторые дети поражали меня своей памятью: они воспроизводили безошибочно стихи, заученные в течение месяцев. Эти же стихи раздавались детям в письменном виде, на листочках; они брали их с

собой, для повторения дома, и кстати заносили искры Евангелия в свои семьи, своим родителям и родным.

Христос любит детей, и дети всегда загораются ответной любовью ко Христу.

Как радостно было видеть их рвение, смышленность в понимании слов Христа! Каким чистым восторгом светились детские личики, еще не совсем испорченные пагубным влиянием улицы!

После чтения Евангелия, дети пели какую-либо русскую песню под скрипку. Затем я или кто-либо из сотрудников читал художественный рассказ, который должен был служить иллюстрацией для евангельского слова. («Где любовь, там и Бог», — Льва Толстого, «Капитан Бопп», — Жуковского, «Сигнал», — Гаршина и т. п.).

Чтение сопровождалось вопросами, которые служили и для проверки понимания и для пробуждения большей внимательности и сообразительности со стороны детей.

Помню, однажды я прочитал детям поговорку: «На бедного Макара все шишки валятся».

— «Как помочь Макару?» спросил я.

— «Не садись под елку», — ответила меланхолично одна девочка среди всеобщей тишины.

В конце собрания мы все вместе пели «Отче наш».

Мы собирали детей в нескольких классах по возрастам.

Вскоре помещение было настолько переполнено, что мы организовали другую такую же школу в другой части Самары. (Всего детей приходило в обе школы до 300).

Конечно, особенно много их приходило на Рождество, когда мы устраивали для них елку и туманные картины.

В большом классе стояла в углу большая икона, и на ней был изображен Христос, благословляющий детей.

Во время молитвы дети, по православному обычаю, поворачивались к ней.

Однажды, иконы в классе не оказалось (она была удалена в порядке изъятия из государственных учреждений всех предметов культа).

Когда мы встали на молитву, некоторые из детей сказали: «Как же теперь молиться? Иконы нету...»

Тут заговорила слепая учительница:

«Дети, а как же мне то быть? Ведь, я слепая и никогда не вижу никакой иконы. Значит, мне и не молиться?»

Дети задумались. «Бог — в душе», сказал тихо какой-то мальчик.

— «Ну, вот видите... Так и Христос говорит: Бог есть дух... В Евангелии сказано: «Бога никто не видел никогда»...

Дети поняли, и они пели молитву с обычным одушевлением.

Вообще, я поражался, как дети просто усваивают глубокие истины религии. Не потому ли сказано: «Будьте как дети».

Наши беседы носили практический характер, поскольку мы касались применения христианства в жизни. При этом дети, со свойственной им откровенностью, рассказывали о своих неудачах в стараньи жить по-Божьи, чистосердечно каялись в своих детских проступках, драках, ссорах, сквернословии.

В будни учащие посещали некоторые семьи, дети которых к нам приходили. Завязывалась связь с родителями, укреплялось взаимное доверие и влияние школы. Родители приходили в школу и громко выражали нам благодарность—так как они видели благотворное влияние Евангелия в жизни детей.

Однажды, я разъяснял детям цель воскресной школы, отчасти для родителей, которые тут же присутствовали. «Дети, кто скажет — для чего нам воскресная школа?»

Сидевший впереди мальчик (очень шустрый и беспокойный, с плохой репутацией) бойко ответил:

«Воскресная школа для того, чтобы дети в о с к р е с л и». Лучшего определения не придумать и взрослым!

ЛЕКЦИИ ПРОТИВ АТЕИЗМА.

С течением времени мои открытые лекции стали привлекать все большее внимание и приобретать, так сказать, общественное значение в виду того, что я говорил как раз по тем же основным вопросам религии, по которым партийные лекторы-атеисты всенародно провозглашали свои отрицательные ответы в духе безбожия и антихристианства.

В народе среди молодежи и, в частности, среди студенчества естественно обострялась жажда разобраться в этих вопросах и услышать обоснованное мнение со стороны верующих.

Спор о Боге все острее и глубже разыгрывался в русской душе, становясь центральной темой повседневной прессы, научных лекций и митинговых речей, привлекая гораздо большее внимание, чем очередные политические и экономические вопросы.

Пришла пора открытых антирелигиозных лекций и диспутов, и волей-неволей мне пришлось открыто столкнуться с проповедниками безбожия. Такого рода выступления я предпринял в особенности с переездом в Самару.

Идя навстречу современным запросам молодежи, я читал в Самаре в 1918—1919 г. цикл лекций по вопросам этики и религии в «Доме юношества»; иногда в местном Университете.

Студенты, посещавшие эти лекции в большом количестве, подали петицию в Совет Университета, в связи с вызванным этими лекциями интересом к этике, прося открыть при кафедре философии также курс этики и поручить этот предмет известному профессору философии И., а в случае, если это будет неудобно, то предоставить его мне.

Совет профессоров (еще старого состава) в порядке академической автономии избрал меня преподавателем этики.

В Университете особенно много студенчества при-

влекла моя лекция о проблеме братства и коммуны, при чем я доказывал, что люди лишь тогда становятся братьями, когда находят одного Отца через Христа. Эта же лекция была повторена в местном почтовом клубе. Дальнейшее выступление на эту тему было отклонено местными распоряжениями; в оффициальной бумаге было сказано: «Лекция не в духе времени».

Между тем антирелигиозная пропаганда разгоралась. Появились книжки вроде «Азбука коммунизма» Бухарина, где заявлялось, что вера в Бога есть выдумка буржуев.

В это время открылись так называемые районные рабочие клубы с просветительной целью.

В один из них я был приглашен прочесть лекцию — диспут о религии.

Я назначил тему: «Можем ли мы жить без Христа?». Подходя к зданию, я увидел толпу и даже милиционеров — множество слушателей не могло войти в зал. Они запрудили лестницу. Я кое-как добрался до двери с черного входа. Провожавший меня постучал в дверь: «Пусти, Филимоныч пришел»...

Толпа зашумела: «Какой там еще Филимоныч!.. Два часа тут стоим... Становись в очередь»...

Когда выяснилось, что пришел лектор, ропот сменился дружным смехом.

Через некоторое время я вторично прочел эту же лекцию в одном из больших залов, принадлежащих Университету. Зал, вмещавший человек 700, был полон, несмотря на то, что вход был платный. В этой лекции, обращаясь к власти, я сказал приблизительно так: «Не дело представителей власти пропагандировать атеизм. Поступать так от ее имени значит ее компрометировать. Она должна быть нейтральной уже и в силу отделения Церкви от государства.

Упомянутый в псалмах Давида «безумец сказал» лишь «в сердце своем: нет Бога». А наши атеисты провозглашают это на улицах и площадях.

Да и в сердце своем атеист может говорить лишь то, что нет Бога в его опыте, в его душе. Но он не имеет никакого логического и нравственного права утверждать, что Бога нет в опыте других людей и в бытии вообще. Всенародное заявление, что нет Бога, есть преступная ложь. Отнимая у народа веру в Бога, вы разоряете душу народа, режете сук, на котором сами сидите, и подрываете основы того самого общественного идеала, который проповедуете, — этим вы сами способствуете провалу и краху социализма в России».

Во время прений мне было сказано, что книжки вроде «Азбуки коммунизма», как и атеистическая пропаганда, есть работа не власти, а коммунистической партии.

Лекция кончилась. Вместе с двумя друзьями, я ждал, пока публика разойдется. На эстраду вошел человек в военной форме и спросил меня: «Товарищ лектор, как вы получили разрешение на эту лекцию? У вас оно имеется?» Мой друг предъявил бумагу от милиции. — «Вам придется пойти со мной для некоторых объяснений». «Куда?» спросил я. — «Тут недалеко»... Мы пошли. Мой друг запротестовал и спросил солдата: «А у вас есть документ на право ареста?» — «Вот вам мой документ», с видимым раздражением сказал он, вынимая револьвер. «Идите вперед!» (до этого момента мы следовали за ним сзади).

Было ясно, что нас ведут в чрезвычайку.

Мы вошли в канцелярию.

В глубоком кресле сидел развалясь молодой человек в красной фуражке. Запрокинув назад голову, он сказал, смеясь: «Ага, вот, главного привели!.. Скажите, товарищ, и вы в самом деле верите, что Бог есть?».

— «Я удивляюсь, что вы этому не верите», сказал я.

У стола стоял юноша лет 18-ти, с красной звездой на фуражке. Он резко обрушился на меня. «Это все суеверие!.. Есть только природа... Солнце, луна, звезды... А Бога никакого нет». — «Товарищ, в солнце, луну и звезды

верили наши первобытные предки, а мы верим в Того, Кто их создал», ответил я.

На диване сидел еще один чекист, внимательно следивший за беседой. «Ну, слушай», сказал он, обращаясь к спорившему со мной юноше. «Я тоже не верю в Бога, но так не позволил бы себе говорить о Нем, как ты. Товарищ учитель этот вопрос изучал, а ты мало в этом понимаешь».

Нам дали заполнить «арестный лист» (где, когда арестовали и т. п.).

Вошел человек в черном штатском платье, как оказалось, своим доносом вызвавший наш арест.

«В чем вы обвиняете М.?» спросил его начальник в красной шапке.

— «В агитации против советской власти». — Я спросил его: «А вы, гражданин, всю лекцию выслушали?» — «Нет, не всю, но это не важно. Вы дурачили народ проповедью Евангелия, называли Серафима святым... А, ведь, Евангелие попы выдумали». — «А вы Евангелие читали?» — «Конечно, читал! Даже по-гречески». — «По-гречески?» Во мне проснулся дух педагога. «Ну, скажите хотя бы, как начинается Евангелие от Иоанна по-гречески?». Экзаменуемый с руганью отошел и сел на диван при дружном смехе сотоварищей.

Начальник подшучивал надо мной.

— «Что устали, товарищ, после лекции?».

— «Да, устал, в горле пересохло. Прикажите самоварчик поставить».

— «Самоварчик... ха-ха!.. Что же это можно. Иван, сходи-ка в подвал. Там полечка одна сидит, скажи-ка ей, чтоб самовар поставила».

Чаю мы не дождались. Нас сдали конвойному, и мы пошли в знаменитый подвал.

Это было маленькое темное помещение, прежде служившее для склада дров при центральном отоплении дома. Небольшие окна на улицу были заколочены досками. Помещение было освещено электрической лампочкой. В переднем коридорчике сидели вооруженные караульные

мадьяры. Мы вошли. На деревянной настилке на полу было человек 15. У каждого изголовьем служило полено. «Христос Воскресе!» — сказал один из моих друзей (Пасха была недавно). Ответа не последовало. Но все на нас воззрились. «Вы по какому делу?» Мы рассказали.

В камере царило большое волнение. Какой-то мещанин с бледным, как стена, лицом ходил быстро взад и вперед, как зверь в клетке. «Чего ты все бегаешь?» спросили его. — «От волны!.. Уж лучше бы скорее к стенке!».

Время было тревожное. Город был в полосе фронта. Действовали чрезвычайные полномочия. Какая-то барышня попала за то, что в вагоне читала из журнала юмористические стихи о Ленине. Она услышала мою фамилию. «Марцинковский? Вот случай. А я приехала из Москвы. Искала вас. Ваш брат, с которым я вместе служу в банке в Москве, просил меня передать вам, что он уезжает».

Была ночь. Сонные мадьяры пили черный кофе. Мы вышли к ним в коридор.

Они и нам предложили кофе и хлеба. Я заговорил с караульным, стоявшим у дверей. Он охотно рассказал мне (ломаным языком) о своих родных и о родине, с которыми он давно уже был разлучен.

Глубокая ночь...

Мы почитали втроем Евангелие, безмолвно помолились.

Я расположился на ночь, прислонив голову к полену. Много мыслей теснилось в душе. Вспомнилась мать, Москва... Стало себя жалко.

Стук автомобиля под окном. Кто-то приехал. Может быть «брать» на Коровий Остров? (Там происходили расстрелы). Открывается дверь. Входит человек и вызывает одного из моих друзей. Потом другого.

Только часов в 11 утра вызвали меня — оказывается, к следователю.

— «Вы агитировали против власти?».

— «Нет... Я говорил против атеизма, указывая на

его разрушающее влияние, и утверждал, что не дело власти заниматься пропагандой атеизма». — «Итак, вы», сказал он, обращаясь к моим друзьям, «свободны».

— «А что же М.?» спросил один из моих знакомых. «Если вы его не отпустите, то и мы не пойдем».

— «И он пойдет — только с подпиской».

— «Какой?» спросил я. — «А вот о невыезде из Самары и о явке при первом требовании в Чеку».

— «А лекции читать могу?» — «Можете».

Я дал подписку. Мы вышли на воздух и солнце. Боже, какое счастье еще пожить на этой земле, еще увидеть родных и друзей и разделить вместе радость свидания!

Как-то после этого я встретил на улице агента Чеки, по доносу которого я был арестован. Я поздоровался с ним. Он ответил мне с улыбкой смущения на лице. Я пожурил его за неумение различать религию от политики.

Через неделю после ареста (т. е. 18 мая 1919 г.), согласно объявлению, сделанному на предыдущей лекции, я должен был ее повторить (уже в третий раз), так как многим желающим войти пришлось отказать: все билеты были распроданы. Теперь зал был опять полон. Присутствовало много коммунистов, в том числе и известные деятели из их рядов. Атеист, «брат Анатолий», был в числе возражающих. После лекции один из видных коммунистов Л. сказал: «Да тут ничего нет против власти». И так оправдался поступок следователя Чеки, который отпустил меня на свободу.

На эту лекцию я пришел больной с повышенной температурой; в перерыве за кулисами я сидел в изнеможении. Вторую половину я провел, собрав последние силы. Бог помог довести собрание до конца, так что, когда я был на эстраде, мое физическое состояние не было заметно.

Домой я шел, часто садясь на улице, на ступеньки у крылец. Затем слег в постель — оказался тиф, в очень сильной форме: организм боролся со смертью. Меня соборовали. (Это таинство елеосвящения обычно совершается в час смертной опасности и рассматривается как при-

готовление к смерти — хотя все содержание молитв и читаемых мест из Евангелия говорит об исцелении. Даже существует поверье, что тот, кто выздоровел после соборования, уже рассматривается как человек «не здешний»; такая девушка в селе рискует уже остаться одинокой — ее боятся взять замуж),

С Божьей помощью я выздоровел.

Во время моей болезни один из членов исполкома К. прочел лекцию на мою же тему: «Можем ли мы жить без Христа?».

Я читал отчет о ней в газете. Лектор говорил, что мы не только можем жить без Христа, но мы даже не можем жить с Ним, так как Его учение неосуществимо и во всяком случае устарело.

Через некоторое время в Самаре случились два самоубийства: два коммуниста покончили с собой на почве пьянства и расстраты казенных денег.

Один из них был тот же лектор К.

Можете себе представить, какое впечатление это произвело на самарскую публику. Сообщаю этот факт не для того, чтобы бросить камень упрека на могилу трагически погибшего человека. Во всяком случае эта смерть есть печальное, но убедительное доказательство того, что не «религия есть опиум для народа», но с устранением религии народ ищет дурмана, чтобы заглушить пустоту и томление духа. Без религии человек расточает и общественное добро и самую свою жизнь, ибо теряет нравственную опору и веру в смысл бытия.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ.

Осенью 1919 г. я отправился в Москву. Почти полтора года я был в Самаре, отрезанной войсками белой армии и чехословацких легионов. (Предварительно я дол-

жен был получить разрешение на выезд от Самарской Чеки).

Ехал я в теплушке. Путешествие продолжалось вместо 36 часов — 9 дней.

В вагоне среди узлов и мешков теснилось человек 60, преимущественно красногвардейцев и «мешечников».

Ругань и скверные рассказы отравляли атмосферу. Вот и знаменитый б. Александровский мост через Волгу с версту длиной — он был взорван белыми и недавно починен советской властью. Было приказано не открывать вагона, как это обычно бывает на мостах. Но под нами катилась могучая Волга... и русская душа не выдержала. Приоткрыли дверь. В тесную теплушку ринулся простор, лазурь неба и воды... Вон маленький, как ореховая скорлупка, дымит пароход... Чайки бело-серыми платками мелькают над водной гладью. Все замолкли в немом восторге — стихла ругань. «Вот она, матушка наша, Волга!». Поезд медленно шел, погромыхивая, как будто и сам любовался могучей рекой.

Был канун Успения. На каком-то разъезде мы остановились среди поля. Перед нами шумела золотыми колосьями нива. На пригорке красовалась сельская церковь, с большими синими куполами со звездами. Тихо доносился звон колокола.

У меня мелькнула мысль. «Давайте, споем что-нибудь... например: «Воскресение Христово видевше»... Оказались и певчие налицо. Начали петь... Весь вагон, кажется, принял участие. Пели и пасхальные песнопения. Теплушка преобразилась... проснулось русское сердце, так чуткое к красоте. Долго сохранялось тихое, чинное настроение.

На одной станции подсели новые мешечники. Они начали было вводить прежнюю атмосферу ругани и пошлости. Я заспорил с ними. Начался диспут о Боге.

«Нет Бога», упорно твердил один из них.

В это время наш поезд поднимался медленно в гору... Кр..ра!.. Раздался страшный треск, и вслед за ним пани-

ческий крик: «поезд разорвался!». Мы оказались в хвосте... Катимся назад в Инзу, а там налетим на составы... Мой оппонент побледнел, соскочил с полки, и другие за ним стали прыгать из вагона. Поезд медленно катился назад, но скорость движения все возрастала. Однако, через некоторое время удалось остановить вагоны.

Оказалось, в середине поезда, в одном из вагонов, сцепной крюк вырвался вместе с рамой. И не мудрено: паровоз тянул около 60 перегруженных старых вагонов, да еще в гору. Я из вагона не вылезал.

С начала пути мне было очень тесно сидеть в неловком, полусогнутом положении. Около меня сидел старик в бараньей шапке и все охал. В глазах его горел лихорадочный огонь. Стоны его стали беспокоить соседей. «Тиф у него, что ли?», спрашивали они тревожно и стали сторониться от него. Он попросил у меня пить, увидев у меня фляжку с водой, и потом положил голову мне на плечо. Соседи оттеснились в стороны. Мне стало свободнее. Так мы ехали с ним дня два. Потом сдали его на одной станции в больницу. Двое его односельчан ехали тут же (все они ездили куда-то за рожью). Я познакомился с ними и попросил их сообщить об его участи мне в Москву. И действительно, через некоторое время я получил открытку с сообщением, что больной впоследствии выздоровел.

На маленькой станции Барыш мы застряли. Впереди происходило восстание: называли имена Мамонтова, Миронова... Остановка грозила быть долгой.

Уныние овладело путешественниками.

Прошел день, два... Стали проедать последнее.

Среди пассажиров в другом конце вагона я заметил барышню, которая читала какую-то небольшую книгу. Стоявший над ней человек поинтересовался, взял у нее из рук книгу... По выражению его лица, ставшему сразу как-то особенно серьезным и сочувствующим — я понял, что это Евангелие. У меня мелькнула мысль, что эта барышня принадлежит к одному из наших христианских

студенческих кружков. Когда пошли за кипятком на станцию, я увидел ее вновь... — «Скажите, а вы не из христианского кружка?» Она широко раскрыла глаза. — «Откуда вы знаете?» — «Я видел, как вы читали Евангелие.»

— «Я уже давно думала, что и вы из кружка — слышала, как вы беседовали о Боге и как ухаживали за больным».

Познакомились... «Ах, как я рада!.. Ведь, я еду одна... среди этих людей. А вчера у меня еще украли пальто»... Мы пошли гулять по полотну, вместе читали Евангелие и молились. Когда мы вернулись на станцию, нас поразило оживление публики. На дверях висело объявление: «Через два часа едем. Паровоз вышел со станции Н.»

Барышня так и подскочила от радости.

Приехали в Москву.

ЛЕКЦИИ В БОГОРОДСКЕ И ПОДОЛЬСКЕ.

Моя попутчица оказалась жительницей Богородска. Там один из членов нашего Московского Христианского Студенческого кружка организовал в последнее время небольшую группу молодежи, интересующейся вопросами Евангелия.

Моя новая знакомая постаралась вызвать меня туда от имени кружка для чтения лекций.

Прочел я в местном кино-театре «Фантазия» лекцию на ту же тему: «Можем ли мы жить без Христа?»

По окончании лекции ко мне подходит молодой человек в военной форме.

— «Товарищ лектор, позвольте пригласить вас на минутку в исполком».

— «Ну что ж, пойдем!».

Потребовали личные документы.

Написали протокол. — «Вы называли гражданскую войну братоубийственной?»

— «Называл».

— «Ну, вот... Я, к сожалению, должен вас задержать». Говоривший со мной был юноша лет 18, председатель исполкома.

Я решил поговорить с ним по душам.

«Слушайте... Я не советую вам меня арестовывать. Под арестом я уже был, и меня выпустили. Кроме того, предупреждаю вас, что завтра я должен быть в Москве для явки в Народный Суд по вызову (я подал заявление об отказе от военной службы по религиозным убеждениям). Вот у меня и повестка... В Москве меня хорошо знают, можете справиться обо мне... А только не задерживайте, будете иметь неприятность» — сказал я ему почти отеческим тоном. (Бывший учитель гимназии почувствовал перед собой своего ученика). — «Покажите повестку... Ну, ладно, я отпущу вас, только оставьте вашу фотографию». — «Хорошо, но с условием, что вы мне ее потом вернете». (Впоследствии, мой знакомый эту фотографию у него забрал).

Следующая лекция в этом же помещении не была допущена — оно оказалось занятым.

За то мы нашли другой зал, самый большой в Богородске. (Кинематограф «Колизей» — на 1000 человек).

Здесь я прочитал лекцию «Смысл красоты», сопровождаемую музыкальными иллюстрациями из классической музыки (Бах, Бетховевн, Шопен, Лядов) в исполнении одной пианистки.

Главная мысль лекции: жизнь должна быть прекрасной, не только в созерцании, но и в действии.

К этому зовет и природа и искусство. Но перейти от созерцания к действию может помочь лишь религия. Христос идеал красоты.

И только Христос есть путь к очищению жизни от обезображивающего влияния греха и к преображению действительности светом идеала.

Зал был переполнен. Некоторые коммунисты одобрительно отзывались о лекции.

Не обошлось и без инцидента. В середине чтения погасло электричество, и мы оказались в абсолютной тьме. Я использовал этот момент, чтобы пояснить идею лекции: «свет начало красоты», хотя и трудно было говорить к невидимой публике. Но, по крайней мере, непрерываемость речи удержала тишину в зале.

Принесли керосиновую лампу, а затем было исправлено и электричество.

Для дальнейших выступлений нельзя было найти зала. Группа рабочих предложила устроить лекцию в местном православном соборе. Но настоятель, боясь ответственности, предложил мне получить специальное разрешение от Патриарха Тихона.

Через несколько дней я посетил Патриарха в Москве, в Троицком подворьи. Патриарх очень сочувственно отнесся к чтению в соборе; он тут же выдал мне бумагу с собственноручной подписью и патриаршей печатью (она была также занесена в шнуровую книгу в канцелярии). Бумага гласила о преподании мне Патриаршего благословения на проповедь Слова Божия в православных храмах, при условии согласия местных настоятелей. Таким образом, в виду будущих аналогичных случаев я получил разрешение на проповедь в храмах вообще. Через несколько дней лекция в Богородском соборе была устроена (на тему «Духовная жажда»), при большом скоплении народа.

После одного из этих выступлений я хотел вернуться в Москву в тот же день, хотя и был очень утомлен. Друзья советовали мне отложить — и я, после долгих уговоров, согласился.

Совет друзей оказался пророческим.

На другой день я узнал, что, поезд, вышедший накануне, потерпел крушение. Я видел у насыпи груду обломков. Об этом несчастьи мне рассказывали следующее. В одном из товарных вагонов (в теплушке), с открытой широко стенкой, красноармейцы распевали кощунственные песни.

Вдруг сорвался откуда-то ветер и, сильным порывом

налетев на этот широко-открытый с боку вагон, сбросил его с рельс.

Несколько красноармейцев (кажется, 8 человек) были убиты.

Вспоминаю еще лекцию на тему о Христе в Подольске в местном Художественном театре. Все места были заняты. Так как, по обыкновению, была объявлена беседа после лекции, то руководство прениями было поручено знакомому студенту.

Но перед началом лекции ко мне подошла за кулисами группа людей. Среди них был партийный агитатор П., который уже выступал против меня в Богородске, при явном неодобрении слушателей.

«Мы предлагаем вам свой президиум», сказал он. На это я ответил:

— «Но, ведь, это не митинг, а лекция. Мы сами ее устраиваем» (Лекция была устроена местной группой христианской молодежи). «Мне приходится поблагодарить вас... Но мы обойдемся своими силами»».

Я слышал, как П. сказал вполголоса: «Предъявите требование комитета партии».

Человек с золотыми зубами, оказавшийся председателем исполкома, оффициально заявил, что председательство они, представители партии, берут в свои руки. Я признал это насилием, но все же согласился читать.

Мы все вышли на эстраду.

Председатель объявил собрание открытым, указав на некоторые общие правила (регламент) для желающих говорить. В публике послышался ропот по адресу неожиданного президиума. Мне было дано слово. Я объявил о неожиданно случившемся изменении в порядке собрания и сказал, что отвечаю только за свои слова, а отнюдь не за слова атеистов, присоединившихся ко мне против моей воли.

Публика слушала меня очень внимательно.

Когда я кончил, председатель объявил, что в качестве оппонента будет говорить товарищ П.

П. стал излагать историю религии с древнейших, первобытных времен, стараясь показать суеверность всякого религиозного мировоззрения. Он говорил уже час... Публика стала протестовать...

«Граждане!» сказал строго председатель: «вы имели терпение выслушать гражданина М., так слушайте терпеливо и оппонента».

— «Мы не на вашу лекцию пришли...» — «Прошу к порядку»... крикнул председатель, ища глазами того, кто осмелился возражать.

Оппонент продолжал. Изредка слышался смех по поводу тех или иных его выражений.

Было уже поздно. Записки одна за другой поступали к столу.

Когда П. кончил, председатель сказал: «У нас есть еще два оратора». Публика взвыла от негодования. Это грозило затянуться часов до двух ночи. Было все очевиднее, что меня хотели взять измором.

— «Я не совсем здоров, гражданин, и потому не могу сидеть здесь так долго».

— «Товарищ лектор ссылается на нездоровье»...

Сидевшие на эстраде засмеялись.

— «Ну, хорошо... Могу я ответить прежде на записки, которые уже поступили?»...

— «Это, пожалуйста...»

Я предложил моему знакомому читать вопросы и возражения, поданные на записках.

Отвечая на последнюю записку, я сказал общее заключительное слово, с призывом верить во всех этих вопросах жизни не мне или моим оппонентам, а Тому, Кто сказал: «Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне».

«Я свет жизни... Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

Раздался гром апплодисментов.

И вдруг загремели стулья, и вся публика (человек 700) устремилась к выходам.

«Товарищи, куда вы?» беспомощно кричал председатель. «У нас еще два оратора»...

Но его голоса почти не было слышно. Всю публику как волной смыло...

Мы остались одни. Председатель, стуча папироской по портсигару, говорил желчно: «Ну, что?.. ваша взяла!..» Другой раздраженно обратился ко мне и студенту: «Эх вы... за гриву держитесь: бывшие вы люди!»

«Ну что ж, это правда»... сказал я улыбаясь. «Христос именно к бывшим людям пришел, чтобы их возродить и сделать людьми».

В коридоре за кулисами ко мне подошли двое рабочих, прося выступить еще у них на заводе с этой же лекцией.

Но это устроить не удалось.

ВОПРОС О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ.

Осенью же 1919 г. пришлось мне явиться в Народный Суд по делу об отказе от военной службы (о чем я уже упоминал).

Считаю не лишним вспомнить здесь главные моменты, характеризующие мое отношение к военной службе.

Еще со времени первых лет студенчества я стал отрицательно относиться к войне, под влиянием Нагорной проповеди, в силу завета Христа о любви к врагам.

По окончании Университета я не подлежал военной службе, как штатный преподаватель гимназии.

В 1913 г. я оставил государственную службу, посвятив себя Христианскому Студенческому Движению в России. От военной службы я был свободен, как прослуживший 6 лет учителем гимназии на государственной службе.

И вдруг в 1914 г. грянула война. Тогда учительская

льгота потеряла силу именно потому, что я не состоял на государственной службе. В дни объявления войны я жил у себя на родине, в селе Волынской губернии, в 70 верстах от фронта, где уже наступали австрийцы. Мобилизованных в пограничной области посылали непосредственно на фронт, не давая даже военной одежды, а лишь снаряжая ружьями и патронами. Я поехал в Дубно, где был воинский начальник.

По дороге очень волновался. Теоретически вопрос о войне был ясен: я должен отказаться. Но практически непосредственная действительность, военное положение прифронтовой полосы ставило втупик.

Помню, я раскрыл бывшее у меня в кармане Евангелие — глаза упали на стих: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». (I Кор. 10. 13).

Я ухватился за эти слова, как за якорь — и все предал на волю Божию.

Прибыли в Дубно. Воинского начальника в его управлении не оказалось. Он присутствовал на приемной комиссии в другой части города. Пришлось итти туда пешком, очень далеко.

За год работы в Студенческом Движении от постоянных лекций, долгих бесед, поездок у меня переутомилось сердце, — и теперь я чувствовал себя особенно слабым, тем более, что мы проехали на телеге 35 верст.

Врач в белом кителе, наклонившись, слушал мое сердце. Что-то сразу усмотрел и безнадежно покачал головой, сказав какое-то латинское слово. Мне дали белый билет, т. е. уволили в чистую. Отец, сопровождавший меня, сестра, плакавшая всю дорогу — просияли. Я ощущал большую радость жизни. Да, испытание не было «сверх сил». как говорится в приведенном стихе.

Как радостно было вместо фронта или тюрьмы оказаться в саду родного села!

«Я знала, что так будет» — говорила одна знакомая, с которой мы много беседовали о Христе. «Вы должны еще остаться на этом свете для религиозной работы».

В 1916 г. меня все же вторично мобилизовали. Я пошел на осмотр, захватив свой белый билет с указанием статьи о болезни сердца.

Сердце нашли здоровым. У меня был невроз сердца, явственные перебои — врачи говорили о неизлечимости и смертельной опасности моей болезни всякую минуту. В санатории Крюково врач советовал оставить тревожную студенческую работу и вернуться к регулярной учительской службе. «А другой при студенческой работе будет здоров?», спросил я. — «Нет, это будет со всяким. Уж такая нервная работа...» Я остался при студенческой работе. И вот сердце все-таки поправилось.

«Годен»... сказал председатель комиссии (в Екатерининском зале Московской Городской Думы).

— «Постойте, ведь, я имею еще недостаток... Я близорук...» — «Снимите очки... Видите вон те знаки?...» — «Ничего не вижу»... — «А нас видите?» спросил он раздраженно. — «Вижу... Прошу вас исследовать меня инструментами»... — «Здесь нет инструментов... А посылать в госпиталь не велено...»

— «Вот я на днях был в Алексеевской городской лечебнице, и у меня рецепт на очки... три с половиной диоптрии». — «Это не документ». — «Ополчение 2-го разряда», вдруг сказал председатель и поставил соответствующий штемпель. (Это означало свободу, ибо данная категория в то время не призывалась). Через год новая мобилизация, но меня освободило положение штатного преподавателя, которое я временно совмещал со студенческой работой. Летом 1918 г. чехи взяли Самару. Установилась белая власть (так называемая учредиловская — управлял Комитет Членов Учредительного Собрания). В октябре подошли советские войска. Опять мобилизация (со стороны белых). Попал и мой возраст. Я написал письмо

об отказе на основании религиозных убеждений и пошел на другой день в Управление воинского начальника.

Прихожу к дому, вывески не нахожу. Спрашиваю у прохожих. Оказывается, Управление вместе с белыми войсками ушло из города.

Установилась опять советская власть.

Новая мобилизация, теперь со стороны красных. Иду в военный комиссариат, захватив то же самое письмо, как некоторое доказательство своего беспристрастия в вопросе войны: не помогал воевать белым, не буду помогать и красным.

— «Вы ведь из Москвы? Так вам в Москве и призываться», сказали мне в комиссариате.

В это время, уже с 4-го января 1919 г., стал действовать новый закон, в силу которого можно было освобождаться от военной службы по религиозным убеждениям, если подсудимый мог доказать свою искренность, а не оказывался, по тогдашнему выражению, «шкурником».

Был организован «Совет религиозных общин и групп», куда входили представители различных вероисповеданий. Участвовали В. Г. Чертков, И. Н. Колосков (от христиан-трезвенников), П. В. Павлов (от баптистов) и т. д.

Эти представители имели право быть экспертами на суде.

Приехав в Москву, я подал заявление об отказе в местный Народный Суд (бывший Мировой суд).

Вот настал день суда.

Дело слушалось при открытых дверях.

Присутствовали в публике знакомые, толстовцы, христиане — трезвенники.

Я был вызван к столу.

Экспертом моим был П. В. Павлов.

Он разложил перед судьей в качестве вещественных доказательств ворох моих афиш лет за 10 и пояснил, что в Петрограде и Москве всякий слышал или эти лекции, или про эти лекции — и что в них всегда проводилась

идея христианского идеализма, братства. Один из деятелей Студенческого Движения, хорошо знавший меня, попросил у судьи слова, как частный свидетель, и рассказал мою биографию, — между прочим, о том, как я ходил в народ, в течение многих лет, в качестве книгоноши св. Писания, как вел кружки молодежи, собирал детей улицы в частную школу и т. д.

Судья, человек лет 55, назначенный советской властью из числа прежних мировых судей, очень внимательно слушал.

Я хотел еще высказать свидетельство о Христе и Евангелии, попросив дать мне «последнее слово».

Но судья сказал: «Слова не нужно. Дело само за себя говорит»...

И стал тут же быстро писать заключение.

В конце заседания суда приговор был объявлен в следующей форме:

«Именем Р. С. Ф. С. Р. — прошу встать!»

Все встают в напряженной тишине.

И он читает постановление народного суда. (Привожу точно по выданной мне копии приговора).

«1919 г. сентября 17 дня, именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Местный Народный Суд Бронного участка г. Москвы в составе Народного Судьи Трухачева и очередных Судей-Заседателей, рассмотрев дело по ходатайству гражданина Марцинковского Владимира Филимоновича об освобождении его от военной службы по религиозным убеждениям, нашел, что означенное ходатайство исключает всякую возможность сомневаться в полной искренности и убежденности просителя, как твердо стоящего на пути заповеди Христа о любви и стремящегося многолетними работами заронить своими проповедями среди молодежи и детей улицы ту искру любви, которая только и может обогатить духовную жизнь народа вообще, а в частности молодежи в период ее неокреплости и неустойчивости в своих убеждениях, обуреваемой современной разрухой. Таким образом, про-

ситель Марцинковский является одним из сеятелей на ниве Христовой, достигающим или, по крайней мере, стремящимся достигнуть благих всходов.

Исходя из всего вышеизложенного и суммируя доводы экспертизы, Суд определяет: гражданина Марцинковского Владимира Филимоновича от несения военной службы во всех ее видах, как активной, так и вспомогательной, освободить, предоставив ему право работать на пользу молодежи и детей улицы, оставаясь организатором и проповедником всюду, где нищета духовная ищет и просит подаяния и пищи духовной. По объявлении копию с настоящего определения выдать просителю и сообщить в Совет религиозных общин и групп».

Раздались аплодисменты. Меня поздравляли.

Одна дама-толстовка сказала мне приблизительно так: «Было такое чувство сегодня, как будто совершалась подлинная литургия».

Дома была большая радость.

Ведь, некоторые подобные дела кончались назначением в строй, в случае отказа — заключением в тюрьму; в лучшем случае, определяли в эпидемический госпиталь.

Освобождали не только судьи, подобные тому, который разбирал мое дело, но и современные, из рабочих.

Я присутствовал при подобном процессе, когда судья, рабочий М., освободил студента О. православного вероисповедания (это всегда труднее, чем при свободно-христианских верованиях, потому что православная Церковь обычно признает войну с христианской точки зрения. Данный студент цитировал отрывки из творений Отцов Церкви, отрицавших войну, например, из Ефрема Сирина).

В последнее время нередко евангельские христиане и баптисты присуждаются за отказ к тюремному заключению, хотя бывали случаи досрочного освобождения, когда самым фактом сидения и соответственным наблюдением над жизнью заключенного достаточно выяснялась убежденность подсудимого.

В начале революции, когда на окраинах, в провинции значительно процветал личный произвол — были печальные случаи жестокости.

Так толстовец Х. был поставлен под расстрел.

Стоя перед взведенными на него ружьями, он сказал солдатам: «Помните, братья, что расстреливая мое тело, вы расстреливаете свою душу».

Выстрелов не последовало.

Командир собственноручно застрелил Х. из револьвера.

Надо сказать, что и при старом режиме бывали случаи, обнаруживавшие стремление освободить искренних «религиозников».

Мой друг А. после отказа от военной службы был отдан в психиатрическое отделение военного госпиталя в Москве (в Лефортове) на испытание и пробыл в ужасной обстановке, среди умалишенных, 6 месяцев. Он к тому же артист-певец, окончивший Московскую консерваторию.

По его свидетельству, молитва и чтение Евангелия спасли его от душевного заболевания. В особенности, он пережил там, по его свидетельству, силу и глубину 8-ой главы Послания к Римлянам: «Любящим Бога — все содействует ко благу... Если Бог за нас, кто против нас?.. Ничто не отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе»...

Когда он стоял перед судом, председатель (генерал), всматриваясь в его лицо, сказал членам комиссии: «Обратите внимание на его улыбку... Это человек ненормальный».

И вот какое свидетельство ему было выдано — я читал его и привожу теперь по памяти.

Сообщалось, что А. страдает душевной болезнью — mania religiosa, — в виду 1) сообщаемых им каких-то таинственных сношений с Божеством (на вопрос: «кто внушил вам отказ?» — он ответил: «Господь»), 2) дурного самочувствия при виде оружия и 3) полного равнодушия к своей судьбе.

Я думаю, и Сократу можно было бы выдать такое же свидетельство: ведь и он сообщал о божественном голосе (daimonion), который руководит им, и он равнодушно принял смертный приговор.

В результате А. был освобожден, но, как «душевнобольной», он должен был лишиться места учителя пения в одной из московских городских школ и стал регентом в Общине Евангельских Христиан.

СУД НАД ЦЕРКОВНИКАМИ.

Одним из значительных моментов борьбы с религией было вскрытие мощей.

В связи с последним зимой 1919—1920 гг. слушалось в Верховном Трибунале дело А. Д. Самарина, Н. Д. Кузнецова и др.

Суд происходил в Голубом Зале Союзов на Большой Дмитровке (б. Дворянское Собрание), при открытых дверях: ему был придан характер так называемого «показательного процесса». Заседания продолжались 6 дней; каждый день мне удавалось побывать там хоть некоторое время.

За столом на эстраде сидел председатель Трибунала Смирнов и другие члены этого учреждения. С правой стороны — общественный обвинитель, б. главковерх[15]) Крыленко. В глубине эстрады виднелась фигура поэта Демьяна Бедного в военной одежде защитного цвета.

С левой стороны на скамье подсудимых был ряд духовных лиц — игумен Звенигородского монастыря о. Иона и еще несколько монахов, священник Н. Цветков, б. обер-прокурор св. Синода А. Д. Самарин, профессор Н. Д. Кузнецов и др.

---

[15]) Верховный Главнокомандующий.

Дело состояло в следующем. При вскрытии мощей Саввы Звенигородского в раке не оказалось нетленных останков, а были найдены лишь кости. По словам некоторых монахов, один красноармеец плюнул в раздражении на череп, вынутый из раки. Представители другой стороны доказывали, что красноармеец, возмущенный неожиданным обманом, действительно плюнул — но не на череп, а на пол.

Слухи о кощунстве распространились в толпе — она бросилась на коммунистов, было кровопролитие, кажется, и убийства.

В оправдание себя, монахи пустили в народе слух, что нетленные мощи были в гробнице, но они «ушли» от недостойных очей и рук кощунников.

Так как организацию защиты Церкви, охраны Патриарха и т. п. взял на себя так называемый Всероссийский Совет Приходов, — то он и был обвинен в подстрекательствах, следствием которых были убийства (в различных местах Р. С. Ф. С. Р.).

Надо заметить, что большая часть народных беспорядков в годы революции возникала, насколько мне известно, на религиозных основаниях.

Представитель Чеки, командированный в Звенигород для расследования дела на месте, присутствовал тут же в качестве свидетеля.

Зал был переполнен.

Не буду приводить всех подробностей судоговорения, допроса свидетелей, подсудимых.

Во всем процессе ярко ощущалась русская церковная история в изломе: сталкивались два мира, или, вернее, две идеологии — государственная религия и, как реакция против нее, государственный атеизм.

Досадно было видеть, что сторонники религии, большей частью искренние, страдают за интересы не религии, а строя и класса, для которых религия была лишь средством.

Разоблачение этих сторон оффициального правосла-

вия составляло силу речей прокурора Крыленко, незаурядного оратора с чеканным юридическим языком и четкой медленной речью, особенно явственной благодаря западно-русскому акценту.

Вскрылись также печальные стороны нравственной жизни некоторых монахов.

Особенное впечатление произвели «последние слова» подсудимых.

Профессор Кузнецев сказал: «Я всегда боролся за отделение Церкви от государства. Теперь мне приходится страдать за грехи оффициального христианства. Вам нужна моя кровь — берите ее. Пусть моя могила послужит напоминанием всем, кто содействует обмирщению Церкви».

Спокойно и с достоинством говорил А. Д. Самарин.

Игумен Иона, монах с худощавым, аскетическим лицом, вынул из кармана маленькое Евангелие и, перекрестившись, прочитал из того места, где описываются страдания Христа:

«В шестом часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого».

«Вчера здесь потухло электричество», говорил он дальше: «и мы все были во мраке. Это напоминает мне затмение, бывшее во время крестного страдания Того, Кто был Свет мира»...

Священник Ц., почтенный старец, с львиной гривой седых волос, несколько трясясь от волнения, вышел из скамей. Стал лицом к народу и, осеня себя широким крестом, сказал громким взволнованным голосом: «Клянусь Всемогущим Богом, что меня обвиняют несправедливо»...

Последняя речь обвинителя Крыленко.

Какого приговора он потребует для подсудимых?

Он говорит гневно, с горящим взором; в слове его слышится свист бича, рассекающего воздух, иногда меча, занесенного над головой подсудимых.

«Самарины, Кузнецовы — все это генеральный штаб, сознательные вожди той идеологии, с которой пролетариат

борется не на жизнь, а на смерть, беспощадно... Они должны быть изъяты»...

Публика замерла... словно ее не стало в этой жуткой тишине.

«И всем подобным интеллигентным руководителям придет тот же конец... Дело Патриарха Тихона у меня уже здесь в портфеле»...

Трибунал ушел для совещания. Оно было очень продолжительно.

Наконец судьи возвращаются в зал, и председатель Смирнов прочитал при напряженном внимании зала приговор. «Самарина, Кузнецова подвергнуть высшей мере наказания, т. е. рас-стре-лять!»... произнес он четко, с расстановкой. В публике послышался вздох ужаса.

Но затем приведено было пояснение, что, так как накануне Совнарком принял отмену смертной казни, то расстрел заменяется тюремным заключением на 5 лет.

Некоторые (дьякон, простой монах и др.) были оправданы и освобождены, в виду несознательности, бескорыстия, пролетарского происхождения и тому подобных привходящих оснований.

Сидя в зале, я почувствовал, что и мне рано или поздно придется быть в положении подсудимого — поскольку власть не различает оффициальной и «политической» религии от религии вообще, поскольку «всяк за всех виноват», наконец, поскольку среди обвинителей могут быть лица, борющиеся с религией, как таковой...

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ЛЕКЦИИ ЛУНАЧАРСКОГО И ДР.

Приблизительно в это же время улицы Москвы были обклеены афишей о лекции А. В. Луначарского, народного комиссара просвещения, на тему:

«Почему не надо верить в Бога?»

Я пошел на эту лекцию.

Она была в большом зале Политехнического Музея, близ Лубянки.

Народу было полно. Многие не попали в аудиторию.

Я пробился кое-как.

Сел на эстраду, лицом к публике, в числе других.

Хорошо видел всех, а главное оратора, который стоял тут же. Говорил он, что никому не запрещается верить во что угодно, но мыслящему человеку верить в Бога нельзя. Рассказал главные этапы истории религии (анимизм, фетишизм и т. д.). Говорил очень уверенно: «Мы являемся авангардом человеческой мысли»...

Пересыпал речь остротами, говорил литературно, отчетливо, по временам сильно возбуждаясь, как бы гипнотизируя.

Отвергая Бога, он в то же время звал к светлому будущему, когда люди создадут, по его словам, «братство богов в природе».

Я не мог молчать; достал из кармана бумажку и написал: «Прошу слова. Марцинковский».

Лектор огласил записку и сказал, что сегодня не диспут, а лекция, но, впрочем, он предлагает аудитории решить вопрос — давать ли слово, предлагая ограничить время оратора 10 минутами.

Поднялся шум. «Не надо»... «Просим, просим»...

Народу было тысячи три. Поднятие рук показало, что большинство стоит за то, чтобы дать слово.

Выхожу. Ощущаю напряженную тишину. Я постарался использовать краткое время, чтобы как можно яснее высказаться в защиту веры.

«Граждане! Все, что утверждал лектор Луначарский относительно разума и науки, будто они не позволяют верить в Бога — совершенно неверно. Лектор называет религию буржуазной верой.

А я утверждаю, что проповедуемый им материализм есть буржуазная, мещанская вера: для нее «то лишь действительно, что для тела чувствительно».

Но это и понятно: согласно теории самого лектора, у него должна быть буржуазная душа, так как он вышел из буржуазной среды — да простит он мне такой переход на личность!

Лектор говорил о фетишизме, о суевериях дикарей, о языческой религии, — но почему он ни слова не сказал о христианстве?

Языческие суеверия действительно разуму противоречат, в то время как величайшие ученые были верующими во Христа. Христос сказал: «Да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Меня веруйте».

Выбирайте же — кому верить? Христу или современным учителям? Сама наша жизнь, полная страдания, свидетельствует против безбожия. Без Бога мы не можем творить и созидать. Мы можем только разрушать. Мы погибаем без веры — и этим подтверждаются слова Христа:

«Без Меня не можете делать ничего».

Раздались оглушительные, долгие аплодисменты.

Я входил на кафедру с большим волнением, но, начав, ощутил полное спокойствие, необычную силу голоса, медленность и ясность слова.

Луначарский, выждав тишину, сказал:

«О христианстве я не сказал потому, что оно как раз более всего противоречит разуму.

Я действительно вышел из буржуазной среды, но это ничего не доказывает.

Все, что говорил М. против меня — одни слова. Да, впрочем, он имел мало времени.

Я предлагаю устроить публичный диспут: пусть против меня говорят полтора часа, а я ограничусь 40 минутами и отвечу на возражения оппонентов».

Когда Луначарский кончил, я подошел к нему.

— «Анатолий Васильевич! Когда же мы с вами устроим этот диспут, который вы предлагаете?»

— «Насчет этого обратитесь к моему устроителю», сказал он, указывая на господина кавказского типа.

Последний записал мой адрес и сказал, что сообщит мне о времени диспута, предлагая пригласить еще ряд профессоров, лекторов и т. д. Их имена называли тут же из толпы, окружившей кафедру.

Чтобы подготовиться к лекции в тишине, я уехал на месяц в Богородск (уже упомянутый выше провинциальный город).

Приглашение на предстоящий диспут было передано Луначарскому, но он отказался в нем участвовать, указав на недостаток времени.

Пришлось прочесть лекцию без Луначарского.

В соответствии с его лекцией моя тема была названа: «Почему надо верить в Бога?»

Народу, как и следовало ожидать, было очень много.

Когда я пришел, был полный зал (№ 2 в Политехническом Музее).

Помещение не было отоплено.

Публика сидела, топая ногами, чтобы согреться.

Я опоздал, так как перед самой лекцией у меня сломалось пенснэ, — пришлось раздобывать другое.

На лекцию пришли, естественно, большей частью люди, сочувствующие религии.

Я предложил свободную беседу после лекции — и подчеркнул, что, хотя Луначарский отсутствует, но другие, разделяющие его убеждения, могут говорит за него.

Таких оказалось 6 человек.

Говорили очень слабо, может быть, уже потому, что не чувствовали на своей стороне аудитории.

Их поддерживали жидкими аплодисментами человек 50.

В пользу религии говорило 13 человек.

Через некоторое время на улицах Москвы опять появился плакат о лекции Луначарского, все на ту же тему: «Почему не надо верить в Бога?»

Были приведены имена оппонентов, и меня удивило отсутствие моего имени.

Я пришел заранее в зал Политехнического Музея.

«Мы хотели вас пригласить», сказал мне устроитель лекции, «но мы не могли найти вашего адреса».

— «В таком случае запишите меня сейчас в список оппонентов».

В лекторской комнате я встретился с Вячеславом Ивановым и раввином Мазе, которые были в числе оппонентов.

Луначарский долго не являлся; прошел уже час после объявленного времени.

Но вот он прибыл на автомобиле.

Снял шубу и прошел прямо на эстраду.

Мы вышли за ним. Я стал перед столом, лицом к публике, недалеко от лектора. Перед нами кипела переполненная Большая Аудитория Политехнического Музея.

Было опять не менее 3 тысяч народу.

По адресу Луначарского послышались замечания в виду его опоздания.

«Дела государственной важности задержали меня, как народного комиссара», сказал он в свое оправдание.

«Предлагаю», продолжал он, «прежде всего выбрать председателя».

Стали кричать фамилии: «Марцинковский»... «Луначарский»...

«Ставлю на голосование», сказал Луначарский: «кто за Марцинковского?.. очевидное большинство».

Я был очень взволнован от этой неожиданности. Однако, собрался с духом и ударил по звонку, стоявшему предо мною.

«Прошу слова», сказал, обращаясь ко мне, Луначарский.

«Я предлагаю установить регламент собрания. Здесь записалось 6 оппонентов — предлагаю за краткостью времени запись ораторов прекратить... Принимается... Каждому оппоненту дается 20 минут».

Затем он сжато изложил суть своей лекции, уже ранее описанной. После него стали говорить оппоненты.

Я. И. Мазе (главный еврейский раввин, известный своей ученостью), Вячеслав Иванов (поэт-философ), священник А. Калиновский, Гусев (секретарь Толстого) и В. Ф. Булгаков (тоже секретарь Толстого). Последним говорил я.

Речь Мазе послужила хорошим началом. Он взял сразу хороший, добродушный тон. «Подобно апостолу Павлу, я могу сказать о себе: я еврей, сын еврея»...

И далее он изложил глубокие основания веры в личного Бога, на основании Библии и философской науки.

Вячеслав Иванов, держа в руках свою бархатную шапку, говорил изящным, утонченным философским языком, к сожалению, не всем понятным в этой пестрой аудитории, где присутствовало много красноармейцев. Он подчеркивал относительность всех вещей, понятий и воззрений и утверждал, что именно вера в Бога дает нам твердые, незыблемые, абсолютные опоры для мысли и жизни. Приводил глубокие толкования к молитве Господней «Отче наш».

Священник Калиновский напомнил изречения мудрецов древности в защиту веры в Бога.

Последователи Л. Толстого противоставляли материализму веру в духовное начало и его центральную сущность — Бога.

Я в основных чертах изложил свою лекцию: «Почему надо верить в Бога?»

Особенно подробно я остановился на христианском понятии Бога и на Христе, как совершенном воплощении Бога; на Божественной любви, выраженной в Голгофской жертве.

Слова оппонентов перебивались громкими аплодисментами.

Пока говорили первые ораторы, я читал записки, поступавшие из публики.

Одна была полна упреков по адресу атеистической проповеди Луначарского: «Я пришла сюда с разбитой ду-

шой, и ухожу еще более разбитая». Подпись: «работница-портниха».

Я подал эту записку сидевшему рядом Луначарскому.

Он прочитал и отбросил записку с жестом нетерпения.

В заключение говорил, как и полагается на диспутах, докладчик: к сожалению, он больше острил и шутил над отдельными местами речей оппозиций[16]).

В толстовском журнале появился отзыв о диспуте.

О моей речи было сказано: «Большую искреннюю речь произнес В. Ф. Марцинковский (евангелист), но, к сожалению, он открыл слабое место своих верований, а именно идею искупления — и на него то устремился Л. со свойственным ему остроумием».

Вскоре Вячеслав Иванов устроил свой диспут с Луначарским на тему: «Религия будущего».

Я опять записался в число оппонентов.

В. Иванов доказывал, что религия будущего есть христианство, которого мы почти еще не знаем и не исповедуем.

Луначарского не было. Я ждал его прихода, чтобы говорить после него — и потому отложил свою речь, хотя уже пришла моя очередь.

Луначарский прибыл; он отвечал В. Иванову на основании его книг, говорил с уважением, корректно. Затем за поздним временем председатель (В. А. Поссе) предложил закрыть собрание.

Таким образом я потерял возможность говорить.

В. Ф. Булгаков, который тоже был в числе записавшихся, горячо протестовал против постоянного опаздывания Луначарского, вследствие чего записавшиеся ора-

---

[16]) У меня нет основания думать, что Луначарский был виновником моего последующего ареста, как думают некоторые. Впоследствии, после моего отъезда из С. С. С. Р. были арестованы некоторые мои друзья, в связи с их религиозной работой, но, по сообщению близких мне лиц, Луначарский даже высказался по данному поводу против применения насилия в борьбе с религией.

торы не могут высказать свое (противоположное атеизму) мнение.

Передавали, что на последующих диспутах Луначарский говорил о религии более уважительно.

В одной из своих лекций на тему «Христос» он уже призывал рабочий класс с уважением относиться к личности Христа — назвав Его одним из первых «основателей социализма».

Выдающимся проповедником атеизма был в то время В. А. Поссе, талантливый лектор, который, к сожалению, изменил свою прежнюю позицию (раньше он говорил в пользу веры).

Однажды, узнаю, что Поссе объявил свою лекцию в Коммерческом Институте (в Замоскворечьи) на тему: «С Богом или без Бога?»

«В качестве оппонентов приглашены В. Ф. Булгаков, В. Ф. Марцинковский и др.», гласила афиша.

Я удивился тому, что мое имя было поставлено без предварительных переговоров со мной.

Поссе говорил очень искренно.

«Я отказался от веры в Бога... Вы не думайте, что это мне дешево досталось... Я часто не сплю по ночам».

Оппоненты сурово нападали на оратора.

Мое возражение состояло в следующем:

«Атеизм болезнь духа... Оттого она и вызывает, между прочим, бессонницу... И так как это болезнь, то я хочу не осуждать ее, но сочувствовать ей, как сочувствуют всякому страданию... Оратор, отвергая веру в Бога, призывает к справедливости, братству и любви. Я считаю это столь же последовательным — как отвергать солнце и в то же время принимать его лучи».

После лекции Поссе тепло благодарил меня за тон сочувствия, который он услышал в моих словах.

На ряду с интеллигентными и вдумчивыми ораторами, выступали иногда люди, «натаскавшиеся» в данном вопросе по брошюрам.

Помню выступление одного такого вульгарного аги-

татора, поистине смердяковского типа. Он политично назвал свою лекцию так, что можно было предполагать положительное содержание в лекции. (Что-то вроде: «Почему мы верим в Бога?»).

Это было в Политехническом Музее. Пришло довольно много народа. Лектор говорил о Боге цинично, развязно, похлопывая себя по животу, — высмеивал библейское повествование о сотворении мира и т. п. («От скуки Творец создал мир» и т. д.).

В зале царила подавленная атмосфера.

У меня было такое впечатление, что вот русскую душу грабят среди бела дня.

Пришли мы вдвоем с одним моим верующим другом.

Когда была объявлена беседа, мы, внутренно помолясь, решили выступить.

Мой друг, высокий, рослый, молодой человек, в полушубке, взошел на эстраду и сказал кратко и энергично:

«Все это позорная ложь... Мы на основании слова Божия, разума и жизни веруем в Бога и Господа нашего Иисуса Христа»...

Зал как бы проснулся от тяжелого сна и загремел аплодисментами.

Я сказал также кратко — что «наука не противоречит религии, что лекция основана на незнании и расчитана на невежество.

Ученые, творившие науку — глубоко верили в Бога. Бог — основа нашей жизни.

Христос распятый, воскресший и паки грядущий — достоин всецелой веры. Верьте Христу, а не человеческим вымыслам!»

Целью нашей было не вступать в полемику, а дать свидетельство. Ясность и определенность исповедания всегда действует на толпу неотразимо, тем более тогда, когда вера не пользуется защитой сильных мира сего, и вы рискуете собой.

Один проповедник называл это — «стрелять самим собой».

С течением времени стали появляться все чаще на диспутах простые мужички с Евангелием в руках.

Один евангельский христианин, простой рабочий, организовал свою лекцию в театре одного из уездных городов Московской губ. Всех своих противников он обезоружил словами из Писания, как некогда юный пастух пошел на Голиафа с пятью гладкими камешками из ручья...

В результате победа осталась за ним. Повторить эту беседу ему не позволили под тем предлогом, что она служит к одурманиванию народа.

Чем больше развивалась антирелигиозная пропаганда, тем более увеличивался интерес к религии.

Постепенно агитаторы атеизма поняли, что диспуты лишь способствуют углублению интереса к религии, и впоследствии появилось предложение от диспутов воздерживаться.

Даже дети научились выступать в защиту религии.

Я присутствовал на одной такой «просветительной» лекции в Медведниковской гимназии в Москве.

Оратор, молодой человек в солдатской шинели, говорил на тему: «Должны ли мы верить в Бога?». Присутствовали учащиеся, начиная с 12—13 лет. «Зло и добро — понятия относительные»... говорил оратор. «Для нас Пуанкаре это зло, а Ленин добро. Конечно, парижский буржуй скажет наоборот». Говорил многое в таком роде, уклонялся в политику, — а в заключение почти неожиданно, так сказать, ни к селу, ни к городу, вывел резолюцию: «Итак, товарищи, мы не должны верить в Бога. Бога нет».

Тут выскочил гимназистик, лет 13-ти, с дискантовым, пискливым голосом, иногда переходящим в бас, как это подчас бывает у подростков переходного возраста.

— «Вы, товарищ, говорите, чтобы мы не верили в Бога. Кто же это такой Бог? Вы говорите, что Бога нет? Кого же собственно нет? И в кого это мы должны не верить?»

— «Вы требуете от меня определения понятия Бог», возражает докладчик. «Вы знаете из Евангелия: Бог есть дух».

— «Дух... Так то из Евангелия. Ну, хорошо... Но что же такое дух? Вы, ведь, материалисты и не признаете духа. И я опять спрашиваю, в кого же нам собственно не верить?».

Мальчик оказался очень настойчивым: он, можно сказать, вцепился в агитатора и гонял его по всем тонкостям диалектики.

— «Товарищи, об этом можно долго спорить. Теперь»... сказал он, вынимая часы, «за поздним временем дебаты прекращаются... Приходите в следующую среду на очередное собрание»...

Весной 1920 г. мной был прочитан цикл лекций по вопросам этики и религии в Студенческой столовой на Малой Бронной улице. Одна из них была на тему: «Наука и религия».

Перед началом этой лекции подошла ко мне знакомая дама и тихо сказала: «Имейте в виду, что здесь находится тот самый чекист, который засадил в тюрьму профессора Кузнецова»...

Приблизительно в 3-м ряду сидел человек с гладко выбритым полным лицом и, ухмыляясь, что-то записывал.

Когда я окончил, он попросил слова.

В своей речи он говорил, что вся эта «проповедь носит буржуазный характер, и работа эта ведется на средства буржуев»... Говорил и еще что-то, переходя уже прямо на мою личность и насмехаясь надо мной.

Публика стала возмущаться, требуя, чтобы оппонент говорил на тему; потом стала посмеиваться на ним.

Я встал и предложил присутствующим выслушать говорившего терпеливо, после чего я буду иметь возможность ответить.

«Передние ряды недовольны мной», — насмешливо-спокойно сказал мой оппонент и продолжал ту же язвительную речь. Поднимается шум:

«Довольно! Не хотим слушать»...

Ему пришлось кое-как закончить и уйти.

Получилось впечатление, как будто оппонент не имел свободы слова. Как я ни старался отстоять его, все же он ушел, и, конечно, с недобрым чувством.

Через некоторое время мои лекции в Студенческой столовой были прекращены, так как против них восстала так называемая местная «коммунистическая тройка».

Мы решили найти зал в Высшей Школе.

Пошли с этой целью к одному из членов Совнаркома (Бонч-Бруевичу).

— «Религиозных лекций в Высшей Школе мы разрешить не можем».

Я задаю ему вопрос:

— «Правда ли, что правительство предполагает призвать на ответственные хозяйственные должности сектантов в виду их честности». — «Да, у нас есть такой проект». — «Значит, вы признаете, что меноните, евангелисти и пр. отличаются честностью под влиянием религии. Почему же вы признаете плоды, а отвергаете дерево, на котором они растут?»

— «Их честность объясняется не их религией, а теми социальными условиями, в которых они жили».

— «Но, ведь, они живут в одной и той же среде с прочим русским народом, и только благодаря евангельским убеждениям они сами изменили социальные условия»...

Нарком пожал плечами. Да и время приема не позволяло говорить много.

ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРОС. БЕСЕДА С ПАТРИАРХОМ ТИХОНОМ.

К этому времени, т. е. к периоду 1919—20 г., относится мой усиленный интерес к вопросу о возрождении Православной Церкви.

Были разоблачены многие неправды оффициального христианства. Народ стал массами уходить из Церкви.

Духовенство редко решалось поднять голос в защиту Евангелия, перед лицом воинствующего атеизма.

Я много размышлял в то время о причинах такого упадка церковной жизни и сосредоточился на вопросе об условиях вступления в церковь, о возрождении отдельной личности, на вопросе о крещении; ходил заниматься в лучшее тогда книгохранилище, в Епархиальном Доме, куда по распоряжению властей были свезены книги религиозного содержания; там же происходил и Церковный Собор в 1917 г.; здесь я изучал вопрос по первоисточникам древнего периода, по творениям Отцов Церкви.

В это время в Москве был голод. Приходилось, например, брать в качестве завтрака маленькую коробочку с конопляным семенем (оставшимся от моей канарейки, которая погибла от холода в квартире). К тому же библиотека не отапливалась. Я приходил в валенках и занимался с разрешения библиотекаря на площадке лестницы, где было немного теплее, благодаря близости жилых помещений.

В квартире у нас также сильно ухудшились условия. Пришлось всей семьей — т. е. четырем человекам, жить в одной комнате; спал я две зимы на столе.

Центральное отопление не действовало. Выстроили маленькую кирпичную печку, которая, благодаря отсутствию специальных дымоходов, сильно дымила. Моя младшая сестра, занимавшаяся нашим хозяйством, стала болеть глазами от дыма и однажды была найдена лежащей без чувств под густой завесой дыма.

Голод усиливался. Не было хлеба. Ели мороженый, почерневший, осклизлый картофель и рожь, которую сами мололи в кофейной мельнице. Сестра иногда отказывалась от своей доли, ради нас, уходивших из дому на работу. Однажды, по прочтении одной лекции в Петровско-Разумовской Сельско-хозяйственной Академии я получил разрешение подобрать на огородах Академии оставшиеся овощи. Я копал в земле, отыскивая морковь, репу, отброшенную капусту, и так набрал около пуда. На другой день ударил мороз, и я от напряжения и усталости простудился, так что пришлось пролежать неделю на своем столе. Все же Бог удивительно хранил. Мы были слабы, но не болели. За отсутствием трамвая, по десятку верст делали в день.

Настроение было бодрое. По вечерам мы всей семьей в дополнение ужина — пели духовные песнопения (православные и евангельские). Сестра выходила на базар продавать вещи. Ее муж возил их в деревню, для обмена на продукты. Я после лекции где-либо в провинции получал неожиданный драгоценный дар, большой коровай черного ржаного хлеба.

Одежда износилась. Сапоги иногда надевали по-очереди. И в этом явилась помощь с неожиданной стороны. В учреждение, где служил шурин, поступила одна пара ботинок с деревянными подошвами. В результате лотереи он их и выиграл.

Ко мне в это время пришла одна студентка, которая раньше слушала мои лекции, а теперь работала в области коммунистического просвещения на кожевенной фабрике. Она пришла ко мне с приглашением читать для рабочих лекции по литературе идеалистического содержания; «этот постоянный материализм скучен и односторонен в смысле развития», говорила она.

Я согласился. И так как лекторам выдавалась помощь натурой, я получил от кожевенного отдела по ордеру новые русские сапоги. К сожалению, я не дождался возможности отработать эти сапоги. Знакомая была в это

время из Москвы переведена на Урал. Ее заместитель сказал мне так: «Мы, товарищ, пригласим вас, когда отыщем для вас опытного оппонента. Иначе, ваши лекции послужат к разложению сырых рабочих масс... Мы вам сообщим»...

Я наведывался, но безрезультатно.

Отзыв упомянутой коммунистки о материализме напоминает мне еще один случай из прошлого. Как-то я читал лекции по русской литературе на московских частных общеобразовательных курсах для рабочих, при чем указывал на религиозные идеи в произведениях Чехова и др. Один преподаватель-материалист потребовал на совете устранения этих лекций. Тогда один из рабочих сказал: «Надо же нам что-нибудь и о небе воображать». В результате горячих прений совет высказался (большинством 16 против 1) за сохранение лекций.

Итак, как уже сказано, я работал над церковным вопросом. В конце 1919 г. составленный мною доклад был прочитан в присутствии многих верующих друзей, нескольких священников: были также представители баптистской общины В. Г. Павлов, из Армии Спасения и т. п. Основная идея доклада была та, что мы должны вернуться в церковной практике к крещению взрослых, к крещению по вере. Сознательная вера, обращение, возрождение должны предшествовать этому священному акту «обещания Богу доброй совести». Так написано в слове Божием. Так поступали апостолы. Еще в IV ст. такие Отцы церкви, как Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст — хотя они были детьми христиан и даже духовных лиц (как Григорий Богослов) — были крещены после 20 лет.

То же подтверждает современный крещальный чин Православной Церкви, хотя он не совершается, как должно: священник задает крещаемому вопросы: «отрицаешься ли сатаны?», «сочетался ли Христу?» а отвечает на них, вместо крещаемого, крестный отец, который часто это делает полусознательно или даже без всякой веры. Отсюда множество формальных и мертвых членов в Цер-

кви, отсюда и массовые отпадения от Церкви в период революции.

Словом, мы должны вернуться к простому и ясному завету Воскресшего Господа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари: кто будет веровать и креститься, спасен будет».

Позже я читал этот же доклад в одной из старинных московских церквей, на собрании прихожан. Это было вечером. Настоятель храма сказал несколько слов о том, что вопрос рассматривается с ведома Патриарха, что мы выслушаем доклад в порядке обсуждения спокойно, в духе взаимного мира. Народу было много. Прихожане сидели на скамьях, как обычно во время бесед. Я стоял на возвышении, где помещается хор — и читал свой доклад, держа в руках свечу темного воска. Еще до сих пор у меня хранится эта рукопись, закапанная воском.

После доклада была беседа. Некоторые горячо возражали мне, иные высказывались в пользу доклада.

Один молодой священник в упор спросил меня: «Вы считаете себя членом Церкви? В Церкви вы или нет?» Я ответил: — «Нет, я нахожусь в притворе Церкви». Артистка Художественного театра Б. подошла ко мне, пожала руку и сказала: «Я не согласна с вами... Но я благодарю вас за вашу искренность».

Вскоре еще в одном храме (на Страстной площади) предложено было мне говорить на тему «о возрождении». Я проводил мысль, что возрождение не зависит ни от каких внешних действий — его пережили до и без крещения разбойник на кресте и сотник Корнилий. Меня естественно спросили: «Как же вы смотрите на крещение младенцев?». И я опять изложил тезисы своего доклада.

Затем я пошел с согласия нашей группы с этим докладом к Патриарху. Он был тогда под домашним арестом. Нужно было в приемной записывать в особой книге для посетителей сведения о цели прихода. Я сообщил, что пришел «от группы православных мирян с докладной запиской по вопросу об обновлении Православной Церкви».

Незадолго до этого времени Патриарх изъявил согласие посвятить меня в стихарь для проповеди слова Божия в храмах[17]) — и двое видных московских протоиереев, близких к Патриарху, написали ему, согласно его предложению, рекомендательные отзывы обо мне, как это обычно требуется. Оба написали, не ограничиваясь формальной стороной дела, но усердно убеждая Патриарха в полезности этого акта для дела Христова.

Патриарх ожидал меня в эти дни с данным заявлением. Но теперь я пришел с «докладной запиской». День был не приемный. Патриарх принял «доклад» и через секретаря назначил мне беседу на ближайшей неделе.

В назначенный день я пришел.

Секретарь повел меня наверх. Мы прошли большую залу, с пальмами и художественными картинами в больших золотых рамах. В этом зале Патриарх принял меня в первый раз, когда я хлопотал насчет позволения проповедывать в Богородском соборе.

Теперь Патриарх сидел в малом зале.

На нем была лиловая ряса с панагией и белая патриаршая шапка с крестом.

— «Ну, реформаторы»... начал он отечески-благодушным тоном.

«Записку вашу я прочитал... Да... Но если б я и был с вами согласен, что же я один могу сделать? Это подлежит власти собора. Вот сегодня я был на Богослужении... Детей было много у св. Причастия. Плач, крик... Вы не думайте... У меня у самого голова болит от них», шутливо добавил он.

Затем Патриарх привел в пользу крещения младенцев примеры «целых домов», о крещении которых сообщается в Деяниях Апостолов.

— «Но ведь детей могло там и не быть...» сказал я.

---

[17]) Частным образом я уже давно выступал в стихаре в разных храмах в Самаре, Москве, в селах по приглашению местных священников.

«Ваше Святейшество... мое личное затруднение заключается в том, что я на основании слова Божия признаю себя некрещеным, а в то же время я не имею желания выступать из Православной Церкви. Могу ли я быть крещеным по вере в православной Церкви?»

— «Ну, нет. Церковь признает только единое крещение». — «Ваше Святейшество! Как же мне быть? До сих пор я ни от кого не слышал доводов из слова Божия против своих выводов...» — «Ну, идите к анабаптистам, они вас и окрестят», — сказал Патриарх, полушутя.

Уходя, я напомнил ему о намерении посвятить меня в стихарь, и спросил, что он думает об этом в связи с моими нынешними взглядами. (Я считал необходимым предупредить его о последних также в виду вопроса о стихаре).

— «Да, со стихарем придется обождать... Вопрос, интересующий вас, важен» — сказал Патриарх, возвращаясь к моей записке о крещении. «Работайте далее и готовьте материал для собора».

За дверями послышались шаги — очевидно, кто-то еще пришел на прием. Я встал.

Преподав благословение, Патриарх сказал:

«Мой секретарь архимандрит Неофит тоже прочитал вашу записку. Он заинтересовался ею. Пойдите, побеседуйте с ним. Он человек ученый».

Я вышел.

Внизу я был принят архимандритом Неофитом в его келье. Это был брюнет, с приятным чистым цветом лица, с легким румянцем и темными большими глазами, приветливо смотревшими из золотой оправы очков.

Он принял меня очень тепло, одобрительно отозвался о том, что именно миряне думают над церковными вопросами, просил сообщать о предстоящих подобных работах и также порекомендовал представить доклад на собор. «Вопрос о времени крещения может обсуждаться: это не догматический, а канонический вопрос — и формы его

решения могут меняться в связи с требованиями времени».

— «Когда же будет собор?... Разве мы можем его дожидаться?»

— «Это, конечно, не раньше конца гражданской разрухи». — «Но, ведь, разруха то и могла бы придти к концу, благодаря духовному собиранию народа через собор».

(Потом я подумал — что это все равно, как если б нас утешали тем, что пожарная команда приедет после пожара).

ОПЯТЬ В САМАРЕ.

Весной 1920 г. меня вновь пригласили в Самару.

Но в то время транспорт был настолько затруднен, что требовалось особое разрешение на право покупки билета. Я получил это разрешение, лично обратившись к товарищу наркома по просвещению Покровскому, — он дал мне позволение на проезд согласно моему удостоверению о избрании меня преподавателем Государственного Самарского Университета.

Теперь еще оставалось купить билет. Предстояла неприятная перспектива ехать в набитом вагоне, а может быть, и в теплушке. А между тем, вышло так, что я ехал в Самару в бархатном малиновом купе I класса, один, располагая всем помещением.

Так я за всю жизнь никогда не ездил.

Случилось это потому, что один из больших железнодорожных начальников, коммунист N., заинтересовался беседой со мной на религиозную тему и потому предполагал проехать со мной в своем купе часть пути.

Но ко времени отхода поезда он почему-то не явился — и я поехал один. В дороге я очень отдохнул, не было никаких затруднений, всюду почтительное внимание — может быть, меня принимали за важную особу, едущую

«из центра»; лишь в Сызрани подсадили, и то почтительно испросив моего разрешения, еще каких-то господ, при чем все мы в душе, очевидно, считали друг друга за важных людей.

Я читал в пути псалом 22: «Господь Пастырь Мой... и я ни в чем не буду нуждаться».

В Самаре первая лекция была устроена мною в актовом зале Университета (где я читал и прежде).

Тема лекции была та же, что и в Москве.

«Почему надо верить в Бога?»

Зал был переполнен. Проходы и кафедра были забиты людьми; слушатели стояли и в соседнем помещении билиотеки; пришло много коммунистов. Они были очень возбужденно настроены. По моему адресу слышались резкие выражения.

Когда я сказал, что Дарвин был религиозный человек, стоявший сзади студент крикнул: «Это ложь. Прочитайте автобиографию Дарвина».

Во время прений — двое граждан в толпе, стоявшей позади меня, о чем-то спорили. Оказывается, один говорил резко что-то против меня, другой ему сделал энергичное замечание; в результате первый обратился ко мне со словами: «Товарищ лектор — меня на вашей лекции оскорбляют»... Это вызвало смех соседей.

Одна студентка потом сказала члену нашего кружка: «Ваш кружок победил во всяком случае морально. Мы слышали с их стороны много грубости, на которую вы отвечали со спокойным достоинством».

Через некоторое время на дверях Университета появился большой плакат. На нем нарисовано было восходящее солнце, и провозглашена тема: «Почему не надо верить в Бога?» Лектор — заведующий просветительной работой при отделе Народного образования, N. Тут же был написан девиз лекции: «Когда наука делает шаг вперед, религия отступает на два шага назад».

Я пришел на лекцию невзначай — сначала не хотелось итти. Народу было меньше — люди религиозные не

пожелали ее посетить. Я сидел во втором ряду. Лектор не появлялся полчаса, час. Студент-украинец оборачивается ко мне из первого ряда и говорит: — «Я його бачив... Він, як взнав, що ви тут, втік»... — «Не может быть — вам показалось». — «Алэ я вам кажу, що це правда». Наконец, на эстраду вышел студент — устроитель лекции и, сдерживая почему-то на лице улыбку, сказал: «лектор явиться не может». Но мы устроим диспут без него. Товарищ Н. согласился его заменить». Это был пожилой студент, тот самый, который накануне на моей лекции назвал мои слова о Дарвине ложью.

Он попросил у публики разрешения несколько подготовиться.

Я попросил записать меня в число ораторов.

Лекция началась.

«Товарищи! Лектор Марцинковский говорил, что Дарвин был религиозным человеком. А я документально докажу сейчас, что это неправда».

И он прочитал из автобиографии Дарвина следующие слова этого ученого: «Я в юности своей вполне отказался от христианства».

Итак документально и публично было показано, что я солгал. В публике навострился слух в ожидании пикантных событий.

Что было делать?

Я в эти дни искал автобиографию Дарвина, которой вообще не читал до того — но найти ее в библиотеке Университета не удалось.

Я помолился внутренно. Меня осенила мысль — я послал председателю записку, прося прислать мне книгу Дарвина. Он любезно это сделал. Я нашел место, приведенное оратором. Оказалось, что оно отражало лишь временное переживание молодого мыслителя — а позже он вернулся к вере. Таких мест, подтверждающих его религиозность, я нашел восемь — и все их заложил бумажками.

Лектор кончил, ему апплодировали.

Вызвали меня. Затихли в любопытном ожидании. Как то я оправдаюсь?

«На документы я отвечаю документами», говорю я.

Я прочел положительные отзывы Дарвина о религии и подчеркнул последний из них из позднейшего периода его жизни: «Я никогда не был атеистом в смысле отрицания существования Творца».

«Между этим местом и тем, которое привел сегодняшний оратор, нет никакого противоречия... Дарвин в юности пережил сомнение в христианстве. А кто из нас этого не пережил? Я тоже сомневался в юности, но потом в юности же нашел веру в живого Бога и Христа»...

Апплодисменты заглушили мои слова.

«А теперь», сказал я, «позвольте мне Библию, на которую вы ссылались». Оратор передал мне большую Библию, с золотым крестом на обложке. Рука его заметно дрожала. Я продолжал:

«Библию надо читать очень вдумчиво... Лектор говорит, что есть противоречие в первой главе: выходит, что свет сотворен в первый день, а солнце в четвертый. Как же мог быть свет без солнца? Объяснение таково: Автор книги Бытия употребляет в первом случае слово «сотворил» (евр. bara), т. е. впервые вызвал к существованию, элемент света. Во втором случае, когда речь идет о солнце, употребляется слово: «создал» (евр. asah), означающее акт довершающий, заканчивающий. Бог в первый день сотворил световую энергию, а в четвертый завершил этот творческий акт тем, что собрал разлитую световую энергию в центры. Тогда сотворил свет, а теперь устроил светильник и, если так можно выразиться, укрепил его и зажег...

Наука подтверждает такой процесс. Астроном Гершель говорит, что вначале, до появления солнца, была «световая туманность».

Не желая унижать своего противника, в котором я чувствовал тон искреннего искания, я в конце своей речи подчеркнул то общее, что объединяет нас и атеистов и

верующих — это жажда правды, томление по этой правде и искание ее; нас объединяет страдание.

Вся Россия лишь страданье,
Ветра стон в ветвях берез, —
Но из крови и рыданья
Вырастает ожиданье
Царства Твоего, Христос!

И эта аудитория, которая была наполнена отнюдь не моими сторонниками, задрожала такими дружными и продолжительными аплодисментами, которых я никогда еще не слышал на своих лекциях.

Говорило еще несколько ораторов. Лектор в ответ мне сказал в свою очередь мягко и уважительно.

В местных газетах вслед за моей лекцией появились отзывы, намеренно или невольно искажавшие факты. Выходило, что я утверждал, будто бы уже и Ленин обращается к религии, и что он-де свидетельствовал об этом на съезде водников.

На самом деле я привел известные слова Ленина, сказанные им на съезде: «Без Бога мы как-нибудь обойдемся». И я подчеркнул, что без Бога жизнь наша идет именно «как-нибудь»...

В другой газете на первой странице появилась статья под заглавием: «Чудо в Самарском Университете» — где мои выступления в защиту всецелой веры в Евангелие сравнивались с восстановлением средневековых суеверий в лице «воскресшего Лазаря XX в.» (что-то в этом роде). Суть чуда усматривалась в том, что эти отсталые идеи проводились не где-нибудь в цирке, а в актовом зале Университета.

На первую заметку я отнес в редакцию опровержение с фактическими поправками, но оно не было напечатано.

В то время газеты расклеивались на заборах по всему городу, и это послужило бесплатной рекламой о моих выступлениях.

Лето 1920 г. я провел отчасти в Самаре, отчасти в

колонии евангельских христиан-менонитов (Александроталь, Красновка).

В первых числах сентября в Александрогале происходил съезд, посвященный задачам распространения Евангелия среди языческих народов России.

Во время съезда один из его руководителей проповедник Я. Я. Т. предложил мне сказать слово на тему:

«Что требуется от духовного работника?»

Я подумал и сказал. «К сожалению, на эту тему я не в состоянии читать доклад, так как я сам не удовлетворяю главному требованию, которое должно быть предъявлено духовному работнику»[18]).

«Я знаю, что по слову Божию я должен принять крещение, и вот не исполняю этого». Т. с грустью сказал: — «Да, в таком случае вы действительно не можете читать этого доклада».

Но тогда стали давить мою душу мысли, вытекающие из этого отказа читать доклад. «Если я не могу читать этого доклада, то я и вообще не могу быть духовным работником... А ведь это цель моей жизни»... Печаль и уныние охватили мою душу.

Я много молился. И вечером объявил проповеднику Т. о своем решении — принять крещение при первой возможности, т. е. завтра утром.

Весь этот вечер я как бы умирал для всего и для всех: для мира, родных, друзей.

Утром, вскоре после восхода солнца, я принял крещение в глубоких водах степной речки.

Была перейдена грань к новому периоду духовной жизни. Одновременно с этим я не вступил ни в какую общину и не заявлял о своем выходе из Православия, хотя, конечно, уже перестал принадлежать к числу ортодоксально-верующих.

В тот же день я говорил экспромтом о нашей ответ-

---

[18]) Это требование состоит в том, чтобы мы на деле исполняли то, что ясно нам из св. Писания, как воля Божия (Фил. 3. 15. 16).

ственности за погибающих: «Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, падет на нас вина, (4 Цар. 7—9).

Говорили, что была особенная сила в этом слове.

Из Александроталя я отправился в Самару. Весь путь вместе с моими друзьями из менонитов мы совершили на лошадях (всего 120 верст). По дороге предстояла неприятная встреча с военными «заградительными» отрядами, которые не допускали вывоза съестных припасов, задерживали мешечников и т. п. Между тем я вез для своих родных в Москве данные мне в подарок ценные предметы, составлявшие роскошь по тому времени: сыр, ветчину, яйца, топленый жир в бутылках. То-то обрадую моих голодных москвичей! Мой возница объехал место, в котором обычно стоит «засада».

Вдруг из-за перелеска несутся во весь опор через поле прямо на нас всадники с криком: «Стой!». Мы остановились. Начальник отряда, указывая нагайкой на мою корзину, увязанную сзади экипажа, говорит: «Развязывай! Что тут у вас?» Подавляя волнение, мы вступили в дружескую беседу с солдатами. Долго возился наш возница с тугими веревками. Наконец удалось раскрыть корзину... Подняли крышку... Содержимое корзины было покрыто газетной бумагой. Вот сейчас она будет приподнята, и конец всем моим богатствам. Доказывай тут, что везу не для спекуляции! Уж, конечно, не пропустили бы таких лакомых вещей и, по крайней мере, реквизировали бы их в пользу красной армии. И что же? Ни один из солдат не двинулся поднять бумагу, словно их интересовал лишь момент открытия корзины; или уж они расположились в нашу пользу нашим добродушным спокойствием? «Ну, ладно!..» сказал старший, махнув рукой: «Езжай дальше!...» Они сели на коней и ускакали, подняв густые облака пыли, которой так богаты самарские дороги. Гора свалилась с плеч. Тревога сменилась радостью.

Уже вечерело в степи. Подернулись мглой синеющие дали... Сидя на козлах затянули мы песню.

По дороге остановились в одной из приволжских деревень. Заехали во двор и ночевали в тарантасе. На утро хозяева потчевали нас чаем и молоком.

В избе на лавке сидел беззубый дедушка.

В отсутствии «молодых» хозяев рассказал он нам о своей печальной судьбе. Дети хотели выгнать его, как дармоеда, на нищенство. Но сельский совет приказал родным принудительно содержать его до смерти. (Где оскудевает любовь, там должен повелевать закон). Конечно, не сладко жить в таком положении. Старик и доселе старается оправдать свой кусок хлеба и плетет лапти на продажу, хотя ему уже 84 года. Прощаясь с его дочерью на крыльце, я пытался усовестить ее: «Бога вы не боитесь! Ведь, если с вами будут так поступать в старости, хорошо ли будет вам?»

— «Ну и что ж! Старому человеку так и надо: пожил свое и буде. Пущай и с нами будет так на старости», сказала она с каким-то циничным равнодушием.

Нет, не преувеличил Толстой, когда описывал нравы русской деревни в своей драме «Власть тьмы»...

Осенью 1920 года мне было предложено вести семинарий по этике (при кафедре философии) на социально-историческом факультете Самарского Государственного Университета. Декан данного факультета, профессор Ф., предложил мне представить программу занятий, что и было мной сделано. Самые же занятия пришлось отложить на позднейшее время, так как мне нужно было уехать в Москву на съезд Христианских Студенческих Кружков.

И потому до отъезда я ограничился прочтением двух открытых лекций в актовом зале Университета. В это время Христианский Студенческий Кружок уже не мог устраивать моих лекций при Университете, так как совет последнего для прекращения всякого рода политической агитации в высшей школе запретил выступления каких бы то ни было студенческих, не чисто-научных организаций. Мне же лично они разрешались, как преподавателю

Университета, — и это помогло нашему кружку продолжать христианскую работу среди студентов.

Прежде всего я прочел лекцию на тему: «Смысл красоты».

Вероятно, благодаря предыдущим выступлениям, моему аресту, а также газетным статьям, расклеенным по заборам — имя мое стало очень известным, — и теперь до начала лекций зал и вся лестница были запружены народом; порядочная толпа оставалась внизу, на улице, и там один старик из евангелистов держал речь к публике, устроив свое импровизированное собрание.

Следующая лекция была на тему: «Христос и евреи».

Опять было полно народу, и много пришло евреев.

Я обращался и к евреям и к христианам, в духе идеи нашего русского философа Вл. Соловьева. «Когда евреи будут евреями, а христиане — христианами, то они будут братьями».

Говорил против меня молодой еврей-атеист. Ссылался на то, что есть в Библии целые книги, где не упоминается имя Божие. К таким книгам, по его словам, относится Екклезиаст.

Я имел Библию с собой, прочитал именно из Екклезиаста целый ряд мест с упоминанием имени Божия, и между ними особенное впечатление произвели слова: «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы» (7. 29).

А к юноше я обратил слова Екклезиаста. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни»... (12. 1).

Я подчеркнул также, что обыкновенно против Библии возражают те, кто ее не читал.

Вслед за мной говорил сионист, прибывший в это время в Самару (по вопросу о переселении евреев в Палестину). Он говорил очень сочувственно, приветствуя призыв евреев к Библии, а христиан к Евангелию, — как путь к возрождению людей и устранению вражды между ними.

Большое впечатление произвели на аудиторию слова двух молодых евреев (один из них участвовал в моем кружке по изучению Евангелия), свидетельствовавших о том, как они пришли ко Христу, и призывавших евреев принять Евангелие.

Для третьей лекции на тему: «Христос Грядущий», зала в Университете не удалось получить. Мои друзья обратились к настоятелю местного кафедрального собора А., прося его устроить эту лекцию в последнем. Протоиерей А. согласился. Собрание состоялось вечером. Были поставлены в главной части собора скамьи. Вверху мерцало огромное паникадило. В перерыве хор прекрасно исполнил песнопение: «Се, Жених грядет в полуночи». — Эсхатологическая[19]) тема очень гармонировала с настроением народа, привыкшего среди горя и страданий последних лет все чаще обращать свой взор к мысли о конце мира и о грядущем царстве Христа.

После перерыва предстояла беседа. В перерыве я был в алтаре. Здесь мне пришла мысль, что положение мое, как проповедующего в данном храме, было несколько фальшиво: ведь, слушатели принимают меня за православного, а между тем я отошел от православия.

Я молился внутренно, чтобы Бог мне помог стать перед слушателями в правдивое положение.

Я вышел для беседы. Стали поступать записки с вопросами. Священник А. подает мне одну из них и говорит: «Это личный вопрос. Вы можете на него не отвечать». Прочитав записку, я сказал: «Я отвечу и на эту записку». На бумажке стояло: «Какого вы вероисповедания? Православный вы или баптист?»

Я огласил ее и заметил, как вдруг насторожилось внимание присутствующих. Очевидно, этот вопрос интересовал многих.

Я сказал: «Я был православным и работал в православной Церкви. Но, исследуя вопрос о возрождении

---

[19]) Эсхатология — учение о конце мира.

церкви, я пришел к вопросу о возрождении отдельного входящего в нее члена. И тут я разошелся с учением современного Православия: оно учит, что человек возрождается в крещении, принимаемом бессознательно в младенческом возрасте, — а Слово Божие учит, что путь к возрождению — слышание слова Божия, покаяние и обращение. Это подтверждает и практика древнего христианства, и пример Отцов Церкви, и крещальный чин, сохранившийся в предании Православия — допускающие крещение лишь после обращения. Поэтому и я недавно принял такое крещение».

Священник А. в заключительном слове благодарил меня за мою лекцию, признав ее вполне верной и назидательной. — «Что же касается до вопроса о крещении, то наш уважаемый лектор соблазнился. Ведь, были же крещены в детстве наши великие святые, как Сергий Радонежский и Серафим Саровский, и они не испытали от этого никакого вреда» (Так и сказал). Последнее замечание, как я потом узнал, не удовлетворило слушателей.

УТРО НА ВОЛГЕ.

Вдали
Синеют Жигули...
Как два крыла
Могучего орла.

———

Буксир гудит;
В лесу топор стучит.
Далекий скит
Звонит
И в высь манит.

———

Там ряд старинных плит
О прошлом говорит.
Но прошлое не тяготит
Того, кто светлое хранит.

———

Оно, как вещий звон,
Всегда манит
В небесный скит...

Самара, июль 1920 г.

ЛЕКЦИИ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.

В тот же вечер я уехал в Москву.

На съезде Христианских Студенческих Кружков я заявил о своем новом церковном положении и для свидетельства и для того, чтобы те из моих друзей, кто со мной не согласен, считались с переменой в моей жизни при тех или иных выборах.

На открытом собрании, устроенном после съезда, я говорил на тему: «Слово Божие, как миссия Христианского Студенческого Движения», напоминая о том, что мы должны проповедывать Евангелие, не искажая его (не убавляя и не прибавляя): «будем не только книгоношами или чтецами, но также исполнителями слова».

Одна православная студентка говорила, что в этой речи она почувствовала ту твердость и силу, которой раньше, по ее мнению, недоставало в моих лекциях.

Вскоре прочитана была мной лекция «Христос Грядущий» — в Политехническом Музее.

Помню, как слушатели сгрудились до самой кафедры. Старик В. Г. Павлов был тут же со своей женой.

Так как не все желающие могли попасть на эту лекцию, мы устроили повторение ее в здании Московского Университета, где нам дали 1-ую аудиторию Юридического Факультета. (Она вмещала до тысячи человек, и несмотря на это, все билеты на лекцию были распроданы). В Москве, как и в Самаре, ощущался обостренный интерес к так называемым эсхатологическим темам, т. е. к вопросам о конце мира, о явлении Антихриста и втором пришествии Христа.

Глубокие страдания народа, голод, эпидемии, катастрофические потрясения не только внешней, но и внутренней жизни заставляли русского человека все больше направлять свое внимание от материального к духовному, от настоящего к будущему.

А те, кто знает предупреждения Христа о признаках Его возвращения и умеет распознавать знамения времени

— разве не ощущают они в настоящем безбожии и безнравственности все более явное обнаружение духа Антихриста и все большую близость конца? Кончается д е н ь ч е л о в е к а — уже виднеются предрассветные лучи дня Господня.

«Из глубины вечности уже слышны Его шаги»...

Русская история так же откровенна, как и русская душа: на лице той и другой легче читать. Не потому ли избрал Бог Россию, как «притчу во языцех?» —

По окончании лекции, во время беседы, для обеспечения большей свободы желающим высказаться, предлагаю, по обыкновению, говорить не только устно, но и посредством записок. Кто-либо у стола читает их, я отвечаю после каждой. Одна из них гласит:

«Товарищ лектор! Не является ли Ленин Антихристом? Ведь, по Писанию. Антихрист сядет в храме, как Бог. А Ленин как раз и находится в русском храме, т. е. в Кремле».

Внимание в зале напрягается до крайней степени.

Отвечать или молчать? Если смолчать, упадет доверие слушающих. Отвечать, значит дать материал тем, которые следят за мной и сообщают, куда следует.

Не провокационный ли это вопрос?

Зал замирает в ожидании — глаза горят от любопытства...

Я внутренно сосредоточиваюсь в молитве и затем отвечаю:

«Ленин слишком мал для роли Антихриста.

Антихрист будет чудеса творить, а Ленин не может проявить чуда в борьбе с голодом. Говоря о храме, слово Божие разумеет иерусалимский храм, а не какой-либо другой.

Если же разуметь не самого Антихриста, а дух антихристов, т. е. противление Христу, то таковое несет в себе и всякий из нас, кто не со Христом; ибо Христос сказал: «Кто не со Мной, тот п р о т и в Меня; и кто не собирает со

Мной, тот расточает»... Итак всякий, кто не со Христом, имеет в себе дух Антихриста».

Звали опять в Богородск, и на этот раз от имени Реального училища. Ученики, бывшие на моих прежних лекциях в этом городе, обратились к своему педагогическому начальству с просьбой устроить со мною диспут на религиозную тему. Сами же реалисты-инициаторы составили президиум. Актовый зал был наполнен учениками. Я не совсем был удовлетворен тем, что увидел в первых рядах малышей, и опасался, что они будут вести себя неспокойно и скучать, — но мне объяснили, что они упорно добивались доступа на лекцию. К удивлению своему, я заметил впоследствии, что эти дети вели себя совершенно спокойно, усиливаясь все понять.

Я с своей стороны старался говорить попроще.

Несколько учителей говорили против религии — я не уверен, делали ли они это по убеждению, или отчасти в духе времени. Ученики реагировали вяло на их слова. На мой призыв не угашать в себе духа, изучать Евангелие, его идеалы, вдохновляющие русскую душу, русскую поэзию — они ответили бурной овацией, долго не смолкавшей. Видно было, что юная душа протестовала против материализма в защиту своих духовных запросов, в защиту веры.

Вспоминаю по этому поводу случай, бывший в Самаре.

Один коммунист, возвратившись с какого-то митинга, сказал дома детям, чтобы поснимали с себя кресты и впредь не молились. Его малолетняя дочка потом говорила соседям по секрету: «А мы под одеяльцем молимся»...

О, я уверен, что много и малых и великих в России молится «под одеяльцем». Русь подчас тайно Богу молится, стыдясь или боясь открыто исповедать свою веру. И я уверен, что живо на Руси это тайное исповедание Ни-

кодима, «пришедшего к Христу ночью», говорящее о неизбывной тоске человека по Богу.

К этому приблизительно времени относится повторение мною в Москве лекции «Христос и евреи» в Политехническом Музее. До лекции я посетил известного ученого раввина Я. И. Мазе. Это очень широкий человек, настолько уважающий Новый Завет, что он сплошь и рядом в своих проповедях в синагоге проводит места из Евангелия.

— «Почему евреи не веруют в Иисуса, как в Мессию?» спросил я.

— «Потому что с тех пор, как Его имя стало известным, кровь евреев не переставала проливаться теми, кто это имя носит... Недавние погромы на Украине превзошли своими ужасающими размерами все избиения, бывшие до сих пор в истории». Мы вместе с ним читали некоторые места из пророков и Евангелия, при чем он толковал мне древне-еврейский текст. «Я буду рад, если вы будете приходить ко мне, и мы вместе будем читать эту книгу жизни»... сказал он о Новом Завете. Потом он взял в руки афишу о моей лекции и стал читать конспект. «Ключ к разрешению еврейского вопроса»... «Ключ? О, кажется, Сам Бог его потерял», с горькой улыбкой сказал он. Мы стали прощаться. «Да благословит вас Тот, во имя Которого»... вероятно, он хотел сказать: «вы выступаете с лекцией», но его перебил вошедший человек.

На лекции было много евреев. В беседе выступал писатель И. И. Горбунов-Посадов, известный толстовец.

Он приветствовал призыв к братству среди народов и в частности протест против антисемитизма — в этом-де и христиане-толстовцы солидарны с лектором, хотя они и не разделяют его веры в Божественность Христа.

Тут неожиданно выступил старик В. Г. Павлов, известный поборник баптизма в России.

Коснувшись речи И. И. Горбунова-Посадова, он энергично протестовал против того, что толстовцы, отвергаю-

щие Божественность Иисуса Христа, считают себя христианами.

«Вы глубоко заблуждаетесь, друзья-толстовцы»... сказал он. «Когда иудейский первосвященник спросил Иисуса: Ты ли — Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал: Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Первосвященник признал такие слова богохульством и, вместе с другими судьями, осудил Иисуса на смерть.

Теперь вы отвергаете Божественность Иисуса и таким образом становитесь на сторону распинателей Христа»...

Старец говорил добродушным тоном, но очень ясно и определенно.

Отмечу еще выступление одной интеллигентной еврейки, которая признавала, что евреи все больше обращают свой взор на Распятого, что «звон колоколов и их глубоко тревожит».

И действительно, евреи уже обращаются ко Христу: существует уже несколько еврейских христианских общин (В Одессе, Екатеринославе, Киеве и других городах). Характерно, что эти общины примыкают к Евангельскому Движению, которое проповедует только Евангелие, не следуя обрядам и преданиям, чуждым еврейской религии, как, напр., иконопочитание, и не имея в своей среде ни тени антисемитизма.

Возрастающий интерес к религии, сильно возбуждаемый, между прочим, нападками со стороны атеизма, поощрял нас к дальнейшим выступлениям. Решено было устроить цикл лекций по вопросам этики и религии в Московском Университете, в той же первой юридической аудитории. Церковь при Московском Университете в то время уже была закрыта. Прежде на ее наружной стене красовались изображенные золотыми буквами слова: «Свет Христов просвещает всех». Они ярко выделялись на полукруглом выступе здания, на углу Никитской и Моховой. Теперь буквы были сняты, но слова все еще можно

было прочесть — они виднелись в форме теневых очертаний, оставшихся на месте букв, на выцветшем фоне стены.

Да, слово о Христе нельзя удалить из человеческого сознания — иначе на его месте будет кричащая тень или смертельная рана...

«Гибель народу без слова Божия, ибо жаждет душа Его слова и всякого прекрасного восприятия».

Эти слова Достоевского оправдались и теперь. Публика покупала билеты еще на предыдущих лекциях, хотя они читались через две недели. Это были преимущественно студенты — те самые, которые раньше довольно равнодушно относились к призывам Христианского Студенческого Кружка, считая его представителем государственной, оффициальной религии; но теперь они убедились, что исповедуемая нами религия — свободная и искренняя, не поощряемая сильными мира и не боящаяся их неодобрения. «Многое пошатнулось и изменилось в годы потрясений, но ваша позиция осталась неизменной, и это вызывает к вам доверие», говорили нам в годы революции.

Кроме студентов, были и посторонние люди самого разнообразного состава. Помню одного, сидевшего прямо против кафедры, босяка в лохмотьях, с опухшим лицом. Он слушал с напряжением и жаром, горевшим в его воспаленных глазах.

Были прочитаны темы: «О выработке характера», «Возможна ли нравственность без религии?», «Смысл жизни», «Христос».

Каждый раз после лекции происходил свободный диспут. Возражали обыкновенно коммунисты.

Политические моменты мною всячески отклонялись.

Коммунистам же, в связи с их пропагандой атеизма, я говорил следующее: «Одни из лучших и светлых идеалов человечества — братство, равенство и свобода — провозглашены в стране... Но вы, провозгласившие эти лозунги, проповедуете атеизм — и таким образом сами способствуете банкротству социализма в России». «Я не выступаю против власти, но говорю даже в ее интересах, ибо от-

стаиваю самый принцип власти, поскольку это входит в рамки этики, и предупреждаю, что данная власть будет внутренно бессильна и потеряет доверие народа, если будет итти против Бога и отбрасывать тех, кто в Боге черпает силу для честного и творческого труда... Ведь, и самый лозунг Советской Конституции: «не трудящийся пусть не ест», взят из священного Писания — из второго Послания ап. Павла к Фессалоникийцам (3. 10)».

Это я исповедывал тогда и продолжаю исповедывать теперь.

И этим я объясняю свою неприкосновенность в то время.

Многие удивлялись, как это я в центре большевизма, «под носом у Ленина», так сказать, говорю громко против открыто проповедуемого партией безбожия; некоторые, менее знавшие меня, даже подозревали меня в соглашательстве с моими противниками.

Я говорил далее: «Отрезав нравственность от религии, вы сделали первую бесцельной и неосуществимой. Сами же вы жалуетесь на недостаток честных работников. Вами учреждена Рабоче-Крестьянская Инспекция для контроля над советскими учреждениями. А кто будет контролировать эту инспекцию? Между тем всякий, кто действительно верит в Бога, видящего тайное, имеет абсолютный контроль в себе самом и никогда не допустит бесчестности, хищения, взятки и т. д. Сами же вы признаете «сектантов» честными людьми и призываете их поэтому на хозяйственные должности».

Я чувствовал всегда на своей стороне бóльшую часть зала, верю, что и бóльшую часть коммунистов. Мне говорили: «Будьте осторожны, ведь здесь есть и чекисты, разведчики». Но им то я был даже рад: узнают из первых рук и засвидетельствуют «там», что я действительно проповедую не политику, а религию.

Однажды прихожу в Университет для чтения лекции «Смысл жизни». Что это такое? Весь университетский двор запружен народом. Как говорят, набралось тысячи

полторы людей; несмотря на мороз, публика терпеливо ждет. Оказывается аудитория заперта, и на дверях ее красуется объявление, извещающее, что в виду вступления в должность нового ректора, старое разрешение на аудиторию не имеет силы.

Переговоры с политическим комиссаром Университета не приводят ни к чему. Лекция переносится на другой день и в другое помещение — гораздо большее, а именно: в Большую Аудиторию Политехнического Музея, ту самую, где выступает обычно Луначарский. Народу пришло больше обыкновенного.

Все идет в порядке. В начале беседы председатель объявляет, что каждый оратор может говорить 10 минут, с тем, чтобы большее число ораторов могло высказаться. Сверху раздается крик: «Прошу слова... Но я требую больше 10 минут, ибо я ответственный представитель партии». Это оказывается тот же чекист, который выступал против меня в студенческой столовой.

В зале ропот. Председатель встает и говорит отчетливым, громким голосом:

— «Граждане, мы признаем равенство всех ораторов... Угодно ли вам высказаться в течение 10 минут?»

— «Я требую неограниченного времени».

— «Граждане, наша конституция признает равенство»...

— «Да, но вы — буржуазная организация»...

— «Ошибаетесь, гражданин, ни один из нас, устроителей этой лекции, не принадлежит к буржуям:

лектор — сын крестьянина, эта студентка (указывает на сидящую у стола барышню-секретаршу) — дочь кухарки, а я сын рабочего».

В публике аплодисменты...

Группа на галерке, окружающая коммуниста, начинает свистать и кричать.

Публика встает и бурно аплодирует, желая заглушить крик сверху.

— «Гражданин, вы отказываетесь говорить в течение 10 минут, как и прочие ораторы?»

— «Отказываюсь».

(По этому поводу вспоминается мне лекция, читанная мною в этой же аудитории в 1914 г. по случаю юбилея Лермонтова. Зная религиозный характер моих лекций, атеист Р. пришел с группой студентов (человек 30). Они заняли первый ряд со свистками. Лекция кончилась... Р. свистнул... но его свист раздался одиноко среди аплодисментов. «Что же вы?» обратился он к соседям. «Да мы не услыхали ничего подобного — о чем вы нам говорили»... возмутились последние).

28 февраля 1921 г. была последняя моя лекция (из намеченного цикла) — на тему «Христос».

Она состоялась в большой, так называемой кизеветтеровской аудитории бывших Высших Женских Курсов (теперь 2-го Государственного Университета). Народу было полно, — еще больше, чем прежде. В зале была торжественная тишина. Царило глубокое внимание. Легко было говорить. Я объясняю это тем, что это был годовой день молитвы Всемирного Христианского Студенческого Союза — и сила молитвы, в этот день объединяющая верующих студентов по всему лицу земли, чувствовалась здесь.

В самой же Москве в этот день было тревожное настроение. Были дни восстания в Кронштадте; в Москве, в Хамовниках, солдаты волновались в казармах. Моя лекция происходила в этом же районе.

Положение было крайне неблагоприятное.

По обыкновению, меня предупреждали об опасности.

В зале мелькали красные шапки (из Чеки).

Лекция кончена... Никаких скандалов нет... Внимательно выслушивается свидетельство о Христе со стороны двух студентов.

Сегодня прений нет, согласно праздничному характеру собрания. Публика мирно расходится.

У выхода ко мне подходит знакомый коммунист. «Садитесь ко мне в сани, я вас мигом довезу домой. Это мне по дороге». Кучер-красноармеец откинул полость, мы сели и помчались по хрустящему снегу. Кто-то сказал мне: «Он увез вас от красных шапок... Иначе, уже сегодня они вас арестовали бы».

О неизбежности ареста мне упорно говорили уже долгое время. В этот последний месяц я был в «санатории для работников высшей школы» — так как страдал переутомлением.

Врач предписал мне продолжение отдыха, и я намерен был вернуться в санаторию.

Сходил в Учебный Округ на Волхонке за разрешением еще пожить в санатории — получил его.

Но кто знает свое будущее? Я действительно попал в «санаторию», но совсем не в ту, в какую я направлялся.

В МОСКОВСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙКЕ.

В ночь на 4 марта 1921 года я видел отчетливый и внушительный сон и не мог удержаться, чтобы утром не рассказать его своим домашним.

Огромная равнина, окаймленная цепью высоких гор. На самой высокой вершине сидит орел с человеческой головой, лицом напоминающей одного из моих противников-атеистов. Он зловеще клекчет, как бы взывая к каким-то страшным силам: доколе, мол, они будут терпеть эту мою дерзость с религиозными лекциями, на глазах у атеистической власти, в главной сфере ее владычества, в центре Москвы.

Другое странное существо увивалось за мной, наподобие тонких и длинных ножниц. Оно тоже напоминало собой знакомое мне лицо другого оппонента. Орел поднялся с вершины и, летя над моей головой, вдруг выпустил из своих лап две сосновых доски. Мой друг схватил

их и ими старался попасть в преследовавшее меня существо... Что бы значило такое предчувствие?

Было одиннадцать часов вечера. В нашей квартире водворялась тишина, обычная перед отходом ко сну.

Я устраивал свою постель, раскладывая матрац на столе.

Вдруг раздается тихий стук в дверь, и слышатся голоса.

Кто бы это был так поздно?

— «Кто там?» — «Председатель домового комитета»...

Отворяем. Впереди знакомый нам человек из домового управления с огарком свечи в руках. Дальше вырисовывается из тьмы бледное лицо бывавшего на моих лекциях моего оппонента-чекиста. (Он оказался юрисконсультом В. Ч. К. — Всероссийской Чрезвычайной Комиссии). За ним трое или четверо вооруженных солдат.

— «Ну вот, я так и знала»... сказала сестра упавшим голосом.

— «Товарищ Орлов, поставьте караул у входов» — деловито командует чекист. Один солдат отправляется к черному ходу. Оттуда слышится его голос: «Товарищ Орлов, здесь кто-то есть». Действительно, из кухни доносится какой-то неясный шорох среди наваленных там дров. «Это кошка»... кричит сестра; «пожалуйста, не выпустите ее на улицу».

— «Не беспокойтесь, сударыня, мы никого не выпустим», что-то в этом роде сказал чекист.

— «Я пришел по ордеру В. Ч. К. сделать обыск... Гражданин Марцинковский дома? Потрудитесь предъявить ваши документы»... говорит он, увидев меня. Он садится за стол. Перечитывает мои бумаги. — «Вы преподаватель Самарского Университета?» говорит он, обращаясь ко мне. «Почему же вы в Москве, а не в Самаре?»... — «Я в отпуску».

— «А это вы на-днях на собрании не дали мне слова?» говорит он, обращаясь к моему другу. Последний широко улыбается. — «Да, это я... Что? Это вам не понра-

вилось, гражданин? Ну, что же делать? Порядок и равенство прежде всего»...

Шутливый тон вносит некоторое успокоение в комнату.

— «Вы, сударыня, не волнуйтесь»... говорит чекист к моей растерявшейся сестре. «Мы только выясним дело. Может быть, задержать придется их обоих. Гражданина Х. дня на два, а Марцинковского, может быть, и дольше»... — «Как так задержать?» — «Ну да.. но по выяснении, мы сейчас же освободим», говорит он, улыбаясь.

«Нет ли у вас стаканчика воды?... Очень пить хочется». Он продолжает внимательно рассматривать бумаги. Другие солдаты рассеиваются по квартире и приносят ему пачки книг, писем. Скоро весь пол делается белым от усеивающих его листочков, брошюр. Солдат роется в шкафу с бельем, вытаскивает оттуда какую-то пачку и шепотом докладывает агенту. — «Что это? Деньги? Ну, ваших денег мы не тронем», говорит чекист, руководящий обыском. Старушка-мать стоит бледная, как полотно, ничем не выдавая своего беспокойства; только ее большие черные глаза блестят больше обыкновенного.

Приходят в мою комнату. «Что у вас тут есть?», говорит солдат, очевидно, лениво участвующий в обыске.

Я даю ему кучу афиш, объявлений о своих лекциях.

Он берет несколько, по моему же выбору.

В коридоре уже несколько лет стоят ящики и чемоданы разных знакомых, сданные на хранение. Среди них вещи брата, пропавшего без вести (он был военным чиновником во время Великой войны). Одна из его корзин вскрывается. И — о ужас! Солдат вынимает из нее наган.

— «Как! у вас оружие?»... Это в дни Кронштадтского восстания!... Мы должны записать это в протокол». Бедная мама! Еще за несколько дней перед этим я говорил, что надо посмотреть вещи брата — может быть, там есть погоны или оружие... Но она ревниво оберегала то, что ей сдано на хранение, и не позволяла ничего трогать...

Обыск продолжался два часа.

«Итак, ход обыска требует вашего ареста, граждане Товарищ Орлов, вы со стражей побудете здесь. А я поеду на Лубянку и пришлю автомобиль»... говорит агент.

Он уходит. Мы собираем необходимые вещи. Берем в небольшой дорожный чемоданчик хлеб, полотенце и т. д.

Я собираюсь с духом и предлагаю на прощанье почитать из Евангелия. Открываю Иоанна и читаю громко. Пока я читаю, один из чекистов сидит в шапке, другой — солдат, видно, простой крестьянин — почтительно стоит в дверях, молча смотрит широко открытыми глазами на недоуменную картину.

«Да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Меня веруйте... Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается... Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет; женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир; так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас»... «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир; в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир».

Была глубокая тишина в этот ночной час.

Сколько раз уже я читал эти Божественные Слова!

Сколько раз слышал их в Великий четверг, когда ходил на «Страсти Господни» и слушал «двенадцать Евангелий» в душной церкви, при легком потрескивании восковых свеч, издававших душистый запах, особенно когда их гасили после каждого Евангелия — и от сладкого дыма кружилась голова.

Сколько раз я слыхал эти слова в наших студенческих, христианских кружках!

Но теперь в этот полуночный страдный час... они звучали действенно, реально, теургически, как бы из уст Его Самого. Все молчали...

«Встанем на молитву», сказал я.

— «Боже, благодарим Тебя за все, что Ты посылаешь нам. За Твое Евангелие, которое Ты послал в этот мир. Мы предаем Тебе, Твоей охране и любви всех нас. Благослови всех здесь присутствующих. Да будет благословенно имя Твое, и да совершится правда Твоя во всем этом деле.

Славим Тебя, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Так приблизительно я молился вслух.

Вскоре послышалось с улицы хрипение автомобиля. Как оно памятно мне; оно врезалось в мою душу незабываемым звуком! Но было спокойно на сердце; — какое-то даже беспечное веселье овладело мной. Мы попрощались. «Вот видишь, — сон исполнился», сказала сестра. Потом мы сели между двух конвойных.

Автомобиль быстро мчался по пустынным улицам спящей Москвы. Был предутренний заморозок, и кое-где лужицы, подернутые льдом, потрескивали под колесами...

Лубянка № 14...

Нас ведут по лестнице наверх и оставляют в маленькой комнате, в которой молча сидят десятка два арестованных. Это «голубятня».

— «А кокарду отдайте» — говорит часовой моему спутнику. — «Как? Я советский служащий»...

— «Здесь вы только арестованный», бесстрастным голосом отвечает чекист.

Я предупредительно снимаю слишком дорогой для меня серебряный значек нашего Христианского Студенческого Союза и прячу его в карман.

Через некоторое время нас вызывают вниз.

Производится личный обыск. Отнимают часы. «Это получите после»[20]).

Мелкие предметы, — карандаши и проч., отбираются «в пользу красной армии»...

Я вынимаю Библию еще заранее и как бы маши-

---

[20]) Часы были возвращены после освобождения.

нально кладу ее на стол. — Она полна заметок, уже и потому ее могли бы не пропустить. (впоследствии отнимали Св. Писание вообще). Когда обыск кончается, я спокойно кладу Библию обратно. Какое счастье — что она осталась со мной! Она как бы говорила: «Ты не покинул меня — и я тебя не покину»...

Далее нам предложили опросный лист. — «Причина вашего ареста?...» спрашивает чекист.

— «Этого я не знаю». — «Напишите: по обвинению в контр-революции», поясняет он.

Нас отводят на ночь в какую-то комнату, смежную с канцелярией, и мы располагаемся на полу.

Я покрываюсь пледом. За перегородкой чекисты — солдаты о чем-то громко говорили. Оказалось, это были участники обыска в нашей квартире. «А наган то отличный! Хороший достался мне подарочек...»

«Ты не волнуйся насчет револьвера», шепчет мне мой спутник: «Они только рады, что его приобрели».

Отворяется дверь. Входят две дамы. Я открываю лицо. Это руководительницы отряда Армии Спасения. «Марцинковский!» восклицает одна из них; «и вы здесь?...»

Уже недели за две кто-то из имеющих знакомства со служащими в Чеке говорил нам, что моя фамилия и фамилия руководительницы отряда Армии Спасения значатся уже в списке лиц, намеченных для ареста. Раздражению Чеки способствовало, между прочим, обращение ко Христу двух чекисток на собрании Армии Спасения (иногда и меня приглашали туда говорить слово).

Утром повели нас дальше. Пришли к какому-то зданию, на котором была надпись «Полит-бюро». — «Пилат-бюро», пошутил я вслух. Ввели внутрь. Это знаменитый «корабль». Внутри вдоль стен балкон с железными перилами; с него мы спускаемся по узкой чугунной лесенке, вниз, как бы в трюм. Здесь сидят, скучившись, самые разнообразные люди, вырванные из жизни и брошенные в эту яму; поистине, корабль, несущий куда-то в жуткую неизвестность.

С него ведет дорога в мир совсем иной...

Вот две двери, ведущие в подвал: там расстреливают.

Кто-то углем начертал у страшных дверей мудрые слова из Корана: «И это пройдет»... Дали нам есть: обед состоял из жиденького компота из сушеных яблок.

ТЮРЕМНЫЙ ПОДОТДЕЛ В. Ч. К.

После обеда нас ведут дальше. Опять бежит московская улица. Кучки народа провожают нас с любопытством, зорко высматривают — нет ли знакомых? Смотришь на этих свободных граждан, как сквозь сон, как бы из иного мира. Вот и Кисельный переулок. Большой частный дом взят под казенные надобности: здесь помещается «тюремный подотдел В. Ч. К.». Сам хозяин его, гражданин П. (еврей), арестован и помещается здесь же в собственном доме. Подозревал ли он, когда воздвигал его, что строит тюрьму для самого себя?

Нас помещают на четвертом этаже, в камере № 8. Это квартира из 5 комнат. В ней скучено человек 60—70.

Староста отводит нам место и предлагает устроить самим постель. Нам дают досчатые нары («сон в руку», говорю я моему спутнику, когда мы несем эти доски).

Последние кишат насекомыми.

Соблюдать чистоту не было никакой возможности.

Нас в небольшой комнате было человек 25; мы лежали вплотную — и потому все паразитное население всех родов оружия переползало беспрепятственно с одного на другого.

Поистине, «всяк за всех виноват». К тому же было жарко, благодаря центральному отоплению, и душно. Почти все курили, и от дыма голова была как в тисках, болели глаза. Ночью там и сям виднеются бледные фигуры, просматривающие в протянутых руках свое белье, зорко вглядывающиеся в каждую складку...

На прогулку выводят только раз в неделю, по воскресеньям, на 15 минут. Часовые с винтовками стоят цепью кругом. В некоторые воскресенья прогулка вовсе отменяется за недостатком часовых. Поэтому мы так были рады, когда нас вызывали на работу: мы таскали из склада через двор железные койки в пустые квартиры, которые «меблировались» для новых обитателей. Переносили пачки с сушеной воблой, распространявшей густой аромат. Иногда нас заставляли выкачивать ведрами воду из затопленных подвалов — мы стояли цепью и передавали друг другу ведро (раз до двухсот за один прием). За это нам выдавали лишний кусок хлеба.

Состав заключенных был самый разнообразный: солдаты и генералы, матросы, инженеры, студенты, рабочие, социалисты и анархисты, купцы и бедняки, русские, евреи и поляки.

Весь этот состав менялся. Пересылали в Бутырки, в Архангельск, а то и совсем «выводили в расход».

Вся арестованная братия, шумная и нервная, вдруг стихала, когда приходил «черный ангел» из канцелярии. «Иванов! С вещами на свободу!»... «Петров!.. С вещами!..» Последняя форма вызова наводила страх. Это означало — или перевод в другую тюрьму, или... расстрел...

Наш староста, симпатичный пожилой студент Петровско-Разумовской Академии — был вызван именно таким образом. Мы условились, что он, в случае получения свободы, даст нам знать сигналом — зажжет спичку.

Внизу против тюрьмы расположена Варсонофьевская церковь. У ее входа часто можно было наблюдать людей, которые вели переговоры с заключенными посредством сигнализации носовым платком.

«Переводчик», опытный в этой азбуке, обыкновенно вызывал соответственное лицо и пояснял ему сообщение.

Впоследствии, как нам потом передавали, эти переговоры стали невозможными, так как к окнам были приделаны железные заслоны, так что Москва скрылась из глаз; оставалось любоваться лишь кусочком неба. А жаль: с

нашего этажа хорошо можно было видеть Рождественский монастырь, Садовую улицу, а там вдали, на горизонте — Бутырский вокзал. Впоследствии оставалось возможным лишь слышать Москву, шум трамваев, извозчиков. Более всего радовал душу звон колоколов; особенно красиво-мелодически пели колокола Рождественского монастыря.

Но при нас заслонов еще не было, и мы имели эту моральную отдушину — окно. О, как важно окно в тюрьме, и вообще в нашей жизни — окно, обращенное вдаль и ввысь, раздвигающее тесные каменные стены!...

Итак наш староста ушел. Часы прошли, сигнала не было. Некоторые уже пришли к печальному выводу о судьбе старосты. Мы напряженно всматривались в ночную тьму. И вдруг вспыхнуло пламя и осветило широко улыбающееся лицо нашего друга.

Шум и гвалт стоит целый день. Почти каждый считает своим долгом рассказать историю своего ареста. Другие спорят на политические темы, философствуют. В углу лежит толстовец Яков Филиппович, из народа, заложив руки под голову. Он любит петь непротивленческий гимн: — «Нам оружия не надо»...

Над ним подтрунивают. «А что ж по-твоему делать, чтобы зло прекратить?» — «Совершенствоваться, вот что главное», назидательно говорит толстовец. Это слово было подхвачено. Иногда в жарком споре вдруг вспоминали о толстовце: «Филиппыч, а Филиппыч!»...

— «Не трожь его... Он, вишь, совершенствуется»... указывал сосед на мирно спящую фигуру непротивленца.

— «Ха-ха-ха, именно совершенствуется!..»

Привели новых из Бутырок. К одному из них сразу устанавливается подозрительное отношение... Оказывается, пришло секретное сообщение, что это «наседка», т. е. лицо, подсаженное для разведки. Такое лицо обыкновенно развязно ругает советскую власть, чтобы вызвать и других на подобную же откровенность. Среди нас знаменитый анархист Николаев-Павлов. Он рассказывает о своих

лихих побегах из царских тюрем (раз он спрыгнул в Сибири с поезда на полном ходу). Держит он себя очень независимо и гордо. Он член Московского Совета, за него стоят все хлебопеки в Москве, угрожают забастовкой, если его не выпустят. Он срочно требует коменданта тюрьмы — и тот действительно приходит. Это «комиссар смерти» И., прославившийся своей жестокостью. Молодой цветущий человек с бегающими беспокойно глазами: говорят, он уже страдает кошмарами по ночам. (В то же время, по отзыву его знающих, он очень нежно любит своих детей). Не забуду этой картины. Павлов сидит против коменданта и тихим наставительно-властным голосом передает ему свои «требования», в том числе требование свободы. Тот, запрокинув голову к стене, с шапкой на затылке, почтительно слушает, стараясь избегать взгляда своего собеседника. Вечером Павлов повторяет некоторые из требований на поверке. Почему-то еще прибавляет: «Тут еще Марцинковский, из христианского студенческого союза, тоже сидит несправедливо, без допроса».

(Я действительно писал уже несколько раз своему следователю, прося меня допросить, но безрезультатно).

Требования Павлова не были удовлетворены к известному сроку — и с этого времени он вместе с другими анархистами объявляет голодовку. Они запираются в отдельной комнате. Пища, приносимая им, аккуратно возвращается начальству.

Анархисты добились своего, и, как я узнал впоследствии, они были освобождены.

Вообще анархисты вели себя очень энергично.

Помню, в нашу камеру привели еще одного из них, молодого еврея. Он уже сидел в нижнем этаже, но там поджег постель в знак протеста против своего заключения.

Тотчас по прибытии к нам, он написал коменданту письмо, в котором категорически угрожал перебить стекла, если его не выпустят немедленно.

В ожидании ответа он беседовал со мной, в частности, насчет древнееврейского языка, который он хорошо знал.

Не успел он кончить беседы со мной, как его вызвали на свободу — он ушел так скоро, что я забыл вернуть ему его карандаш.

Самое тяжелое в тюрьме было не физическое неудобство, не голод и теснота и духота—но было духовно душно от вечной ругани, проклятий, циничных анекдотов — все это, как ядовитый газ, отравляло атмосферу. К вечеру люди уставали изрыгать хулу и брань, и наступала сравнительная тишина.

Тогда вдруг кто-нибудь начинал петь — и уже тут выливалась вся душевная тоска. Иногда в шутку кто-нибудь затягивал странную детскую песню: «Мама, мама, что я буду делать? У меня нет зимнего пальта-а-а»...

Содержание песни совершенно неглубокое, детски наивное, но все пели с увлечением, даже до исступления: из сердца рвались чувства заброшенности, сиротства, зовущие на помощь мать...

ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ В ТЮРЬМЕ ЧЕКИ.

Утро воскресного дня. Снизу доносится отчетливый звон церкви св. Варсонофия. В камере тише обыкновенного. Подходим к окнам.

В темных решетчатых окнах храма мерцают огоньки. Люди свободно входят и выходят.

— «Граждане», объявляет мой друг; «сейчас мы устроим беседу религиозного содержания. Будет читать лектор М.» — «Просим, просим»... раздаются голоса. Приносят столик и на него ставят стакан воды. Один интеллигент подходит ко мне. — «А я много слыхал о ваших лекциях; давно собирался посетить, да все некогда было». — «Ну, вот теперь я сам пришел к вам», говорю я, смеясь: «теперь, пожалуй, найдется время».

Приходят из других комнат камеры, садятся вокруг. Напряженное внимание. Я читаю из Евангелия — притчу о блудном сыне.

Разве это не история России? Не судьба каждого из нас? Вижу перед собой глубоко открытые глаза, и сквозь них глядит русская душа, Бога взыскующая, горем вспаханная, слезами политая...

Кончаю. «Хотите ли еще собираться для чтения Евангелия по воскресеньям?» — «Почему только по воскресеньям? Можно и в будни», отвечают слушатели.

Я пользуюсь моментом и вношу предложение.

— «Граждане, я предлагаю сегодня резолюцию. Давайте, постановим прекратить ругань в нашей камере. Ведь, и так всем тяжело, а тут еще этой бранью отравлять воздух». — «Верно, товарищ... Да, ведь, уж сколько раз постановляли. Все без толку»... — «Ну, вот, а теперь мы постановим по-новому, во Имя Иисуса Христа и в Его силе»... — «Правильно, товарищ... Не годится все это сквернословие... грех великий»...

Ичто же? Ругань прекратилась. Повидимому, «резолюция» дошла до той силы русской души, которая, если проснется, то сделает все на свете, без оглядки и без пощады к самому себе — эта сила веры в Живого Бога и жажда жить по-Божьи. Недаром и безбожники уже догадались, что пора и атеизм сделать религией; ибо сам Луначарский в своей книге «Религия и социализм» когда-то писал: «Религия есть энтузиазм, а без энтузиазма не создавалось ничего великого».

Только никогда нельзя возбудить подлинного энтузиазма, если в душу заронишь сомнение в подлинном существовании Бога.

Всякую подмену этой веры народ в конце концов разглядит и отвернется от нее с недовольством или, по крайней мере, с чувством непреодолимой скуки. Вера в Бога делает чудеса в русской душе, так часто податливой, расхлябанной и как будто безвольной. Тот самый русский рабочий и крестьянин, который вчера утопал в пороках, сегодня, приняв Евангелие в сердце, без всякого усилия бросает и пьянство и курение; вспомним строгое воздер-

жание в этом смысле в старообрядчестве и в евангельском христианстве.

И, наоборот, дисциплинированная и строго организованная душа западно-европейского христианина подчас далеко отстает от русского в этом отношении.

Да, ругань прекратилась в нашей камере... Слово Божие очистило ее духовную атмосферу, и нам всем стало легче дышать.

Только один матрос, когда чувствовал в душе неодолимый позыв к брани и встречал всеобщий протест, удалялся в кухню и там ругался досыта, но недолго, ибо не встречал слушателей. Скоро, ко всеобщему удовольствию, он взят был из нашей камеры.

Пришел однажды новый арестованный. Это был анархист. Он очень устал, неся свой чемодан на 4-й этаж. Бросив его в передней, он сочно выругался — как подобает анархисту, конечно, по адресу всех правительств на свете. К нему подходят с замечанием:

— «Товарищ, в камере № 8 ругаться воспрещено». — «Что-о-о!..» возмущается он, как бы желая сказать, что, мол, и этой свободы уже лишают русского гражданина. Он, впрочем, оказался интеллигентным человеком, легко принявшим нашу конституцию насчет свободы слова.

С того воскресенья пошли регулярные религиозные собрания.

Каждую субботу и в канун праздника староста Н. объявлял:

— «Граждане, завтра в большой комнате гражданин М. будет читать лекцию на тему такую-то... После лекции свободный обмен мнений».

Вслед за этим были организованы и другие лекции — по сельскому хозяйству, по юридическим наукам; но они не прививались или за неимением лекторов, или по недостатку интереса к темам, которые не могут поддержать упавший дух человека.

В день Благовещенья Москва радуется. Теперь волна весенней радости доносилась и к нам вместе с ликующим

звоном. Но у нас эта радость претворялась в печаль. Благовещение! Праздник свободы! Сегодня вон там на Трубе (на Трубной площади, хорошо видной из наших окон) дети покупают щеглят и выпускают их, чтобы испытать одно из высших наслаждений — радость давать свободу. Эх, думали, наверно, некоторые из нас: хоть бы нас кто купил и выпустил из клетки!..

Нашего толстовца перевели в соседнюю камеру № 7. Через некоторое время я получаю от него секретную записку. «Просим вас, устройте в нашей камере духовную лекцию. Похлопочите»...

Вечером обращаюсь с просьбой по этому поводу к коменданту. Отказывает категорически. Что тут делать? Между нашими камерами площадка, с обеих сторон запертые двери и часовые.

Но — «для слова Божия нет уз».

Через несколько дней в нашей камере инженер У. заболевает тифом. Его уносят на носилках в больницу. В камере должна быть произведена дезинфекция формалином, и нас всех на шесть часов переводят в камеру № 7.

Я имею перед собой двойную камеру, аудиторию человек в 120 и, конечно, устраиваю лекцию. Да не лекцию, а просто открываю 55 главу Исаии и читаю: «Жаждущие, идите все к водам»... Присоединяю свои объяснения.

Но не нужно много и объяснять — потому что вот они, жаждущие, предо мной — и хотят они не объяснений насчет воды, а самой воды, которая струится как из горного родника, из светлой криницы Божьего слова. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко... Вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам».

Нет ни возражений, ни споров — благодарят или сосредоточенно молчат.

Бог открыл двери, и все выиграли от этой болезни инженера У.

Он попал в больницу, куда каждый мечтал попасть,

так как там лучше кормили и чище содержали. Впоследствии его освободили, и я встречался с ним в Москве.

Понемногу и внешний наш быт преобразился. Когда переменялся состав камеры, мы подобрали некурящих и соединили их вместе в наименьшей комнате камеры.

Среди нас оказался бас из знаменитого синодального хора с красивой бархатной октавой. Под его руководством было организовано пение церковных песен и духовных стихов из сборника Христианского Студенческого Кружка. Перед обедом и ужином наша комната пела «Отче наш», и это пение как бы служило для всей камеры молитвой.

Начальство не мешало нам. Во время моих лекций дежурный чекист смотрел в глазок из коридора. Он и не думал доносить начальству о лекциях, но еще сам интересовался ими.

В нашей маленькой комнате «для некурящих» иногда оставался я один. Некоторые приходили побеседовать по душам, лично и интимно. Один генерал обнаружил при этом типичную интеллигентскую наивность по отношению к Св. Писанию. «Да, хорошо бы почитать Св. Писание... Евангелие я немного читал, и особенно мне нравится Евангелие Иоанна Златоуста».

Рядом на нарах были двое моих друзей — членов нашего кружка.

Взаимное общение очень укрепляло нас.

Дальше лежал молодой еврей-портной. Он сидел по доносу в растрате.

По его рассказу, он, по усердию своему, даже превысил норму казенного заказа, наняв лишних рабочих, а конкуренты обвинили его в растрате. Теперь он лежал целые дни, заложив руки под голову и напевая романс:

«Ямщик, не гони лошадей —
Мне некуда больше спешить»...

Добрый он был человек! Он получал хорошую передачу и из нее сам раздавал тем, кто не получал ничего.

Кому-то принесли в передаче роман Достоевского «Бесы». После многих лет я перечитал его: какая удивительно тонкая картина того, что происходит сейчас на Руси — и именно в смысле русского богоборчества!.. Свет горел всю ночь — по приказу Чека в целях контроля — и было удобно читать, когда камера стихала.

Раз ночью я уже спал... Вдруг кто-то берет меня за плечо.

«Тс-с-с... Не шевелиться»... шепчет голова в военной фуражке, наклоняясь ко мне. Оказывается, это ночной обыск. Предупреждение «не шевелиться» делается для того, чтобы устранить у других заключенных возможность что-либо припрятать. Осматривают все, даже белье... «А это что? Библия?... Надеетесь на Бога?... Спасет Он Вас! Как же!.. Так же, как и Николая спас»... едко говорит он.

Но Библию все же не отбирают. Обыск, как оказывается, был вызван тем, что у одного дежурного чекиста в эту ночь перехвачено было пять писем для передачи в город. Он был арестован.

Из кармана моих брюк чекист достает бумажку — о ужас! — там записаны разные адреса... Он держит ее, еще не разворачивая, отвлекается в сторону разговора другого (младшего) чекиста с моим товарищем-студентом, у которого, оказывается, нашли его перочинный ножик.

Мой чекист дает своему помощнику какое-то разъяснение и в это время бросает бумажку с адресами, не прочитав ее.

Вдруг он поднимает ее опять, но через минуту опять роняет и уходит. У меня на душе отлегло. Моих обоих спутников скоро отпускают. Один из них, инженер, освобождается по ходатайству коммунистов-сослуживцев, которые хлопотали о нем, как о человеке, всегда лойяльном к власти, притом незаменимом работнике. И действительно, какая ирония! В первый же день сидения ему попадается газета, где сообщается об открытии нового моста через Березину, «построенного по проекту инженера Н. «Хорошая награда за труды!» говорит он с усмешкой.

Эта-то несуразность и была ликвидирована начальством.

С уходом моих обоих друзей я остался один, но не было тягостно: сознавалась, как никогда, близость Того, от Которого никто и ничто не может нас отлучить. «Ни смерть, ни жизнь... не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе».

«Не оставлю вас сиротами, приду к вам», сказал Христос.

«Если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной» — свидетельствует Давид в одном из псалмов.

ПЕРЕВОД В ТАГАНСКУЮ ТЮРЬМУ.

День 11-го апреля принес некоторые новости.

С утра пришел чекист из бюро и прочитал длинный список имен; среди них прозвучала моя фамилия. «Все с вещами!»

Я только что передал остаток хлеба анархистам, кончившим голодовку вследствие обещания дать им свободу. Новая передача хлеба придет сегодня, но после нашего ухода, — и мне придется итти без запаса; еще когда разыщут мое новое местопребывание! Есть немало людей, которые говорят, что Евангелие непрактично. — «Ну, разве не лучше было бы вам свой хлеб при себе оставить?» сказали бы они мне.

Нет, все оказалось к лучшему. Лучше уж было и то, что я по жаре не нес лишнего груза. А итти было далеко — из центра Москвы в Таганку.

Шло нас человек двадцать. Из этой среды сразу же прибился ко мне один молодой офицер из Красной армии (как оказалось, из охраны поезда Троцкого). Он очень не доверял окружающим. «Уж позвольте мне с вами не разделяться», просил он. Еще один вступил в нашу тройку — это был староста нашей камеры, старый политический деятель — эсэр.

Жаркий весенний день. Мы идем по Москве. Толпы народа идут, как ни в чем не бывало.

Вокруг нас конвойные с револьверами в руках, наготове...

Повстречавшийся старик-извозчик роняет с козел: «Вот так преступников набрали!..»

На Таганской улице трудный подъем в гору. Разрешают остановиться на отдых. Многие выбиваются из сил, под тяжестью мешков и чемоданов.

Садимся на тротуаре. За нами поодаль следуют женщины, очевидно, жены некоторых из заключенных. Одна из них подходит с ребенком лет трех. Она прощается с мужем: ведь, ведут уже в настоящую тюрьму; пропала надежда на освобождение. Слезы текут по щекам молодой женщины. Ребенок молча смотрит широко раскрытыми глазами на отца и на мать...

Вот и Таганская тюрьма. Тяжелые железные ворота затворяются за нами.

Нас вводят в большую переднюю и оставляют впредь до распределения по камерам.

Мои бедные спутники погрузились в угрюмое молчание. Как стадо без пастыря, жались они в углу большой неприветливой комнаты, как бы ощущая себя во власти какой-то холодной беспощадной силы, казалось, столь же недоступной чувствам сожаления, как камень и железо, из которых построена тюрьма.

Я достал из кармана Библию — и вот какой стих мне открылся: «Там у з н и к и вместе наслаждаются покоем, и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего». (Иов 3. 18—19).

Никогда раньше я не замечал этого стиха.

Совпадение так поразило меня, что я не удержался и прочитал эти слова вслух своим соседям. Они тоже очень этим заинтересовались, начали говорить со мной, вообще оживились душевно.

Мы все узники в тюрьме большой или малой, — но там, в ином мире, который Христос делает нам доступным уже здесь — через возрождение давая нам новую жизнь (инобытие) — настанет совершенная свобода.

Солнечная Москва, с ее журчащими апрельскими ручьями, осталась позади.

Нас ведут внутрь тюрьмы. Стоя в первом этаже, находишься как бы на дне огромного колодца; по стенам его четыре этажа сплошных железных балконов, соединенных железными лестницами: на балконы выходят ряды дверей — они ведут в одиночные камеры. Их более пятисот. Темно, угрюмо...

Мы стоим около конторки — где производится регистрация и распределение по камерам. Маленький сухенький старичек — чиновник, совсем не тюремным, тихим отеческим голосом объясняет каждому что-то. Среди суровости и оффициальности его голос звучит как-то особенно успокаивающе. Нас втроем помещают вместе согласно нашей просьбе.

Мы должны пройти карантин. Целое крыло первого этажа называется этим именем. Камеры здесь особенно грязны, неустроены, с разбитыми стеклами. Арестанты не заботятся об их благоустройстве — ибо жить в них приходится лишь временно. Фактически назначение карантина состоит как будто в том, чтобы испытать тюремную жизнеспособность новичка: уж если в этом неопрятном отделении выживет, так в остальных помещениях тюрьмы и подавно выдержит. За мою бытность один старичек не выдержал и скончался; он принадлежал к числу так называемых «неомарксистов»: так в шутку называли у нас группу арестованных на каких-то именинах, где распевалось юмористическое стихотворение по адресу Карла Маркса.

Нам попалась камера на редкость грязная. Земляного цвета мешок с деревянными опилками и притом дырявый валялся на полу. Другой лежал на железной койке, при-

винченной к стене. «Кому лежать на койке? По старшинству уступим вам», сказал офицер, обращаясь к старому эсэру.

— «Нет, уж тогда бросим жребий», — сказал он. Бросили жребий; он достался все-таки старшему из нас. Мы вдвоем улеглись кое-как на полу. На другой день эсэр ушел от нас в так называемый политический коридор — а мы вдвоем перебрались в более светлую камеру. Пришлось мне здесь подвергнуться экзамену в здоровьи.

Окно в камере было разбитое, по ночам было очень холодно; отопление в тюрьме центральное, но оно испорчено. Чувствую озноб, головную боль, опасаюсь: не тиф ли? Неужели умереть придется в тюрьме?

Это была странная болезнь: фельдшер не мог ее определить.

Тогда-то я вкусил высшее одиночество, если оно вообще возможно для верующего: родные еще не нашли меня, и всякая связь с внешним миром была прервана. Впрочем, через несколько дней я выздоровел.

Кто-то говорил у нас, что имеется план все русское население провести через тюрьму, как через политический карантин, — тогда, мол, оно будет благонадежным и вылечится от всякой контр-революции.

Но, поистине, в Таганке уже была богато представлена вся Россия, — так, если эмиграцию кто-то назвал Россией № 2, то тюрьму я бы назвал Россией № 3. Таганка собственно является следственной одиночной уголовной тюрьмой, но теперь квартирный кризис перекинулся и сюда; за недостатком места в Бутырках (политическая тюрьма) много политических сидело в Таганке.

Здесь были при мне митрополиты (Кирилл Казанский, Серафим Варшавский), архиепископы (Филарет Самарский), епископы (Петр, Феодор Волоколамский, Гурий Казанский), игумены (Иона Звенигородский, Георгий Мещовский), священники, далее обер-прокурор св. Синода А. П. Самарин, профессор Кузнецов, целое крыло эс-

эров, анархисты, польский коридор (репатрианты [21]), генералы и офицеры, матросы, рабочие. Основное население тюрьмы — уголовный элемент: воры, фальшивомонетчики, убийцы и т. д.

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ТЮРЕМНОЙ ЖИЗНИ.

В Таганской тюрьме физические условия были несколько иные, по сравнению с Кисельным. Хлеба давали от полуфунта до ¾ фунта в день. Этот кусок назывался на местном жаргоне «пайкой», и он служил в тюрьме денежной единицей: так, напр., за очистку камеры от насекомых я должен был заплатить «специалисту» три «пайки». Днем предлагали суп — нередко из гнилого конского мяса, такой зловонный, что обычно арестованные отказывались его принимать: дежурный заключенный с громом прокатывал медный котел с этой похлебкой до уборной, там выливал его и в награду за свои труды вылавливал оставшиеся на дне несколько картофелин. Какой-то зеленый лист (я не ботаник, не берусь определить — только не капустный) плавал иногда на поверхности. Не забудем, что тогда вне тюрьмы Россия вообще голодала — многие не имели и того, что нам давали. Затем после супа на второе блюдо мы получали 2—3 ложки гороховой каши (или, так называемой, полбенной); к ужину давали то же, что и на обед, да три раза в день выдавался кипяток. Изредка давали немного сахару.

Не удивительно, что среди арестантов при таком питании сильно было развито малокровие и туберкулез.

Спасала нас приносимая извне от родных и друзей «передача». Вторник и суббота, дни «передачи», были в тюрьме особенно чтимыми. Лишнего никогда не бывало, ибо при каждом из нас, имевших передачу, кормился кто-

---

[21]) Их заключение проистекало из военно-политических осложнений того времени между Р. С. Ф. С. Р. и Польшей.

либо из верхних этажей, так называемой «шпаны» (словом «шпана́» на тюремном жаргоне называется «рвань», «голытьба», мелкие воришки и т. п.).

Вскоре питание наше значительно улучшилось: партийные устроили голодовку, и мы, причисленные к политическим, вместе с ними стали получать улучшенную пищу, — рисовый суп, иногда с рыбой, компот; два раза в месяц от Политического Красного Креста приносили сыр, сахар и т. п. Если в гигиеническом отношении мы страдали в силу принципа: «всяк за всех виноват», неся ответственность за чужую нечистоплотность, то в этом случае мы испытали обратное — получив незаслуженное улучшение, добытое трудами и страданием других.

Гулять в Таганке выводили каждый день, но нашу группу вначале выпускали на прогулку отдельно, по утрам. Старик Михеич (надзиратель) объяснял эту предосторожность особой важностью нашего преступления, дав нам кличку: «анархисты в плане кронштадтских событий».

Прогулка длилась полчаса на маленьком дворике с высоким забором. Хорошему освежению организма способствовали гимнастические упражнения, которыми руководил один бывший среди нас вице-адмирал. Таганка — тюрьма неряшливая, и ее преимущество в большом беспорядке, который давал нам много свободы, особенно в смысле взаимного общения: можно было свободно ходить по всей тюрьме; камеры одиночные были, в силу того же «квартирного кризиса», перенаселены, вмещая по 3, 4 и даже до 7 человек, и потому почти целый день они были открыты.

Но карантин заключался, повидимому, и в том, что нас, вновь прибывших, долго выдерживали под ключем.

Однако, уже скоро после прихода в Таганку, ко мне в камеру пришел надзиратель со словами: «Вас кто-то требует». Оказалось, профессор Н. Д. Кузнецов, мой старый знакомый, явился меня навестить. Не думал я о такой встрече. Год тому назад я сидел в Голубом зале Дома союзов на Большой Дмитровке: там шел знаменитый показа-

тельный процесс, суд над церковниками (описанное выше дело Самарина и Кузнецова), и тогда, во время суровой речи государственного обвинителя Крыленко, направленной против религии вообще, я ощутил предчувствие, что и мой черед не за горами.

И вот так и случилось. Но как радостно встретить знакомого человека в тюрьме! Как много в этом слове: товарищ по несчастью! Впоследствии мы имели много бесед по волнующим нас обоих вопросам (особенно, по церковному) — для этого на свободе не хватает времени.

Кстати о камере. Это узкая каменная келья, имеющая пять шагов длины и 2½ шага ширины. К одной стене привинчена кровать; в прежнее время она с 8 часов утра подтягивалась к стене и запиралась на замок. Другие 2—3 кровати устраивались из старых коек, укрепленных на железных ведрах (парашах). Маленький столик привинчен к стене. В двери знаменитый глазок, отверстие величиной с медный пятак, в которое часто заглядывает надзиратель. Вверху, под потолком, окно с толстой железной решеткой.

На ночь нас обязательно запирали, и мы даже просили об этом, ибо иначе нам угрожало ограбление со стороны верхних этажей. Эта мера, впрочем, еще не вполне обеспечивала нашу безопасность — ибо воры отпирали камеры отмычкой. Для предупреждения подобного нашествия мы в своей камере вешали на дверную ручку медную обеденную миску. Однажды, часа в 4 утра мы вдруг слышим, как миска упала с оглушительным звоном на каменный пол. Открывается дверь: на пороге в сумраке вырисовывается высокая фигура. Мой офицер издал крик — чтобы напугать вошедшего, хотя в его голосе слышался его собственный испуг. Фигура удалилась. Позвали сторожа. По наблюдению офицера, вор скрылся в противоположную камеру. Там с вечера были заключены два подростка лет по 12 (их нашли на вокзале без документов).

Надзиратель вошел туда и видит мирно спящих двух юнцов.

Где же вор? Оказывается, он забрался под тюфяк, но его выдали длинные ноги, за которые он и был извлечен надзирателем. На вопрос последнего, как он сюда попал, он сказал: «Заблудился». — «Знаем тебя, как ты заблудился», ворчал надзиратель, снабжая свою речь тумаками. Это был известный вор из отделения несовершеннолетних.

МОЕ НАСТРОЕНИЕ.

Я хотел бы много написать о тюремном окне. Это отдушина в смрадной келье.

Через нее видишь то, что так мало замечаешь на свободе — кусок неба. Ночью тихо смотрит оно с вышины мерцающими звездными очами... Сколько миров там в этой таинственной бездне! Днем небо сияет кроткой лазурью; проходят облака. Это почти единственная «природа» в тюрьме.

На окно прилетали голуби, воробьи собирать крошки оставшейся пищи — милые крылатые гости! По утрам и вечерам с пронзительным писком носились стрижи.

Если влезть на окно, можно видеть Москву: вон серо-желтые стены и башни Спасского монастыря (там концентрационный лагерь человек на 500); весь обрамленный зеленью Донской монастырь; с другой стороны пылает в лучах червонным золотом Храм Христа Спасителя. Взор впивается в ту сторону: там, пройдя мысленно два, три бульвара, будешь на Бронной, дома...

Но ближе — взору открывается прозаическая картина: тюремный двор; часовой на вышке за забором (его называют Петрушкой) наблюдает за гуляющими арестантами. «Отойди от окна», кричит он, если видит группы гуляющих, скучивающихся у окон. Но окно в тюрьме имеет свою непреодолимую мистическую власть. Если не иметь свободы, то хоть видеть ее в созерцании! Какое счастье, что Христос открыл окно в вечность, которого

никто не может затворить! Не только окно Он открыл, из которого видно небо, но и самое небо.

«Отныне увидите небо отверстым, и ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Этого окна не заслонят никакие стены, даже стены могилы. Даже, если я потеряю окно своей души, око моего тела, это небо не уйдет из моих глаз, ибо оно не зависит ни от каких глаз, но зрится из глубин духа, куда не досягает никакой человеческий произвол.

Я никогда в жизни не был так весел, как в тюрьме. Я люблю петь в хоре, но здесь я часто пел один. Мой сосед просил повторять эти духовные песни, чтобы развеять его тоску и тревогу.

Другой знакомый сказал однажды: «Что вы так веселы? Уж не притворяетесь ли?» — «Ну, что ж? Вы хотите, чтобы я вздыхал нарочно, чтобы устранить подозрение в неискренности?» сказал я, смеясь.

На Страстной неделе я даже составил ободряющее послание своим друзьям и послал его в качестве пасхального привета в стихах:

Братьям — сестрам.

(Поется на мотив: «Есть на Волге утес»).

Жаждет правды народ,
Избавления ждет,
В темноте и грехе погибая...
Но великий Христос
Весть благую принес —
Он спасет мир от края до края.

Он болезнь исцелит,
Власть греха сокрушит,
Утолит все земные страданья.
Солнце братской любви

Переплавит мечи,
Песней радости сменит рыданья.

Братьям—сестрам привет,
Что несут Христов свет,
Жизнь отдали за счастье народа —
Свою юность Христу
И души красоту
Посвятили во имя свободы.

Всех зовите на пир!
Возвестите всем мир,
Унывающим слово отрады —
Что Спаситель воскрес,
Дверь лазурных небес
Отворил всем взыскующим града.

Царство Божие в нас
Мы созиждем трудясь —
В нем не будет раба-господина,
Но лишь братство людей;
Так гремите ж сильней:
Во Христе все да будут едино!

Одно время я сильно расстраивался при мысли, что моя судьба в руках людей.

Целый день раздавались крики снизу, от стола: «Такой-то, с вещами, к столу!» «Такой-то на свободу!»

Иногда высылали партиями в Бутырки, в Архангельск, во «внутреннюю тюрьму» на Любянку на допрос (там по неделям приходилось ждать).

Я однажды решил взяться как следует за этот род страха. Я живо представил себе, что самое худшее это — расстрел. Но, ведь, умереть за Христа — это высшее пре-

имущество. Ибо все и так умирают, часто за бессмыслицу. Притом смерть мне казалась даже легче, чем иные минуты ощущения в морально-грязной атмосфере или перспектива отправляться в Архангельск или Соловки. И когда я внутренно вновь пережил в горячей молитве смерть со Христом, которая, в сущности, должна быть уже раньше пережита в процессе духовной жизни (чтобы жить во Христе, надо умереть для себя) — я избавился от последнего груза, иногда пригнетавшего душу.

Что же касается пределов человеческой власти над нами, то мы имеем непреложное слово Иисуса Христа: «ни одна из малых птиц не упадет на землю без воли Отца; у вас же и волосы все сочтены». И не сказал ли он представителю римского правительства: «Ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше».

«Дана Мне всякая власть на небе и на земле», говорит Христос Своим ученикам по воскресении.

«И вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти», пишет апостол (Кол. 2. 10).

Только бы нам предать себя всецело «Господу господствующих и Царю царей».

Как я уже сказал выше, моральную тяжесть в тюрьме составляет циничная нравственная атмосфера. Но в Таганке мы были более изолированы — устраивались маленькими группами и были больше предоставлены самим себе.

На соседей мне везло, хотя я и не искал их.

Так, попросился ко мне в соседи — некто N., архивариус св. Синода: человек очень чуткой, интеллигентной души, старик лет шестидесяти. Попал он в тюрьму за компанию со всем штатом служащих одного учреждения в Петрограде, обвиненного в каких-то злоупотреблениях. Одинокий вдовец, он был здесь еще более одинок. Бывало, станет на ящик и часами стоит у окна, смотря на Спасский монастырь.

Или ночью слышишь вдруг его тихое рыдание.

Много рассказывал он мне интересного — особенно из истории современной церкви, которую он представлял в ряде живых иллюстраций — типов высшего духовенства, прошедших перед его глазами в св. Синоде.

Глубоко православный в душе, он не мог без горечи вспоминать о наших епископах: «Я не встречал ни одного верующего среди них. Все они бонзы, бонзы!»[22]), повторял он с гневом.

Далее с благодарностью вспоминаю бывшего русского консула в Италии, знакомившего меня, между прочим, с итальянским языком.

Вся внешняя жизнь в тюрьме вообще ясно подтверждала великую истину, что Бог «вникает во все дела наши»[23]) — и Он действительно заботился обо всех мелочах нашей жизни, как социальной, так и материальной: нужно было только самому оставаться Ему верным. Приведу один из многих примеров Божьей заботы.

Подошли морозы. В тюрьме, как я сказал, не было отопления. Но известно, как изобретателен русский человек, а тем более, что нужда — мать изобретений. Уже для того, чтобы в любое время кипятить воду, применялась «динамка», маленький прибор величиной с портмонэ — состоящий из куска жести, скомбинированного с куском дерева; стоило опустить его в медный кувшин с водой, соединив с проводом, — и через четверть часа кипяток был готов. Иногда тюремный мрак в коридорах вдруг озарялся голубой молнией, и тотчас же раздавался крик: «Снимай динамо!» Оказывается, электрическая сеть была перегружена, и провод перегорел. Сами виновники обыкновенно выбегали в коридор и присоединяли к общему шуму свой протестующий, полный возмущения крик: «Снимай динамо!» чтобы замести следы. Периодически помощник начальника тюрьмы обходил камеры и делал обыск; надзиратель шел за ним, неся мешок, полный «ди-

---

[22]) Бонзы — языческие жрецы в Китае (буддисты).
[23]) Псал. 32, 15.

намок». На другой день усиленно производились новые приборы; ничто не менялось — разве только рыночная цена прибора несколько поднималась. На ряду с динамо была изобретена электрическая плитка, на которой можно было жарить, что угодно: она представляла сеть проволок, закрытых глиной, и имела вид круглой подставки.

Не менее выдающееся изобретение представляло устройство электрического отопления.

Входишь, бывало, в чью-нибудь камеру — там тепло, когда кругом у соседей холодно. Откуда берется тепло? Оказывается, под столом намотаны проволоки, которые накаляются от соединения с проводом. Один приспособил для отопления пресловутую железную «парашу». Провод старательно скрыт в стене, замазан глиной; а внизу над полом выставляются его кончики — стоит придвинуть к ним посудину, она нагревается и дает тепло.

Я принципиально не покупал «динамок».

Когда наступили морозы, заключенный из соседней камеры звал меня поселиться с ним. Там проходила труба от кухни. Но мой сожитель просил меня не покидать его — было не по-товарищески его оставлять. Через несколько дней его выпустили — я остался и без соседа и без отопления. Опять, скажут благоразумные люди, я поступил непрактично. Но... терпение...

Приходит ко мне снизу старообрядец Е. и говорит: «У меня к вам просьба. Моего соседа выпустили. Не переберетесь ли вы ко мне? Я очень вас прошу. А то я боюсь — еще дадут мне в соседи курящего или вора какого-либо!» Для старообрядца оба вида зла почти равносильны. «Приходите, у меня труба от кухни». — «Но, ведь, меня к вам не пустят. Такие камеры, да еще во втором этаже (он считался аристократическим) берут с бою и по протекции». (Этих камер было во всей тюрьме 8). — «Вы только дайте согласие. А я все устрою, через канцелярию». Я согласился, и мое переселение состоялось. (Е. был влиятельный человек. Он заведывал переплетной мастерской). Моя новая камера № 106 была замечательно уют-

ная. Почти весь день мой сосед отсутствовал (уходя на работу). Вечером он приходил и учил меня переплетному делу. Зная мой интерес к духовной литературе, он вытребовал из дому старинные старообрядческие книги. Вечером он вслух читал мне «Четьи-Минеи», держа при этом в руке восковую церковную свечу.

ТРИ ОПОРЫ.

Назову теперь, что было моей нравственной опорой в тюрьме.

Конечно, прежде всего, вера — что Бог со мною, что Он все делает к лучшему, если мы любим Его; что я «терплю за Христа», а не за какое-либо злое дело. «Я завидую вам», — говорил мне один железнодорожный рабочий: «Вы сидите за веру, а я за кражу. Но я верю, что Бог меня наказал, чтобы я, выйдя отсюда, никогда больше не страдал за плохие дела, а лучше уж за хорошие. Бог даст, ваши беседы помогут мне выбраться на дорогу».

Притом я все больше сознавал, что тюремное заключение для меня являлось не страданием, которое захотели мне причинить люди, но определенной миссией, я бы сказал — командировкой — для продолжения образования и для помощи ближним.

Молитва, чтение Слова Божия и работа — вот три моих главных опоры.

Эти три рода энергии, которые я проявлял с своей стороны, вытекали из моей веры.

Бег предлагает нам общение с Собою в молитве, в познании Его откровений, данных через слово Его, и Он посылает нас в мир для служения. Человек с своей стороны проявляет соответственное усилие для осуществления этих целей.

Молитва! Правду сказал П. Н. Николаи, что она

представляет то вдыхание надводного воздуха, которым поддерживает свою жизнь водолаз, находящийся на дне моря, в чуждой стихии. Тюрьма, более, чем что-либо, представляет атмосферу, в которой легко задохнуться человеку. Но молитва есть творческая способность проникать всюду — она не знает власти никаких стен, никаких решеток и оков, она способна парить над всеми национальными и религиозными перегородками, разделяющими людей — она дает возможность человеку «крылатою мыслью весь мир облететь».

Гус молился даже на костре, в дыму и пламени, овеянный жгучим дыханием смерти.

УТРЕННИЙ ЗВОН.

На заре мне слышится сквозь сон
Протяжный колокольный звон.
В окно темничной кельи
В сияньи перламутра
Смеется ласковое утро —
Улыбкой матери над колыбелью.
Горят в лучах восхода
Огнем златые купола;
Поют, гудят колокола...
Проснулась мать-природа:
«Вставай», зовет она:
«Молитва лучше сна!»

Лето 1921 г. Таганка.

Иногда посреди дня, утомленный шумом, руганью и вообще дрязгами грубой тюремной атмосферы — я вдруг внезапно ощущаю полную внутреннюю тишину, как бы «веяние тихого ветра» или благостное дыхание иного, нездешнего мира... Что это? Откуда струится этот тихий свет, ласкающий душу, набегающий нежной и теплой

волной, поистине претворяющий своим неземным благоуханием «смрадную тюремную келью в сад лилий?»

Не друзья ли это и близкие вспоминают в молитве? Не молится ли в эту минуту за меня моя мать?...

Вторая моя опора — это Слово Божие.

Если окно делает нам доступным простор голубого неба — то Слово Божие открывает нам иной бездонный простор духовного неба.

«Отныне увидите небо отверстым», сказал Христос.

Недаром Наполеон, будучи узником на острове св. Елены, писал: «Когда я читаю Евангелие, я вижу небо».

Никогда, кажется, я не читал Библию так много, как в тюрьме; никогда так жадно не пил воду живую.

Говорят, что из глубины колодца и днем можно видеть звезды.

Так, из глубины страдания можно созерцать сверкающие звезды духовного неба. В Библии мне открывались теперь новые стороны — в особенности, откровения о страдании, о справедливости Бога и о справедливости человека.

«Бог внемлет нищим и не пренебрегает узников Своих».

Более ясным стало убеждение в неизбежности и радости страданий за Христа:

«Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы».

«Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него», писал апостол Павел из тюрьмы к верующим.

Слово Божие утверждало мою веру и вселяло полное спокойствие в душу, полную свободу от обстоятельств, от людей.

Так много теперь говорила книга Иова.

Все эти слова и раньше были мне знакомы — но теперь они загорелись каким-то огнем, стали живыми и драгоценными.

Иногда Библию не позволяют иметь с собою в тюрьме. Но кто любит Божие Слово, тот заучивает его наизусть. Брат С. был лишен своей Библии при входе во «внутреннюю» тюрьму. Этим, вероятно, думали пресечь его пропаганду. Но он читал наизусть главу из Евангелия и объяснял ее жадно внимавшим слушателям.

Приходит время, когда верующие настолько проникнутся Словом Божиим — что будут «живым Евангелием», «письмом Христовым, ...написанным не чернилами, но Духом Бога Живого», «узнаваемым и читаемым всеми человеками».

Тогда же я имел время привести в порядок свои темы, приспособленные для проповеди — (их оказалось несколько сот), составив своеобразную систему (симфонию).

Напр., тема «Страдание» помечена мною на полях в начале книги Иова; тут же приведены собранные мною параллельные места из разных книг Библии. А на особых, вклеенных в Библию листах, эта тема «страдание» названа в ряду других — и против нее упомянута та страница Библии, на которой надо искать все заметки и тексты на эту тему. При дальнейшем чтении Св. Писания приписываются на полях против данной темы все новые мысли и тексты. И постепенно эти темы, как колодцы, наполняются живой водой. Тюрьма изолировала от многих внешних забот мою память, и теперь последняя сосредоточенно и усиленно скопляла (аккумулировала) нужные мысли из Библии и из жизни на различные темы.

Хождение по тюремному дворику напоминало верчение белки в колесе. Но и этот круг был разомкнут: и беседами с другими заключенными и иногда заучиванием наизусть какой-либо главы из Библии.

Моей третьей опорой была работа.

В тюрьме были различные мастерские — но меня туда не посылали работать, так как я был в разряде не осужденных, а следственных. Поэтому я мог делать, что

хотел. Мой сосед научил меня переплетать — благодаря этому искусству я исправил свой Новый Завет. Я купил его еще в 1905 г., когда был студентом Петербургского Университета. Это было вскоре после моего обращения, моего внутреннего поворота ко Христу. С тех пор эта книга была постоянно со мной — я носил ее в кармане. Помню, как однажды в Варшаве, во время одного восстания, солдаты Лейб-Гвардии Волынского полка обыскивали чуть ли не каждого прохожего, особенно мужчин. «Руки вверх!» — скомандовали мне. «Ага», сказал один, нащупав у меня нечто в кармане пиджака. «Что, револьвер?» спросил другой. — «Ну да», сказал я, вынимая Евангелие, «это мое оружие, мой меч»... Солдаты посмеялись и отпустили меня. Но от постоянного ношения и частого употребления мой Новый Завет рассыпался по листочкам — поэтому в тюрьму я взял с собой Библию, а Новый Завет мне принесли позже, для починки. В тюрьме оказалось достаточно времени, чтобы приклеить чуть ли не каждый листочек при помощи тонкой бумаги и крепко пришить; в общем, Евангелие мое вышло из тюрьмы более прочным, чем вошло в нее (в прямом и в переносном смысле).

Однажды раздавали заключенным кофе. Оно было завернуто в бумагу, которая, к ужасу моему, оказалась листами из Евангелия. Я немедленно пошел заявить протест.

В небольшой комнате несколько человек еще продолжали делать пакетики, употребляя для этого священные страницы. «Разве это по закону?» спросил я одного из коммунистов. — «Конечно... вон видите куча книг религиозного содержания; нам приказано их все уничтожить. Они изъяты из тюремной библиотеки». Входит комиссар, заведующий учебной частью в тюрьме. «Что тут за шум? О чем спор?» говорит он, обращаясь ко мне. «А вот угадайте», отвечаю я, протягивая ему смятые листочки. — «Что это? Евангелие?»... — «Вы же, товарищ Н., распорядились употребить эти книги», говорят

работающие. — «Нет, это неправильно. Можете уничтожать литературу религиозного содержания, как то жития, церковные книги... А Библия признается литературным памятником, который уничтожать запрещено. Об этом была недавно телефонограмма политпросвета». (Отдел политического просвещения).

«Вот видите»... сказал я. «Позвольте же, я выберу из этих бракованых книг Евангелия, и возвращу их в библиотеку». — Что ж, пожалуйста»...

И вслед за этим я извлек из этих выброшенных книг 167 экземпляров Св. Писания — это были книги на русском, французском, греческом, древне-еврейском, армянском, грузинском и др. языках, подаренные разными жертвователями в тюремную библиотеку.

Придя в библиотеку, я получил каталог для регистрации книг, — записал их, и, с согласия библиотекаря (тоже из заключенных), взялся заведывать этим отделом, выдавать эти книги заключенным и вообще помогать в библиотеке. Она была довольно обширна — но, к сожалению, из многих книг были вырваны страницы (как известно, для надобностей курения).

Благодаря этой работе усилилась моя связь с арестантами: я мог руководить чтением некоторых из них, рекомендуя хорошие книги из русской художественной литературы (тем более, что когда-то это было моей специальностью в гимназии, где я был до 1913 г. преподавателем русской и всеобщей литературы).

Это же сотрудничество в библиотеке открыло мне доступ к книгам и для самого себя — и некоторые основательные труды (напр., «Предшественники реформации» Гаусрата) были мною прочитаны.

В тюрьме были администрацией организованы курсы по общеобразовательным предметам, языкам и т. д. Преподавали сами заключенные, среди которых было не мало образованных людей. Я записался на курсы английского языка.

Посещение этих уроков давало много преимуществ помимо приобретения полезных знаний.

Каждый вечер после поверки, которая происходила в 7 часов, камеры запирались до утра: участников же курсов выпускали на урок. Было большое наслаждение посидеть в более чистой камере, в среде интеллигентных людей (профессор, писатель, директор Художественного Театра и т. п.), поделиться новостями; все это для практики излагалось на английском языке. Было и еще маленькое преимущество. Начальство поощряло посетителей курсов, выдавая им по временам изюм, сахар и т. п.

Ну, разве не прав я, называя тюрьму Академией? Это была не только Академия духа, но отчасти и — наук.

Самым ценным приобретением для себя из области знаний я считаю ознакомление с древне-еврейским языком. Человек 60 евреев было среди заключенных — они сидели за преступления по должности, за спекуляцию. Среди них был осужденный за что-то офицер. Говорил, что попал по доносу со стороны одной знакомой, на почве ревности (такие случаи бывали неоднократно в тюремной практике).

Узнав о моем интересе к Библии и к еврейскому языку, они наперерыв предлагали мне свои услуги, совершенно безвозмездно. Один из них сделался постоянным моим учителем. Когда я пропускал день, он искал меня и упрекал в лености. Постепенно меня научили писать и читать; потом я составил элементарную грамматику. Какое наслаждение было читать в подлиннике, на священном языке пророков и Христа историю Авраама, Песнь Песней, псалмы, пророчества, молитвы из богослужебной синагогальной книги. Со своим учителем я прочел 13 глав Евангелия от Матфея. — Это и ему давало возможность знакомиться с учением Иисуса Христа; при этом он не раз восхищался возвышенными идеалами Нагорной проповеди. На прогулках я упражнялся при встречах с евреями в разговорной речи на этом же языке.

Как ни странно, тюрьма открыла мне дверь ещё в одну область знания, столь священную и близкую для меня.

Не учит ли нас Бог «извлекать драгоценное из ничтожного?» Некогда Иеремия жаловался Богу: «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею»... «Ты знаешь, что ради Тебя несу я поругание»... «За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание?»... Но Бог говорит ему: «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как Мои уста... И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною; они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, говорит Господь».

Беседы с евреями еще более углубили мой интерес к еврейскому вопросу, который, по словам Владимира Соловьева, есть вопрос христианский; он будет разрешен обращением евреев ко Христу, но помочь этому обращению мы можем лишь тогда, когда сами будем являть свет, любовь и мудрость Евангелия в нашей жизни.

И как много глубокой тоски и жгучей жажды таится в глубине еврейского сердца, той самой, которая вдохновляла их отцов, названных в Новом Завете «сынами пророков и Завета»... Только не узнают они Христа в нашей практической жизни и даже в нашем истолковании христианства, которое так же похоже на Евангелие, как Талмуд на Библию.

О. ГЕОРГИЙ.

Однажды я простудился — почувствовал что-то в роде сухого плеврита. Меня направили в перевязочную комнату.

Небольшая чистая камера. Посреди нее стоит иеромонах, исполняющий должность санитара. Вереница больных проходит через комнату. Большинство страдает экземой, язвами на ногах. О. Георгий, человек лет 50, с

длинными лоснящимися от елея редкими волосами и простым русским (мужицким) лицом; глаза его прямо светятся лучистым сиянием. Любит говорить отечески, с народным юмором. Мы с ним очень подружились. Я стал помогать ему писать названия лекарств по-латыни, ибо он писал их по-русски, и то не совсем ладно.

Еще одно приобретение и улучшение. Он дал мне ключ от этой тихой и чистой камеры, которая после двух часов всегда была свободна, и я мог приходить сюда для чтения Библии, писания писем и т. п., изолировавшись от тюремной грубости, вызовов и т. д.

Но еще большим приобретением было знакомство с этим типом истого русского православия или просто русского христианства, при всей простоте вмещающей и мудрость и крепкую волю, а главное удивительную мягкость, широту и любовь, любовь без конца...

Он был в тюрьме как бы старцем, к которому ходили за советом. Даже еврей Н., из интеллигентов, любил притти и отвести душу в камере отца Георгия.

Камера была чистая, светлая; из нее видна была другая часть Москвы (противоположная той, которая открывалась из моего окна).

Вон сверкает пламенеющий костер, над высокими крышами и куполами — это Храм Христа Спасителя... В той стороне и мой дом.

«Не тужи, золото мое, все будем свободны», оптимистически говорил он, бывало, заключенному.

История его поучительна. Он был сначала послушником у знаменитого оптинского старца Амвросия[24]), потом там же в Оптиной пустыни иеродиаконом — и действительно воплощал в себе трогательное, умилительное, типичное для Оптиной пустыни «православие сердца».

О старце Амвросии он рассказал мне историйку, по его словам, нигде не записанную,

---

[24]) О нем Достоевский писал образ Зосимы для «Братьев Карамазовых».

Пришел в Оптину странник, в тяжелых веригах, в медной шапке и с железной палицей — все это он носил для смирения многогрешной плоти. «Благослови, батюшка, вериги носить»... обратился он к о. Амвросию. Старец посмотрел на него и молчит. — «Нет, не благословляю»... Откланялся смущенный странник, пошел к воротам. Вдруг слышит, кто-то нагоняет его; только обернулся, а тут молодой послушник с разбегу как толкнет его в шею — и шапка со звоном покатилась с головы. «Ах ты, мошенник этакой! И таких негодяев держат у вас в обители!»... распалился странник. Побежал к отцу Амвросию. А тот улыбается... — «Что это, батюшка, у тебя за озорники такие?»... — Ну, вот видишь, я говорил тебе, что не могу благословить тебя... Плоть смиряешь, а себя не смирил... Поди-ка в кузницу и скажи, чтоб вериги с тебя сняли... Так то лучше будет»...

Пошел странник в кузницу... Так и висят эти вериги в обители по сей день, — в поучение о том, что есть смирение...

О. Георгий видел и Л. Н. Толстого, как он приходил в Оптину, покинув Ясную Поляну.

Не попав на прием к старцу Иосифу, который лежал тогда тяжело больной, Лев Николаевич пошел по лесной дорожке, в раздумьи. Видит два монаха идут, несут лукошки с грибами. Поздоровались. — «Хорошо у вас здесь!.. Хотел бы я тут избушку построить и с вами жить»... — Что ж, это можно»... ласково ответил один из иноков. Затем Лев Николаевич, после вторичной неудачной попытки попасть к о. Иосифу, отправился в Шамордино, к своей сестре, монахине Марии Николаевне. Он очень любил ее. О. Георгий уверяет, что Лев Николаевич сказал тогда сестре: «Машенька, я раскаиваюсь в своем учении об Иисусе Христе»... Разговор этот пресекся с приездом Черткова и Маковицкого, которые увезли Льва Николаевича из Шамордина... (Во время этого путешествия Лев Николаевич простудился и скончался на станции Астапово).

Из Оптиной пустыни о. Георгий перевелся в Мещовский монастырь Калужской губ., где и был игуменом. Он произносил проповеди, очень активные и страстные. Был арестован; присужден к расстрелу. На станции Калуга его должны были снять с поезда красноармейцы. Когда поезд подошел к Калуге, солдатского отряда там не оказалось. Поезд проследовал в Москву... Здесь о. Георгий по болезни попал в больницу Бутырской тюрьмы, потом остался там санитаром.

За это время дело его было пересмотрено, и смертная казнь заменена была пятилетним заключением. «Веруй всегда в милость Божию, золотце», говорил он мне.

Его мало смущало мое расхождение с православием. Мою записку о крещении он прочел и вернул, почти без критики. А о самом крещении сказал: «Это ничего. Это ты от усердия. Бог усердие любит... Ты хотел повторить сознательно обеты крещения, которые за тебя сказали в детстве. А мы, монахи, их повторяем при пострижении. Вот, на, возьми, устав наш иноческий, — там увидишь. Эх, Владимир Филимонович, золотой мой... Выйдем на свободу, будем вместе работать... Будем ездить по селам с походной литургией — я буду служить, а ты проповедывать... А еще того лучше... бери святительский жезл... (т. е. иди в архиереи)... Не упущай золотого времени!..»

ЛЕКЦИЯ О КРАСОТЕ.

— «Вы, я слышал, лекции публичные читаете?» обратился ко мне однажды заведующий учебной частью в тюрьме, коммунист N.: «Так, вот, не можете ли и здесь прочесть лекцию для заключенных?»

Я подумал и сказал: — «Ну, хорошо, я прочту — на тему «О красоте». Эту лекцию я часто читал в Москве, под названием «Смысл красоты»; однажды и в Консерватории. Но требуются музыкальные иллюстрации. Не по-

зволите ли с воли вызвать того артиста, который обычно играл на рояле во время моей лекции?» — «Что ж, это мы сорганизуем через Карательный Отдел». — «Только», сказал я, «тему попроще назовем — ну, хотя бы так: Как сделать нашу жизнь прекрасной? — чтобы всем было понятно».

Через несколько дней меня вызвали в канцелярию тюрьмы. Оказывается, прибыл пианист К., и меня вызвали для переговоров с ним. Эта была моя первая встреча со знакомым после долгого перерыва — ибо всякие свидания со мной были запрещены. Мы условились насчет музыкальных номеров. Как обыкновенно, он должен сыграть несколько пьес из Шопена, Баха, Бородина, Бетховена и т. п.

Потребовали у меня конспект лекции для цензуры.

Заключенным предложены были для порядка билеты (хотя и бесплатные). Сначала было позволено раздать 300 билетов, но в виду побега, случившегося накануне лекции, число посетителей сократили до 150.

В назначенный день нас вывели попарно из главного корпуса в особое здание, расположенное на тюремном дворе; там была эстрада и рояль. На каждых 10 заключенных шел 1 часовой. В парах иду и я.

Вот и зал. Угрюмый, темный, с простыми деревянными лавками.

Смотрю и глазам не верю. Один из моих друзей стоит тут же. Он пришел в качестве механика, для проверки исправности рояля. Подполз под рояль, потрогал педали. «Все в порядке!»

Пианист тронул уверенным прикосновением клавиши. Гомон в зале сразу стих. Двадцатая прелюдия Шопена. Мощные, властные аккорды захватывают, чаруют... Разнузданная обычно публика, воры, грабители — сидят, затаив дыхание, с блестящими глазами или с потупленным взором.

Потом пятнадцатая прелюдия Шопена с ее тоскующим вопрошанием, которое может насытить только бес-

смертная красота, и о ней то говорят прекрасные гармонические созвучия, словно нисходящие из мира нездешнего, горнего чредою могучих и мерных ударов — аккордов на бедную, темную землю.

Музыка всегда хорошо настраивает меня перед лекцией. А теперь, в этих душных, грязных стенх, при этом контрасте вечной красоты, свободы с наличным безобразием, грубостью, этими решетками и стражей — в душе рождается страстная жажда петь песню о красоте, петь и звать к свободе... Уже полгода прошло, как я читал последнюю публичную лекцию в «кизеветтеровском» зале Университета перед тысячной толпой молодежи. Это была моя последняя лекция на тему «Христос». И теперь долго накоплявшаяся в душе скорбь рвалась наружу... Хотелось в каждое слово вложить сердце, — пусть это будет моя последняя, лебединая песня, пусть я дорого за нее заплачу!.. Я говорил о том, как жаждет русская душа красоты и жизни в красоте и как непрекрасна наша жизнь. Красота искусства и природы напоминают о иной, лучшей жизни, влекут нас ввысь, к небу, к Богу. Прочел известное стихотворение Лермонтова, в котором поэт свидетельствует, что краса полей, желтеющей нивы, лесного цветка и ручья преображают его дух.

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...

Но природа и поэзия дают лишь отзвук истинной, вечной красоты, говорят о ней лишь намеками — сущность же прекрасной жизни, ее воплощение даны в Образе Христа, как об этом свидетельствует и наш поэт Бальмонт:

Одна есть в мире красота —
Любви, печали, отреченья
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.

Первая часть лекции окончена. Пианист играет грациозную колыбельную песню Грига. Объявлен перерыв.

Иду за кулисы. Пользуюсь минуткой, чтобы переговорить с друзьями. Из зала влетает за кулисы с испугом на лице заведующий учебной частью.

— «Товарищ Марцинковский», восклицает он в каком-то паническом страхе: «все хорошо вы сказали; только, пожалуйста, не говорите о религии»...

— Но, ведь, я только цитировал произведения русской поэзии. Разве это не на тему о красоте?»

— «Все это хорошо. Но о религии нельзя»...

— Да, ладно, я и не собираюсь говорить о религии и даже сейчас объясню слушателям, почему именно не буду говорить о религии».

Он растерянно махнул рукой и вышел, ибо нужно было продолжать: в тюрьме каждая минута расчитана.

Опять зарокотали струны. Это был похоронный марш Бетховена с его величественным созерцанием бессмертия героя. Потом раздались полные скорби, зовущие и тревожные рыданья седьмой сонаты Бетховен (Largo).

Это колокол гудит,
Долгим гулом сердцу мстит
За греховные мечты
Искаженной красоты...

Я продолжаю лекцию. — «Граждане, существует опасение, что я буду проповедывать здесь религию. Но я этого не собираюсь делать, ибо религия вещь относительная — она выражает мнения людей о Боге, часто спорные и противоречивые, их отношение к Богу. Религий много, и часто они опровергают одна другую.

Я вам буду говорить не о религии, а о Боге.

Только Бог через Иисуса Христа может сделать нашу жизнь прекрасной. И об этом свидетельствует опыт великих узников, переживших духовный переворот в

тюрьме. К ним принадлежат Достоевский, Оскар Уайльд и др. Тюрьма может нас искалечить, но она же может нас сделать глубже и сильнее.

Последнее произойдет в том случае, если мы будем с Богом, если через Христа и Евангелие повернем внутренно от греха и тьмы к свету, правде и любви. Так поступил Достоевский, который в каторге читал Евангелие.

Когда я кончил, раздались оглушительные аплодисменты. Воры и разбойники одобряли призыв ко Христу. Это ли не доказательство, что «душа человека по природе христианка?».

В переднем ряду произошло замешательство.

Председатель коммунистической ячейки возмущенно сказал: — «Это о религии! Арестовать надо... лектора»... — «Да что арестовать!.. Он, ведь, уже сидит», пожав плечами, сказал кто-то. (Коммунист думал, что я вместе с артистом и механиком прибыл с воли).

Пошли из зала. Прибывших с воли, а с ними и меня, пригласили в канцелярию пить чай. Самовар стоял на столе. Вдруг влетает надзиратель... «Товарищ Марцинковский! Вы здесь? Вас ищут. На поверке не оказалось... Идите скорее в камеру!»...

Пришлось, не испив чаю, отправляться с концерта в камеру, опять туда, в маленький каменный мешок, с холодными, грязными стенами. Но что это в свете того прекрасного мира, который я только что видел! Я глотнул свободы полным ртом и вернулся опьяненный большой радостью.

— «На прогулку!» кричат сторожа в нижних коридорах.

— «Выходи на прогулку!» вторят надзиратели верхних этажей.

Камеры отворяются. По железным лестницам из разных этажей спускаются заключенные. Идут простые люди, рабочие, военные... Там и сям виднеется фигура духов-

ного лица. Вон митрополит Кирилл с величественной осанкой, с большой бородой, в серой рясе и фиолетовой скуфье; а там исхудалый, с темными впалыми глазами на строгом аскетическом лице — игумен Иона; наклонив голову, идет епископ Феодор, черноволосый, с бледным лицом, с очками в черной оправе (это бывший ректор Московской Духовной Академии, епископ Волоколамский). Поблескивая синими очками, низко сидящими на несколько коротком носу, — спускается медленно по лестнице епископ Гурий (Казанский).

Мы стоим у дверей, пока соберутся все. — «Все что ли? Ну, отворяй!» кричит старший надзиратель стоящему у выходных дверей с ключами. Ключ гремит, огромная железная дверь растворяется — и мы выходим на полусвободу. Арестанты ходят беспрерывно, один за другим, по каменным тротуарам, некоторые сидят на чахлой истоптанной травке (единственное украшение природы в тюремном дворике).

Из дверей тюрьмы появляется чиновник из канцелярии. Он громко кричит: «Марцинковский, в канцелярию!»

Меня привели в кабинет начальника. Сам он, бывший полковник, стоит у своего зеленого стола.

За столом сидит молодой человек — это комиссар, прибывший из Карательного Отдела.

— «Здравствуйте. Присядьте пожалуйста»... говорит он мне, указывая на стул. «Гражданин Марцинковский», говорит он, стараясь повысить тон: «Я должен подвергнуть вас наказанию за вчерашнюю лекцию»... Я вспыхнул... (Вот так благодарность за труд!). — «Что же вы можете мне еще сделать? Расстрелять, что ли?»

— «Ну, зачем расстрелять?» — «А в чем же моя вина?»

— «Вы нас обманули... Обещали прочитать лекцию о красоте, а прочитали о религии. Почему вы не предупредили нас об этом?» — «Я читал о том, о чем писал в конспекте. Если бы я написал все подробности, то, ведь, тогда вы, может быть, не решились бы разрешить лекцию. Если

же говорить о духе лекции, то вы, ведь, знаете, какого рода я лектор и за что я сижу». — «А за что же вы сидите?» — «За религиозные лекции». — «Ну, положим, вы сидите за контр-революцию»... Берется за трубку телефона и говорит с моим следователем. «Ага! Так, так... Пресечь?... Слушаю-с».

— «Следователь предлагает пресечь всякую вашу пропаганду в тюрьме».

— «На каком же это основании?» говорю я. «Ведь, известный параграф Советской Конституции предоставляет каждому гражданину свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды». — «Да, но не в тюрьме... Насчет тюрьмы мы имеем особое распоряжение... Здесь запрещается проповедывать о Христе».

— «Гражданин, — я нахожу, что в тюрьме это надо делать более, чем где-либо... Разве вам неизвестно, какая здесь нравственная атмосфера? Разве вы не знаете о пьянстве, кражах, картежной игре, происходящих в камерах?» — «Словом, я вам запрещаю»...

— «А я возлагаю ваше запрещение на вашу ответственность, гражданин. Вы должны согласиться, что я прав с педагогической точки зрения», настаиваю я.

Из дальнейшего разговора оказывается, что он когда-то в Петербурге посещал Христианский Студенческий Кружок. — «Я знаю ваш кружок. Все это идеализм». Он говорил со мной, краснея и любезно. Видно, что он исполняет предписание не своей совести, а начальства. Начальник тюрьмы, служивший еще при старом режиме и видавший виды в тюремном быту, слушает молча нашу беседу.

Комиссар, прощаясь, подает мне руку, и уходит. Итак, состоялось оффициальное запрещение[25]), да еще в присутствии начальника тюрьмы, который обязан следить

---

[25]) Никакому наказанию я, вопреки угрозе комиссара, подвергнут не был.

за поведением заключенных... Кому же теперь повиноваться: человекам или Богу?

Чтобы сделать более понятным мой ответ на этот вопрос, я хочу теперь дать картину тюремных нравов, которая к тому времени открылась моему взору более полно, чем при моих первых встречах и впечатлениях.

ТЮРЕМНЫЕ НРАВЫ (ВОРЫ, ИХ ЭТИКА).

Тюрьма — это маленький мир. А мир, как море. При общем обзоре оно кажется красивым и величественным. Но зачерпните из этого моря стакан воды и подвергните его микроскопическому исследованию! Сколько вредных бацилл найдете вы в нем! В таком стакане и я имел возможность наблюдать всю неприглядную картину жизни в ее обнаженном виде.

Не забудьте, что это была уголовная тюрьма. Преступники, сидящие в ней, обычно не только не отучиваются от своего ремесла, но еще совершенствуются и теоретически и практически.

Здесь встречаются между собою воры всех видов — и те, которые, говоря на их жаргоне, работают «по-сухому», т. е. без пролития крови, и «мокрушники», т. е. не останавливающиеся при грабежах и перед убийствами; здесь и форточники — те, которые просовывают в форточку окна малыша, для того, чтобы он открыл изнутри двери взрослому грабителю. Различаются еще «берданочники»: это начинающие воры, те, которые работают на вокзалах, утаскивая у зазевавшегося мужика «берданку», т. е. мешок с провизией.

Ремесло это имеет свою разработанную технику. При организованных кражах, напр., выставляется на улицу караульный, который, видя приближающихся людей, говорит в качестве сигнала слово: «шесть». Это слово мо-

жет создать такое впечатление, как будто по близости производится какая-нибудь измерительная работа и т. п.

То и дело повторялись в тюрьме кражи. У моего соседа из запертой камеры исчезла корзина с пасхальными продуктами.

Раз, когда я шел в баню, и мы толпились у дверей, ожидая их открытия, у меня из кармана исчезли носки.

В другой раз кто-то похитил из моего пиджака, оставленного в предбаннике, записную книжку, очевидно, приняв ее за бумажник. Жаль было лишиться адресов и заметок, которые там были, и я решил обратиться с просьбой их вернуть. У меня было тогда уже знакомство среди воров — некоторые из них получали у меня пищу, и потому не более, как через полчаса, книжка мне была возвращена — удержаны были лишь карандаш и зеркальце... за труды, так сказать.

В камерах шла карточная игра, однажды кончившаяся кровопролитием. Обитатель одной камеры вонзил кухонный нож в грудь своему партнеру за то, что тот не хотел платить проигрыша. Думали, что рана пришлась в сердце. Раненый был увезен в больницу в безнадежном состоянии. Но, ко всеобщему удивлению, он выжил. Картеж иногда сопровождался попойками. Откуда доставали водку — это большая тайна.

Однажды была похищена из канцелярии четверть денатурированного спирту.

По утрам во время прогулки арестанты собирались у наружных окон подвала — там помещались только что прибывшие из других тюрем: тут были люди из Орла, Ташкента, Самары. Происходила оживленная торговля в виде товарообмена: выменивались кушаки, шапки, верхняя одежда на хлеб.

Иногда буйная вольница оборванцев («шпана́») устраивала и набеги — нападения на неопытных и беззащитных из вновь прибывших. Жертвой такого избиения оказался, однажды, крестьянин, у которого была с собой большая коврига хлеба. Его сбросили на пол и били пре-

словутыми железными ножками от кроватей, но он упорно держался за свой хлеб, легши на него животом. Так его и провезли за ноги до дверей. На его крик прибежал наконец надзиратель, — но виновники моментально скрыли всякие признаки своего участия в избиении. Многие безобразия делались не только от голода или от грубости, но и просто от скуки.

Вор, обычно, — натура очень деятельная, жаждущая применения энергии, изобретательности.

Мне рассказывали, что некоторые из них, «проработав» летом, на зиму сознательно стараются попасть в свой дом, т. е. в тюрьму, и даже умеют совершить для этого преступление соответственного калибра, будучи хорошо знакомы с параграфами закона о наказаниях. Да и кто же примет к себе клейменого человека, если б он и хотел стать на путь честного труда?

Воры помещались, главным образом, в верхних этажах. Они были между собою организованы, и среди них господствовали те, кто пользовался авторитетом за свое уменье, ловкость.

Общим героем был некто Г., юноша очень способный и живой, вежливый, хорошо одетый, с кольцами на руках.

Часть верхнего коридора занимали несовершеннолетние. Воспитательная часть над ними была поручена нескольким политическим (тут были — С. Е. Трубецкой, Леонтьев, Анциферов, Щепкин и др.). Они учили подростков наукам, но, по их словам, авторитета среди них завоевать не могли. Таковым пользовался один из подростков А. Если пропадет что-либо, напр., казенная вещь, — и вы хотите ее найти, то обратитесь к А. Он созовет все отделение — выстроит всех, начнет ругать и даже бить подозреваемых до тех пор, пока вещь не будет возвращена.

Начальство вообще считалось с авторитетом этих вожаков, обращаясь к ним, как к посредникам.

Однажды, случилась дерзкая кража.

В одной из камер нижнего этажа помещался часовой мастер, тоже заключенный. Он отбывал наказание своим профессиональным трудом, починяя часы у служащих.

Однажды, в воскресенье утром он отсутствовал из камеры. В ней оставался его сосед, который должен был стеречь вещи. Однако, этот караульный обладал хорошим сном, а тюремный вор работал так тонко и деликатно, что не побеспокоил спящего: он открыл дверь и успел забрать 10 штук часов. Часовщик вернулся, и, к ужасу своему, заметил пропажу. Среди вверенных ему часов некоторые принадлежали высшим чиновникам. Он вообще был искусный мастер (от фирмы Буре).

Начальник тюрьмы принял энергичные меры.

Был произведен тщательный обыск — но безрезультатно. Наконец, пришлось вызвать вожака Г. в кабинет начальника. На требование вернуть часы Г. цинично выругался. — «Если вы, гражданин начальник, гарантируете полную безнаказанность за это дело, все часы будут вам возвращены через полчаса».

И что же? В обещанный срок украденные вещи были доставлены начальнику.

О поразительной ловкости воров рассказывал мне одну историю анархист М. Он сидел однажды в Петроградском сыскном отделении. В арестантской камере этого отделения было замечено подпиливание оконной решетки. Самой пилки никак не могли найти. Наконец, явился сам начальник сыскного отделения, знаменитый С. Он сразу подошел к одному из известных воров с вопросом о пиле. Тот, улыбаясь и фамильярно похлопывая по плечу начальника, приветствует его и с полным спокойствием на лице утверждает, что пилы здесь ни у кого нет.

Приказывают всем снять и оставить всю одежду в камере, а затем выйти в соседнее помещение. Все поиски напрасны. «Иванов!» говорит озадаченный начальник, обращаясь к упомянутому главарю: «Где же пила?» — «Пила здесь! В этой комнате», смеясь, говорит И: «Ну, что вы мне дадите, если я скажу, где она?»

— «Даю слово, что ты будешь выпущен» — расщедрился начальник в азарте.

— «Она, пила-то, вон где» — сказал Иванов, поднимая воротник пальто у начальника... Все так и ахнули...

Оказывается, что Иванов при первых же словах, когда похлопывал начальника по плечу, подсунул ему за воротник миниатюрную, свернутую в кольцо тоненькую пилку.

Старик Михеич на прогулке рассказывал мне об одном воре следующее. «Тут сидит один уже лет двадцать с перерывами; прозвище ему Кот. Так вот этот Кот сегодня здорово пробрал одного молодого воришку, который украл «пайку» хлеба у своего соседа, когда тот ушел на работу в мастерскую.

«И не стыдно тебе», говорит он, «у своего же товарища красть? И разве ж это работа?»

За нетоварищеские поступки вообще следует строгое и беспощадное взыскание.

Помню, привели раз партию новых арестантов. Они стояли у конторки, внизу, в ожидании распределения по камерам.

Вдруг, как коршуны, налстели сверху, гремя по железным лестницам, арестанты и стали жестоко избивать одного из новоприбывших железными ножками от кроватей.

Надзиратели еле вырвали его, и он, весь окровавленный, был отправлен в околоток.

Оказывается, он в прошлом выдал милиции кого-то из воров, и ему был вынесен товарищеский приговор о наказании, лишь только он появится на глаза.

Особенно они сердились на одного арестованного чекиста, убежденные, что он сидит с целью разведки. Его избили и даже сбросили с балкона второго этажа на асфальтовый пол. О. Георгий ночью перевязывал его, и он,

по его собственной настойчивой просьбе, был отправлен из Москвы в Орел.

Чувство благодарности очень развито среди этих арестантов, хотя выражают они его, конечно, на своем оригинальном языке.

Один из интеллигентов, поддерживавший вора остатками обеда, впоследствии, когда этот вор вышел на свободу, получил вдруг передачу — масло, творог и яйца и при этом записку: «Примите благодарность от трудов рук моих»...

Ясно было, что он очистил чей-то погреб, — но пришлось передачу принять.

Как сказано было уже, мы почти лишены были созерцания природы.

Один из арестантов вздумал поймать голубя, доверчиво влетевшего в окно камеры. Соседи возмущенно кричали на него, вскоре и другие были охвачены гневом, грозя «проломить череп» дерзкому насильнику. Так нежные чувства к слабейшей твари уживались с невероятной грубостью и цинизмом в одних и тех же людях.

ЖАЖДА СВОБОДЫ.

(Смертельная голодовка, побеги).

Конечно, мечта о свободе — основное переживание каждого арестанта. Поэтому всякие слухи об амнистии (или, в просторечии, — «амнизии») ловятся тюрьмой, как сложной антеной радио-аппарата.

Весь гвалт, шум, ругань стихают мгновенно, когда от стола раздается крик в роде следующего: «№ 200. Степанов!.. на свободу».

От этого магического слова не одно сердце забьется надеждой, что вот-де некогда придет и мой день.

Иногда кто-либо из арестованных шутя выкрикивал имя одного из своих соседей с прибавлением слов — «на свободу». Вызываемый выскакивал в коридор — но навстречу ему уже кричали со смехом: «Радио-параша!» А это на тюремном жаргоне означает ложное сведение.

Хорошо зарабатывал в одной из камер калмык-ламаит, — он занимался предсказаниями и за умеренную плату гадал посредством простой палочки, снабженной зарубками — насчет времени выхода на свободу.

Но вот в чем выливалась страстная тоска русского человека по вольной волюшке — так это в песне.

Вечером при закате солнца вдруг слышу — затягивают в одной из камер стройно и созвучно известную песню. Через некоторое время пламя песни перебрасывается в другую камеру, ей отвечает третья, четвертая, как многоголосое эхо — и вот уже вся тюрьма как бы пронизана жгучей тоской и томлением, и кажется, что каждая решетка претворилась в струны, вибрирующие и поющие, зовущие на простор, рыдающие в неволе.

Сижу за решеткой
В темнице сырой
Вскормленный на воле
Орел молодой...

Мой грустный товарищ,
Махая крылом,
Кровавую пищу
Клюет под окном.

Клюет и бросает,
И смотрит в окно,
Как будто со мною
Задумал одно.

Зовет меня взглядом
И криком своим
И вымолвить хочет:
«Давай, улетим!»

Мы вольные птицы...
Пора, брат, пора —
Туда, где за тучей
Белеет гора...

Туда, где синеют
Морские края,
Туда, где гуляем
Лишь ветер да я.

«В час заката и у бедного рыбака весла золотые», а песня раздвигает душные стены тюрьмы и вливает новую силу в бедных, томящихся в неволе, людей.

И нет-нет, да и потянет опять к окну, которое, как магнит, привлекает к себе.

Во время прогулки слышу суровый окрик часового: «отойди от окна!» Белая фигура, усевшаяся за решеткой, не двигается.

«Отойди от окна!»... — Ббах!... Раздается выстрел... Кирпич и известь сыплются нам на головы. Пуля падает тут же. Ударившись о кирпич, она развернулась в свинцовую розу (я храню ее у себя до сих пор).

Другой раз дело обошлось не так благополучно.

«По комора́м!» — раздается крик часовых в неурочный час. Что это за внезапная тревога?

Оказывается, в нашем этаже, в камере № 188 — сидел такой же любопытный в окне. На предупреждения часового он ответил руганью. Тот выстрелил — пуля попала в рот арестанту. Мгновенная смерть... Мозг и кровь обрызгали стены...

Помещение сейчас же стали приводить в порядок, а всех арестантов на это время, боясь беспорядка, заперли в камерах.

Какова судьба! Этот арестованный через несколько дней ожидал свободы. Его жена с маленькими детьми пришли «принять» своего отца, и вот, вместо ожидаемой радости, какое тяжкое горе!...

Часовой не мог уже после этого служить — он пережил нервное потрясение. Рассказывали, что он выстрелил необдуманно. Один из помощников начальника прогуливался в это время с барышней — он наблюдал за часовым, и это подзадорило служебную ретивость солдата. —

Сижу в амбулаторной комнате, пишу имена больных. О. Григорий, как милосердный самарянин, обмывает гнойные раны. Каждого старается утешить бодрым словом, шуткой-прибауткой.

Отворяется дверь: вводят под руки, вернее, вносят парня лет 20, с бледным лицом и воспаленным взором. Накануне он был в суде на Мясницкой улице. В перерыве, воспользовавшись моментом, когда часовым принесли хлеб, и они делили его между собой — он выпрыгнул в окно на улицу, с высоты второго этажа. Поднявшись с земли, пустился бежать, но охрана, выскочившая из-под ворот, задержала его. Ноги смельчака оказались раненными в сухожильях — на другой день он уже не мог стоять.

Я смотрел на него. — Бедный, безумный Икар, понадеявшийся на свои восковые крылья![26]) И все же, как характерна эта готовность выпрыгнуть из окна тюрьмы на улицу, «из царства необходимости в царство свободы», эта «способность русского человека на рискованные предприятия!» В этом прыжке есть нечто пророческое: не выдержал русский человек неволи буржуазного строя жизни; очертя голову он бросился в водоворот величайшей в мире революции. Не не погибнет он, — как народ, возлюбивший свободу — ибо и Бог ее возлюбил. — И придет час, когда израненный и измученный, он окажется во врачебнице у милосердного самарянина, который будет возливать на тяжкие раны евангельское вино и елей...

---

[26]) Согласно греческому сказанию, Икар, сын Дедала, полетел на восковых крыльях, но при этом поднялся слишком высоко и близко к солнцу: крылья растаяли — и он упал в море (которое поэтому называется Икарийским).

Иногда, если желанная свобода долго не приходила, арестант объявлял голодовку, так называемую смертельную.

Врач сообщал об этом начальству, и дня через три, обычно, приходило какое-либо распоряжение — о вызове на допрос, о пересмотре дела, а то и об освобождении.

Но были случаи и более сложные.

На прогулке знакомый еврей сообщает мне о новом заключенном, который помещен в карантине.

Он, повидимому, ненормальный — и его собираются перевести в психиатрическую лечебницу.

Больной вызывающе сидит на окне — и просит часового стрелять в него; но часовые уже предупреждены о нем. Он ковыряет штукатурку тюрьмы большим ржавым гвоздем, грозя разрушить таким образом это ненавистное учреждение. Его смертельная голодовка продолжается уже около недели. Но он обладает изумительной силой духа, выходит на прогулку, острит с арестантами. Лицо у него землисто-желтое, черты заострились, виски впали: под высохшей кожей ясно обрисовывается костяк лица.

Это бывший кадровый офицер Н., теперь отказавшийся от военной службы по нравственным убеждениям.

Добившись приема у начальника, этот заключенный говорит с ним дерзко, требуя свободы; в конце разговора он схватывает чернильницу и бросает в начальника.

«Вы, пожалуйста, ничего не просите насчет этого безумца», раздраженно говорит мне начальник вскоре после этого события: «вот видите, пятна на столе — это вчера он бросил в меня чернильницу»... После безрезультатного разговора с начальником, Н. объявляет о своем решении покончить самоубийством. Он уже пробовал повеситься на крюке для лампы — но крюк разогнулся.

Я иду к нему с отцом Георгием.

Напоминаю ему о его матери, которая не перенесет этого удара. «Да вот о матери то я только и думаю... — Это единственное, что меня останавливает».

На другой день после беседы он говорит мне, слегка улыбаясь:

«Вы с о. Георгием устроили вчера «подкоп любви» — и я отложил свое решение... Но сегодня уже окончательно решился»... Он весь нервно возбужден, от него идет какой-то странный, острый запах разложения, очевидно, от голодовки. Я чувствую, что он не шутит, что надо действовать решительно.

— «Михаил Иванович... Вот вы все от людей свободы требуете... А обращались ли вы к Богу с этой нуждой?»

— ...«К какому Богу? Я не верю»...

— «Но тем не менее Он есть, и слышит молитвы».

— «Это ваше убеждение»...

— «Давайте, сейчас обратимся к Нему»...

— «Нет, оставьте меня»...

— «Так вот что», сказал я, вынимая из кармана заранее приготовленный листочек: «вот здесь молитва... прежде чем вы будете кончать с собой — прочитайте ее».

— «Ну, ладно... ладно»... Я кладу бумажку на стол; на ней написана известная «молитва Иисусова»: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня».

На другой день Н. выходит на прогулку. Был ясный солнечный день. Н. улыбаясь подходит ко мне. Слава Богу, он жив! «А я вчера таки прочитал вашу молитву... Но», прибавил он, как бы спохватившись, — «не потому, что верю, а так, из дружбы к вам».

Но послушайте, что было дальше.

В полдень приносят передачу для Н. и в ней письмо от матери, извещающее о том, что Н. получает свободу.

И в эту самую роковую ночь, так сказать, у самого берега свободы, он хотел сам себя утопить.

Поистине, «всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

Еще несколько дней ему оставалось быть арестантом. После голодовки у него развился огромный аппетит, а пища была скудна. Помню такую сцену. Захожу я к игу-

мену Ионе (тому самому, который был осужден вместе с Самариным) и вижу у него на столике кем-то подаренную сытную картофельную кашу, приготовленную на яйцах и масле.

Рассказываю ему о моем знакомом. Он берет кастрюлю с кашей, добрая половина которой еще оставалась, и говорит: снесите вашему другу.

Я с большой радостью принимаю этот дар и спускаюсь вниз, в карантин. Н. сидит на табуретке и рассеянно смотрит в окно, которое пылает заревом заката. Увидев кашу, он весь просиял. «Странное совпадение... А я как раз сижу и переживаю нечто в роде «Вечернего размышления о Божием величестве»[27]).

Через несколько дней ему действительно дали свободу — но сначала неполную: он мог быть в городе целый день, но на ночь должен был являться в тюрьму.

Место его службы (гражданской) было недалеко от моего дома. И он наведывался к моим родным, приносил и письма. Как радостно было видеть его, когда он входил в камеру и указывал на торчащие карманы военной куртки! «Ну, сегодня несу вам братскую любовь»... так он называл письма. Эта оригинальная и самоотверженная почтовая служба продолжалась довольно долго. Но... до поры кувшин воду носит.

Однажды, встречаю Н. днем. «Что же вы так рано вернулись?»

— «Не вернулся, а меня вернули, и «братскую любовь» забрали — и вот теперь ожидаю резолюции».

Положение создалось крайне неприятное. И я в числе других был виновен. Мы решили написать начальнику тюрьмы письмо с объяснением в защиту Н.

Но, к счастью, на другой день пришло полное освобождение Н., а начальник не хотел создавать нового дела; может быть, рад был избавиться от беспокойного человека.

---

[27]) Известная ода Ломоносова.

Ночь... Тюрьма спит... Сны и грезы! — Они тоже особенные в тюрьме. Снится дом и родные, снится свобода, а кое-кому и побег. Более удалые из заключенных сами себе добывали свободу... За время моего пребывания было шесть случаев побега.

Однажды, утром, входит в камеру необычайная комиссия — в сопровождении часового тюремный слесарь; он перестукивает все болты железной решетки, проверяя, нет ли где приготовлений к побегу. А причина в том, что побег уже состоялся сегодня ночью. При вечерней поверке арестант был налицо, но утром на его койке оказалось чучело, сделанное из тюфяка. Сам же обитатель камеры исчез в окно. Ему удалось просунуть голову в отверстие решетки — а вообще, как утверждают арестанты, если можно высунуть голову, то и все тело, конечно, не без мучительных усилий, можно отправить туда же.

Так объяснили его побег.

В другой раз бежала целая партия в 9 человек вместе с Г., упомянутым выше вожаком воров.

Они были назначены на работу на газовый завод — и сумели в благоприятный момент скрыться.

Троим удалось бежать во время рубки дров в сарае около кухни. Часовой был тут же и слышал стук топоров. Но хитрость состояла в том, что в момент, когда часовой удалялся, топоры ударяли не по дровам, а по окну. В результате нескольких часов упорной работы, рама подалась. И все трое скрылись в заранее приготовленное место в деревянном заборе заднего двора, оторвав ранее замеченные слабо прибитые доски.

Всех подробностей побегов, конечно, не передавали. Мы знали только основную сущность факта.

Говорили и о таком случае (это было не при мне, если вообще это было) — как один арестант уцепился снизу за телегу, которая выезжала из тюрьмы в вечернее время — и он был вывезен вместе с телегой за ворота.

Рассказывали, как в день, когда тюрьму посетила рабоче-крестьянская инспекция, какой-то заключенный,

очевидно не лишенный сценических способностей, взяв портфель, прошел решительным шагом ворота, при чем на вопрос часового отрывисто сказал: «Рабоче-крестьянская инспекция»...

Это, может быть, относится и к легендам, но почти легендарный и в то же время действительный случай через некоторое время поразил всех нас своей дерзостью и смелостью — это был знаменитый побег шести эсэров из нашей тюрьмы.

В тюрьме был театральный вечер. Играли заключенные. Представление шло в бывшем помещении церкви, теперь переделанной в театр. В числе заключенных были и недурные артисты — так что на зрелище собрались и высшие советские служащие, и почти все начальство тюрьмы потянулось туда же. Бедное начальство! Оно чувствовало себя всегда между молотом и наковальней. Недаром в альбоме, в который один из заключенных собирал афоризмы более выдающихся арестантов, кто-то написал: «Самый несвободный в тюрьме человек это — начальник тюрьмы».

И на этот раз маленькое театральное удовольствие, которое он хотел себе позволить, дорого ему обошлось.

Пока шло представление в театре, очень решительные актеры разыгрывали другую сцену в канцелярии и у ворот.

В кабинет начальника, где сидел дежурный помощник, входит группа людей; один из них, направляя на помощника блестящее дуло (злые языки даже говорили, что это была шлифованная ножка кровати), — кричит: «руки вверх!»

Оставалось повиноваться. Затем отбирается оружие, перерезывается телефонный провод.

К воротам, с целью их открытия, подходит уже раньше один из участников побега в красноармейской форме (на голове у него шлем, так называемая единорожка, со звездой, — все как следует) — и заявляет, что он идет из

театра. Все шестеро скрылись... Лишь через долгое время поймали и то только троих из бежавших.

Ну, разумеется, на другой день пошли молотки стучать, как дятлы, по всей тюрьме. Назначена была ревизия. Начальник слетел.

Пришли к заключению, что не обошлось без подкупа сторожей, которые сквозь пальцы пропустили при передаче красноармейскую шапку и т. п. Пошли обходом по всей тюрьме, приказывая всем заключенным сдать имеющиеся у них деньги.

Это сослужило мне некоторую службу.

Оказывается, что деньги можно было передать родным, так что они или кто-либо из знакомых могли прийти и под расписку взять в конторе деньги, числящиеся за данным арестантом, и притом в присутствии последнего. Таким образом я наконец получил нечто в роде свидания, ибо оффициально последнее, как я уже говорил, мне было запрещено. Пришла одна из моих учениц. Она, оказывается, несла уже полгода на себе неблагодарную задачу доставлять мне питание от моих родных — с другого конца Москвы.

Сама же она жила недалеко от тюрьмы.

Не могу не вспомнить с теплой благодарностью эту самоотверженную помощь. Сестра моя рассказывала мне потом, что однажды в ливень она, эта девушка из интеллигентной семьи, пришла босиком за передачей: ибо в обуви было немыслимо итти через бурные уличные потоки.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ.

То, что произошло с бывшей государственной Церковью в целой России, то в малом масштабе случилось и в тюрьме. И здесь была при старом режиме маленькая правительственная церковь. Но теперь ее превратили в театр. Не потому ли, что мы раньше церковь превращали

в зрелище, на котором присутствовали не как молельщики и усердные прихожане, а лишь как зрители?

Бывшие православные люди теперь закрашивали лики святых на стенах тюремного храма и писали с неменьшим усердием и, может быть, вдохновением картины из народной поэзии.

Те, кто исповедывал веру в Бога только по приказу, теперь исповедывал по приказу неверие. Из моей камеры виднелась крыша бывшей церкви, и на ней красовался большой железный крест. Долго и старательно трудились на крыше усердные русские люди, усиливаясь снять этот крест. Дни проходили, но крест стоял нерушимо — и некоторые в тюрьме даже высказывали веру, что таинственная высшая сила этому препятствует. Но нет, никакие высшие силы не препятствуют полному выявлению свободы человека, пока еще длится «день человека», и крест был снят. Вспоминается из поэмы «Двенадцать» А. Блока, как в опьянении буйством свободы революционеры свергают с себя иго всякого священного авторитета, иго креста. Слышится во мгле петербургских улиц жуткий треск пулемета —

Тра-та-та...
Эх, без креста!...

Но как там, в большой России, так и здесь, в России маленькой, огражденной железной решеткой — часть православных остается верной своей религии и после падения государственного величия Церкви; и, чем больше отвержения и поругания переживает Церковь со стороны мира, тем больше русская душа прилепляется к ней.

И уже в том состоит очищение церковной общины, что отходят от нее лицемерные элементы, раньше примыкавшие к ней только из корысти и мирских выгод, которые давала принадлежность к оффициальной церкви.

Согласно желанию заключенных, богослужения были разрешены, и для них было отведено в тюрьме школьное помещение. Это небольшой светлый зал, со школьными

скамьями. На боковых выступах стен нарисованы портреты: слева — Карла Маркса, справа — Троцкого.

Обычно, при входе в церковь рисуют херувимов или апостолов.

Во время богослужения пение «Херувимской» уносило мысль в мистические, нездешние миры — «всякое ныне житейское отложим попечение»...

В эти минуты странно было видеть перед собой эти два слишком земные напоминания — но верю, что и это было не случайно. Нужно Церкви помнить о земле, о правде труда, о лжи и неистовствах эксплоатации, и вот волна революции прибила к берегам храма эти символы земного, слишком земного.

Верю, будет некогда день великого синтеза, слияния и сочетания земного и небесного, и тогда мы поймем, что рука Божия была и в этом загадочном процессе революции — ибо «Бог заставляет прославлять Его и тех, кто не хочет Его прославлять».

В этом импровизированном храме не было иконостаса — средостения, разделяющего мир от клира, прихожан от духовенства.

И это в свою очередь служило сближению религии с жизнью— небесного с земным. Много церковных споров и горячих протестов было направлено на эту реформу. Уже Патриарх Тихон разрешил некоторым московским священникам служить при открытых царских вратах — но это вызвало споры, и позднее было отдано распоряжение об отмене этой маленькой реформы.

Но здесь в тюрьме жизнь безболезненно произвела реформацию (можно бы сказать — операцию) в Церкви и не только открыла царские врата, ведущие в алтарь, но устранила и самый иконостас. И все молящиеся оказались в алтаре, в Святом-Святых православного храма. Вот стол, покрытый белой скатертью, и на нем чаша для совершения Тайной Вечери, крест и Евангелие... Все просто, как, может быть, было в первохристианских катакомбах. Семисвечник сделан арестантами из дерева.

Служит обычно митрополит Кирилл, обладающий величественной фигурой, высокий, с правильным лицом и широкой седой бородой. Сослужат ему епископы Феодор и Гурий. Тут же стоят — игумен Иона, с сосредоточенным, несколько суровым лицом, и о. Георгий, простой и серьезный. Хором управляет бывший обер-прокурор Святейшего Синода А. Д. Самарин. А как поют! Только страдание может так одухотворить песнопение... Поют многие из предстоящих.

Как много души и глубокого переживания вкладывается поющими в слова Евангелия:

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся,
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть
Царство Небесное».

А те, кто страдает не за идею, а лишь за свои преступления, свое сокрушение выливает в молитве:

«Господи помилуй»...

или в великопостном покаянном вздохе:

«Помилуй мя, Боже, помилуй мя»...

Сзади, у маленького столика, профессор Кузнецов продает свечи. Арестанты любят зажигать их. При тихом их мерцании ощущается теплая, молитвенная атмосфера — что-то напоминающее скит древлего благочестия, иноческого жития.

Приближается Пасха...

Первый год, что я не говею в православной Церкви. Между тем является мысль о том, чтобы принять участие в причащении. Догматически я в этом не совсем уверен, но уж очень располагает привычная да еще так углубленная литургическая атмосфера. Помню, что известный московский священник К. не только не порицал моего «второго» крещения, но даже высказался в пользу крещения взрослых и сказал мне: «Надеюсь, что вы теперь не откажетесь от православного Причастия».

Итак я обращаюсь, как бы в виде пробного вопроса, к митрополиту Кириллу, встретив его на пути в храм. «Владыка... Могу ли я причащаться?»... Но только я должен предупредить, что я крещен по вере, вторично, хоть я православный» — «Да я знаю о вас... Это вас Патриарх Тихон в стихарь посвятил?... несмотря на эту вашу ересь»...

— «Нет, это не совсем так, владыка; он хотел это сделать, но когда я пришел к убеждению относительно необходимости крещения — я предупредил его». — «А это вы хорошо сделали, это честно... Но все же теперь причащаться вы не можете в Православной Церкви... Впрочем, зайдите к нам в камеру, мы побеседуем... Теперь я спешу к вечерне»...

Прежде чем пойти к епископам для беседы, я предложил их вниманию мою докладную записку о крещении, которую я год тому назад представлял Патриарху Тихону. Затем в назначенное время я пришел.

Архиереи помещались в обыкновенной одиночной камере, но в лучшем коридоре второго этажа — где обыкновенно устраивались старожилы тюрьмы «за выслугой лет».

Камера выглядела приветливо и чисто: в окне на солнце красовались букеты цветов — приношение почитателей. От них же поступали хорошие передачи, и, конечно, многие узники пользовались от этого стола.

Митрополит Кирилл сидел на своей койке, в глубине камеры, под окном. Слева помещался епископ Феодор, справа — Гурий. Первый говорил со мной добрым отеческим тоном, два другие, помоложе — оценивали мои взгляды более богословски: «Все это сектантская гордость», сухо и строго сказал мне епископ Феодор. Епископ Гурий обнаруживал склонность к полемике, но говорил более мягко. — «Это большой грех, что вы пренебрегли таинством крещения, совершенным над вами в детстве. Вы должны покаяться — и лишь после этого мы можем допустить вас до причащения». — «Но не можете ли

вы мне, Ваши Преосвященства, привести в защиту крещения младенцев и вообще против моего убеждения основания из слова Божия? Только оно убедило меня, и только оно могло бы меня разубедить». — «Мы привели вам предание Церкви». — Да, но, ведь, на ряду с истинными преданиями могут быть и ложные предания, тем более, что по данному вопросу было в Церкви два противоположных предания. И, ведь, говорит же один из Отцов Церкви, Кирилл Иерусалимский: „И мне, епископу Церкви, ты не должен верить, если я не приведу тебе основания для своего учения из Слова Божия"... «Были ли вы добры просмотреть те ссылки из св. Писания, которые я привожу в своей записке?».

— «Нет, пока еще не было времени», — ответил епископ Гурий.

— «Во всяком случае», сказал я затем, «я передумаю еще раз ваши основания и завтрашний день посвящу этому всецело».

Я простился с ними и ушел.

Следующий день я посвятил посту и молитве.

В результате я изложил письменно то, что было для меня ясно, адресовав свою записку на имя трех преосвященных. Вот ее основные мысли:

Писание убеждает меня, что крещение есть воля Божия. Оно должно быть следствием ранее пережитого решения принадлежать Богу, ибо выражает «обещание Богу доброй совести»[28]). Возвращение к чистому Слову Божию есть путь к возрождению Православной Церкви. Я не могу так покаяться, чтобы признать исполнение воли Божией грехом — ибо это было бы с моей стороны грехом лицемерия. А с таким сознанием подходить к Св. Чаше это значит для меня давать ей лобзание Иуды.

Все это я изложил на другой день епископам — они пожали плечами, но не изменили своего требования.

---

[28]) 1. Пет. 3. 21.

— «Насколько я знаю каноны, меня можно было бы допустить до причастия. Есть правило, разрешающее причащать иноверцев, если они просят причастия в крайней нужде, в опасности смерти и т. п. А мы здесь все в таком положении».

— «Ну, нет, этого правила нельзя отнести к данному положению», сказал митрополит Кирилл.

— «Бог вас наказал тюрьмой за вашу ересь», проговорил вдруг сгоряча один из епископов: «и помяните мое слово: вы не выйдете из тюрьмы, пока не покаетесь»...

Я удивленными глазами смотрел на него.

В следующие дни на прогулках этот же епископ часто заговаривал со мной.

— «А вы, владыка, уже просмотрели места из св. Писания, указанные в моей докладной записке?» спросил я однажды.

— «Да, просмотрел... Если хотите, мы сейчас обсудим каждый из них». И он стал говорить по порядку.

— «Марк 16 гл. 16 ст.: „Кто будет веровать и креститься, спасен будет". Ну, да. Раньше вера, а потом крещение. И у Матфея раньше вера и в Деяниях Апостолов.

Да, да, вы правы... Но вот в чем ваша ошибка. Вы упустили из виду, что Церковь имеет полноту благодати, и она впоследствии «переставила» порядок сообразно потребностям времени — и стала требовать раньше крещение, а потом веру»...

— «Но, владыка,—„Церковь повинуется Христу"[29])... Разве может она в таком случае что-либо переставлять... в заветах Христа?»

— «Подумайте сами», сказал он мне в другой раз: «ведь, если бы мы отменили крещение детей, народ ушел бы от нас».

— «А что вернее?» спрашиваю я: «епископам ли следовать за народом, или народу за епископами?»

[29]) Еф. 5. 24.

«Кончать прогулку!» раздается зычный голос Михеича.

Проходя в толпе в дверь тюрьмы, епископ прошептал мне с едким укором: «Это сатана попутал вас пойти наперекор церковному преданию».

На другой день он опять встретил меня на лестнице и подарил мне большой букет сирени. Очевидно, он хотел загладить боль, которую он причинил мне последними словами накануне.

Да не удивляется читатель, что я достаточно подробно пишу о моих церковных взглядах: это необходимо для понимания излагаемой мною личной истории, но еще больше для ознакомления с большим религиозным движением, которое практически проводит основную реформу Церкви в следующем: в то время, как православная историческая Церковь ставит раньше крещение, а потом возрождение (проповедуя крещение, как источник возрождения) — свободная Церковь ставит раньше возрождение, а потом крещение, видя, что этого требует Слово Божие и что это оправдывается реальной жизнью.

И баптисты и евангельские христиане одинаково исповедуют несостоятельность детокрещения и необходимость для каждого вступающего в Церковь обращения и затем крещения. Эти два течения уже несколько лет тому назад насчитывали свыше 8000 общин.

Уже по одной этой причине каждый, интересующийся Россией, должен сознательно оценивать основы этого движения.

— «А я бы допустил вас до причастия», говорил мне со своей неизменной улыбкой на лице о. Георгий. «Вы бы на исповеди сказали перед Богом, что в этом крещении вы видели волю Божию, и Бог вам Судья».

Итак, я не участвовал в причащении.

Характерно, что в нем не участвовал и игумен Иона. Оказывается, потому, что при совершении таинства вме-

сто вина (с разрешения Патриарха Тихона) употреблялся клюквенный сок.

«Посудите сами», сказал он мне однажды, угощая меня чаем. (Было очень уютно в его чистенькой каморке с мерцающей лампадой).

«Вот богослужебная книга... Прочитайте статью «о веществе таинства»... Видите, должно быть обязательно вино. И, может быть, по грехам нашим Бог отнял его у нас. Разрешение Патриарха Тихона для меня, как православного священника, недостаточное основание... Это соборное постановление Церкви, и только она в целом может его изменить»...

И он неизменно лишь стоял в эпитрахили у престола и прислуживал во время литургии, но не участвовал в причащении.

Верность преданию — это типичная черта русского православного человека, которая создала огромное движение ревнителей древлего благочестия, а именно старообрядческое православие, свободное от государства и гораздо более высокое по нравственным качествам своих исповедников, чем оффициальное Православие.

ПАСХА В ТЮРЬМЕ.

Пасхальная ночь... Москва, сердце России, вся трепещет от радости... Густые волны колокольного звона медным гулом заливают тюрьму: она, ведь, находится на горе. Пасхальная заутреня должна быть в 12 часов ночи, но она откладывается из-за опасения побегов. Лишь в шесть часов утра, когда стало рассветать, стали выводить нас из камер. Уже не гудела Москва, а только звенели в коридорах связками ключей наши телохранители. Народу, как всегда бывает на Пасху, пришло много. С воли прислали пасхальные архиерейские ризы, сверкающие серебром и золотом.

Митрополит Кирилл, весь сияющий, в тяжелой парче, кадит... посылая во все стороны не только фимиам, но и клубы пламени, вырывающиеся из кадильницы. В руке у него красные пасхальные свечи...

«Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» разносится гулом под сводами тюремных коридоров. У многих на глазах слезы, хотя здесь преимущественно суровые, ко многому привыкшие мужчины. Читается знаменитая пасхальная речь Иоанна Златоуста, приветствие всем и вся, и тем, кто постился, и тем, кто не постился, и тем, кто пришел в первом часу, и тем, кто пришел в последний, одиннадцатый час...

Вот и куличи и яйца. Они принесены оттуда, с воли... Меня до слез потрясает воспоминание о великой любви, которая особенно в этот день согрела тюрьму и обвила ее холодные, мрачные стены объятиями братской, нежной ласки.

Всю Великую Субботу, с раннего утра, все несли и несли — яйца, куличи, сырные пасхи, цветы, свечи — и все это тогда, когда Москва голодала.

Несли, может быть, последнее, чтобы бросить пасхальную радость и туда, в сырые мрачные казематы.

Итак, многие плакали. «Люби слезы сии» — вспоминается тихое, умиленное слово старца Зосимы. Это были слезы сладкой грусти, граничащей с радостью Воскресения.

Православие в идеале есть религия воскресения — по крайней мере, русское сердце так его исповедует и переживает.

Пасхальный экстаз способен переплавить тоску в радость, мечи в плуги, устранить все стены и перегородки. О, если бы он не ограничивался короткой пасхальной ночью!

Уже день. Мы идем по камерам. Коммунист К., старший надзиратель — очень суровый, стоит у выходной решетки и считает проходящих. Я вдруг подхожу к нему с возгласом: «Христос Воскресе!» — и троекратно его це-

лую. Он не уклоняется, но отвечает вяло, может быть, потому, что занят счетом.

Прихожу к своей камере. Надзиратель нашего коридора, старый служака, сидит на табуретке, скучный такой. — «Что вы?» — «Да вот... дежурный. Ни домой, ни в храм сходить!» — «Пойдем к нам разговляться», — говорю я ему, увлекая его к себе в камеру. Пришли еще некоторые соседи. Я раскладываю присланные из дому и от друзей куличи, яйца, зажигаю свечу.

Читаю Евангелие о воскресении Христа, потом молитву своими словами и пасхальную:

«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Все христосуемся между собой, дарю им яйца, по обычаю... Ни тюрьмы, ни надзирателей, ни решеток, ни чекистов нет сегодня: все растаяло и сгинуло в лучах восходящего Солнца Воскресения — есть лишь люди — братья, все грешные и все Богом возлюбленные... Только бы обратились к нему!

Кончились пасхальные дни. В церковь опять ходит мало народу. Я объяснял это больше всего тем, что не было во время Богослужения проповеди.

Духовенство ответило мне (даже отец Георгий), что проповеди не говорят из опасения, чтобы не запретили Богослужений. Как жаль! Без живого Божьего Слова *православие,* точнее сказать, — все ценное в нем, прекрасное в мечте и созерцании, не может перейти в *праводействие;* лишь Божье слово рождает души живые; без покаяния и возрождения человека небо не может сочетаться с землей.

СЕКТАНТЫ.

Тюрьма не была бы сколком России, если бы в ней не было так называемых сектантов.

«Скажите пожалуйста», спросил я старика Михеича — «здесь в тюрьме бывали сектанты — штундисты, баптисты и тому подобные?»

— «О, еще и сколько их было!»

— «За что же они сидели? За убийство, пьянство, воровство?»

— «Нет, они сидели за свою веру. А чтобы за такие дела, как убийство, воровство?... Нет, таких не было».

Это сказал старик, прослуживший в тюрьме 35 лет.

Другой, бывший надзирателем в течение 31 года, подтвердил эти слова.

Конечно, были они и теперь в тюрьме — и именно: за отказ от военной службы по религиозным убеждениям.

Одного из таких я случайно нашел в одной из камер. Лежит на койке, изможденный, с лихорадочным румянцем на щеках, с большими горящими серыми глазами. И на работу его не берут — он чахоточный, да и обессилен от голода. Прибыл с этапом; родных нет...

«Сегодня пришла передача на мое имя», рассказывает он, кашляя. «Развернул. Вижу среди вещей табак. Э, думаю, это не мне! Это какому-нибудь однофамильцу. Мне табаку никто не прислал бы. (Сектанты в России не курят и не пьют). Так и оказалось... Прибегает в камеру арестант... — «Ты что же это мою посылку присвоил?» И стал меня ругать. — «Вот она, твоя посылка... Я только раскрыл ее по ошибке». «Ну, то-то, сказал — и ушел, не поделившись даже сухариком»...

Как радостно было и ему и мне найти брата во Христе и соединиться в молитве и чтении Слова Божия!

Он был в германском плену, там под влиянием немецких братьев пришел к живой вере и был крещен в одном из лагерей. Принадлежит к евангельским христианам.

(Всего подобных русских людей прибыло в Россию из плена, как известно, около 2000).

Через несколько дней привели еще одного — этот оказался адвентистом. Молодой здоровый парень, с красивым чистым лицом и голубыми глазами. Крестьянин Вятской губернии.

Его посетил и о. Георгий, принес сухариков.

— «Я их и раньше встречал»... рассказывал он мне в амбулатории. «И что за вера у них! Прямо горят! Помню, ехал я в вагоне — один адвентист стал говорить Слово Божие, ну, прямо, словно бы Он Сам говорил... Так бы и расцеловал его, надел бы на него стихарь и поставил бы в церкви на амвоне[30])... — Только вот жаль — святым не веруют и иконам не кланяются», — добавил он с грустью.

А вот капитан С.; он отказался от военной службы.

Раньше он был толстовцем, но теперь он стал принимать Евангелие в целом — ибо, будучи в одной толстовской коммуне, на практике убедился, что для жизни по Евангелию и особенно совместной — нужно пережить возрождение от Духа Святого через Иисуса Христа (что ясно выражено в беседе Христа с Никодимом).

Он издавал в тюрьме рукописный журнал с оригинальным названием: «Снежный ком».

Идея журнала состояла в том, что каждый должен был приложить от себя на страницы журнала какие-либо мысли, но только положительные и чистые, как снег.

Накануне суда он получил письмо от своей матери — крестьянки. В нем, между прочим, был выражен такой материнский завет: «Лучше тебе, сынок, быть расстрелянным, чем расстреливать народ»...

Ко мне в камеру тоже попал один из евангельских христиан, крестьянин Брянской губ. Причина заключения — тот же антимилитаризм.

---

[30]) Случаи приглашения священниками проповедников из баптистов и евангельских христиан для проповеди в православных храмах неоднократно наблюдались в последние годы в России.

Это был очень простой, малограмотный и малорасторопный, но очень добродушный и наивный парень. Выйдет он, бывало, из камеры на внутренний балкон и затянет на всю тюрьму, как мусульманский муэдзин с минарета мечети:

Мы у берега земного:
Там за бурною рекой
Виден берег жизни новой —
Жизни вечной и святой.

Он был скоро вызван на суд. Резолюция, написанная простым языком (типичным для судьи-рабочего), гласила об освобождении гражданина Т. от военной службы по религиозным убеждениям в виду несомненной искренности обвиняемого (эту бумагу он впоследствии показывал мне в Москве).

ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ В ТЮРЬМЕ.

Читатель помнит, что вскоре после Пасхи я прочел лекцию о красоте — а затем на другой день мне было объявлено о запрещении всякой религиозной пропаганды среди заключенных.

Комиссар, объявивший это мне, повиновался своему ближайшему начальству.

Запрещением я не был ни смущен, ни удивлен. По этому поводу мне вспоминается случай из жизни Л. Толстого.

Однажды, гуляя по Москве, Лев Николаевич заметил, как один караульный солдат гнался с бранью за нищим, который перед тем просил милостыню у ворот Кремля (т. е. в недозволенном месте). В возмущении писатель обращается к солдату с вопросом: «Ты читал Евангелие?» Тот хладнокровно отвечает: «А ты воинский устав читал?»

Так вечное всегда сталкивается с временным, и это не только в России, но и во всем мире. Есть лишь одно

царство, в котором не преследуется Евангелие, проявляемое во всей его полноте — это Царство Божие, но оно еще нигде не выявлено вполне. И именно для того, чтобы оно было выявлено, исповедующие имя Иисуса Христа должны страдать, рисковать и дерзать.

«Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем?» говорят апостолам оффициальные представители религии. Петр же и апостолы в ответ им сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». (Д. Ап. 5. 28. 29).

Это именно д о л ж н о с точки зрения интересов как Церкви, так и государственной власти. Что касается тюрьмы, то до очевидности было ясно, что проповедь Евангелия в этой атмосфере разврата, воровства, насилия, цинизма нужна во всех смыслах — и в нравственном, и в гигиеническом, и в социальном, и в индивидуальном.

Этого требует заповедь любви, завет Христа. «Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми Ангелами». Умалчивать о спасении среди погибающих — не будет ли это величайшим эгоизмом?

С своей стороны Советская Конституция дает право как религиозной, так и антирелигиозной пропаганды каждому гражданину. При чем же тут произвольное, частное требование отдельного чиновника? Одной из характерных сторон русской революции, особенно в пору разрухи, было поощрение со стороны власти частной инициативы, хотя бы в ущерб бюрократическим распоряжениям начальства. Конечно, этой так называемой революционной инициативой можно было и злоупотреблять — но были неоднократно случаи ее положительного использования. Об одном из таких фактов повествовала газета, расклеенная по улицам Москвы, — в своей статье: «Некрещеный паровоз».

В Луганске на рельсах стоял могучий новый красавец-паровоз, только что выпущенный из мастерских за-

вода. Это было в дни катастрофического состояния железных дорог, о чем свидетельствовали на больших узловых станциях так называемые паровозные кладбища, представлявшие скопление негодных машин. Печальная картина! И в эти дни луганский новичек стоял без дела, и только потому, что не приходила из центра бумага о приемке паровоза для движения и о его соответственном номере.

Тогда луганские рабочие поставили сами вымышленный № 102 на паровозе и пустили его в действие — с тем, чтобы впоследствии, когда, наконец, придет бумага из Наркомпути (Народного комиссариата путей сообщения), переменить фиктивный номер на действительный. Это называлось «революционной инициативой» — и всячески расхваливалось в вышеозначенной оффициальной статье.

Может быть, и моя инициатива в тюрьме была коекем понята в этом же духе? Не знаю; но, по крайней мере, никто фактически не мешал мне вести открытые собрания ни в первой тюрьме, ни во второй. В дни после запрещения мне бросились в глаза слова Псалма 26: «Господь свет мой: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?»

Через неделю после запрещения состоялось первое собрание в моей камере — и так продолжалось каждое воскресенье, по вечерам, вплоть до моего выхода из тюрьмы, т. е. около пяти месяцев. И вновь подтвердилось, что «для Слова Божия нет уз».

Правда, камера вмещала только около 15 человек — и тогда сидели на всех трех кроватях, и даже на пороге.

Но тюрьма была пересыльная, и за шесть месяцев перебывало у меня много разного люду.

Притом к тому времени я пользовался уже свободой передвижения по всей тюрьме, и как санитарный помощник, и как работник библиотеки, и просто, как «старожил», снискавший у надзирателей доверие.

О. Георгий с своей стороны посылал ко мне своих знакомых на евангельские беседы.

Хотя, естественно, я не заявлял стражам о наших собраниях, но они, конечно, знали о них, ибо каждый надзиратель знает обо всем, что делается в камере: для этого служил в дверях «глазок», к которому то и дело приближалось «недремлющее око».

Сторожа знали о роде моего «преступления»; я дарил им евангелия и беседовал с ними о Христе.

Я уверен, что они даже сочувствовали нашим собраниям, в особенности, в виду иного рода «собраний», которые происходили в других камерах, — с целью картежа и попоек, что доставляло страже не мало неприятностей.

Приходили на чтения люди самые разнообразные — рабочие, крестьяне, инженеры, студенты.

Спорили мало; слушали сосредоточенно, охотно расспрашивали; приводили сами новых слушателей.

Для меня это была огромная школа, углубившая во мне самом веру в побеждающую силу Божественного слова. И в тюрьме Евангелие оказывалось жизненным и спасительным, и притом здесь более, чем где-либо. Некоторые темы были здесь разработаны мною впервые, между ними — «Смысл страдания» и «Христос и счастье».

Первую я извлек главным образом из книги Иова.

Передо мной была не сытая публика, не праздные спорщики и начетчики, но, так сказать, сам библейский Иов с его разодранной одеждой и главой, посыпанной пеплом; передо мной был также человек с разбитым сердцем и раненой совестью. Из этих горящих глаз и с этих худых испитых лиц глядело само страдание, часто безысходное и безнадежное. Тут были и те, кто страдал за свою неправду и за чужую неправду, и те, кто терпел скорби, повидимому, без всякой причины и без всякой вины, и те, кто страдал за правду, людьми непонятую и гонимую.

Что мог я сказать им? Елейные, душеспасительные слова, высокопарные фразы о несбыточных надеждах?

Эти люди были слишком практичны и достаточно в

жизни разочарованы, чтобы доверяться пустым словам и вымыслам.

Но Божие слово, простое, безыскусственное, лилось на эти раны, как бальзам — и Своею мудростью давало ответы на самые трудные вопросы.

Передо мною сейчас лежит Библия, та самая, которая была со мною в тюрьме; в ней на полях, там, где начинается книга Иова, сохранились заметки о той лекции, которую я тогда читал.

В разных местах Св. Писания я нашел не только глубочайшее объяснение страдания, но и указание путей к его преодолению.

Христос устраняет страдания ненужные, те, которые происходят от греха: Он очищает совесть, освобождает от вины, прощает. О, как чутко прислушивались к этому благовестию Христову русские души, которые честно сознавали так много грязи на своей совести! Ведь, передо мною были и действительные преступники, в техническом смысле этого слова, — потерявшие, по народному выражению, «образ».

Но Евангелие открывало еще большую радость — освобождение от власти греха, первопричины всех страданий: ибо все мы страдаем или за свой грех, или за чужой. Оно раскрывало также и эту величайшую тайну претворения печали в радость, извлечения «драгоценного из ничтожного»[31]).

Приходилось иногда выслушивать задушевную, откровенную исповедь в беседе наедине — и я лишний раз видел, как глубоко жаждет душа человека новой, чистой, преображенной жизни.

Сам Христос, благостный, кроткий, возлюбивший всех до крестной смерти — вот основной и центральный ответ на вопрос страдающей души. На Него то я и стремился направить взоры слушателей. И еще ближе, уже с положительной стороны, мы почувствовали побеждаю-

---

[31]) Иерем. 15. 19.

щую красоту Евангелия при разборе темы: «Христос и счастье».

Если вы хотите проверить различные теории о счастьи, то испытайте их в жгучей атмосфере человеческого горя. И тюрьма служит для этого великим горнилом и некоей опытной станцией. Когда-то я приходил в тюрьму с воли, устраивал религиозные беседы... Теперь мое преимущество состояло в том, что я был один из них, в таком же самом положении, как и они, — и никто из них не мог сказать мне уничтожающие слова: «Хорошо тебе проповедывать! Ты вольная птица. А вот побывай-ка в нашей шкуре, да похлебай арестантских щей с тараканами, да испытай, что значит быть разлученным с родными и брошенным в эту грязную яму!»

Но теперь этого никто не мог сказать — и потому было легко говорить, без всяких кафедральных ораторских приемов и напряжения, говорить просто, по-товарищески. Они, конечно, ценили и то, что я говорю с риском; некоторые из них знали о запрещении моих лекций, знали и то, почему я попал в тюрьму. Простоте моих отношений со слушателями способствовало также отсутствие какого бы то ни было начальства на наших собраниях.

Итак, я излагал им мысли о счастьи. Истинным счастьем должно быть признано такое удовлетворение наших желаний, которое доступно всем, везде и всегда, и которое является благом не только для одного человека, но и для всех его окружающих. Христос ничего не говорит о счастьи в нашем понимании, потому что мы обыкновенно разумеем под этим словом лишь частичные удачи, от которых обычно проистекают страдания для людей, окружающих удачника.

Евангелие же учит в Нагорной проповеди об истинной радости, о блаженстве. Я предложил вопрос — являются ли действительно желанными для каждого из нас радости, указанные Христом («Царство Небесное», «Царство Божие», т. е. господство в нас светлого начала, уте-

шение, наследование земли, «помилование, «Богоощущение», «Богосыновство»)?

И далее — те условия радости, которые указаны в первых половинах стихов — (нищета духом, плач о грехах, кротость, любовь, чистота, жажда правды, изгнание за правду), являются ли они доступными нам и здесь, несмотря на тюремную обстановку?

Да, программа Христа оказалась и желанной и осуществимой и в тюрьме; конечно, всякий соглашался, что сами по себе мы не можем достигнуть, например, чистоты сердца, но та сила, которую предлагает Христос для нашего возрождения, доступна нам в тюрьме не менее, чем на свободе. Да в тюрьме, может быть, она еще ближе нам, чем на свободе — ибо страдание углубляет душу.

И мы иногда переходили к молитве, и тогда я чувствовал, что не человеческие усилия, а Сам Бог может и хочет помочь этим несчастным людям.

Ну, скажите, мог ли бы я тогда прочесть своим слушателям что-либо помимо Евангелия, напр., статью Л. Толстого: «В чем счастье?»

Автор говорит, что условия счастья составляют семейная жизнь, близость к природе и труд любимый, посильный и свободный... Какая уж там природа в тюрьме? И где тут говорить о посильном, любимом и свободном труде в учреждении, которое даже передовой революционный язык называет «домом принудительных работ».

Потому-то я и сказал выше, что Евангелие вышло для меня из тюрьмы более прочным, чем вошло в нее. Оно подверглось огненному испытанию в горниле греха, озлобления и скорби — и вышло оттуда, как золото, очищенное в пламени.

Так как в тюрьме были среди моих знакомых и студенты, то из них через некоторое время мне удалось организовать еще специальную группу, так называемый «библейский кружок» — для систематического изучения Евангелия в связи с вопросами научного характера.

Эта группа собиралась каждую среду. Конечно, ее могли бы посещать и не студенты, но они большей частью были в будни заняты.

Как уже было сказано, никто из представителей администрации нас не беспокоил.

Один раз во время воскресного собрания вдруг отворилась дверь — явилось начальство...

Создался переполох — некоторые, воспользовавшись минутою, ускользнули из камеры. Но это оказалась лишь комиссия по проверке тюремного инвентаря — они пересчитали тюфяки и проч. и удалились, еще извинившись что помешали собранию.

«Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны».

Хотя моя камера вмещала очень мало народу, но от ее тесных размеров вовсе не зависели пределы моей работы.

Я мог бывать во всех камерах, и все (кроме смертников) могли посещать меня. Иногда я был приглашаем в другие камеры для беседы. Входившие ко мне легко переходили на разговор о духовных предметах. Часто они для этого и приходили, зная о моих убеждениях. А иной придет и без этой цели — но разговор о Боге как-то легко завязывался. Этому помогал и высевший над моей койкой текст, как-то присланный мне одним из друзей — простая визитная карточка со словами Христа: «Не бойся, только веруй»...

Тут же был простой крест из темной жести, арестантской работы. Я нашел его в тюрьме. Красовались и некоторые открытки. Одну из них мне прислала мать на Пасху с троекратным приветствием, написанным ее старческой рукой: «Христос Воскресе»...

На ней была изображена известная русская картина: в простой крестьянской избе мальчик играет на скрипке, а его дедушка тут же с недоконченным лаптем в руке

остановился и поник своей седой головой от нахлынувших на душу тяжких дум. (Мать имела в виду мою любовь к музыке — я играю на скрипке).

Другую прислала моя сестра. На ней была изображена «сестра Беатриса», героиня из драмы Метерлинка. Она с нежным сочувствием на лице протягивает большой крест, который надо (мне?) нести.

И еще картинка Рериха — «Спящий город»: над городом летит ангел с трубой, зовущий беспечных людей к встрече Грядущего Дня, «который в огне открывается»... Входящие рассматривали все это, расспрашивали.

Любовь к слову Божию велика в русском человеке.

В одной из камер, куда я был приглашен для беседы, я увидел на внутренней стороне двери большой плакат с текстом: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас»...

Эти слова обитатель камеры, типографский рабочий, сам напечатал в тюремной печатне. «Всегда, когда выхожу из камеры, вижу перед собой эти слова, и они успокаивают меня», говорил он.

Моя камера была удобна для личной беседы еще тем, что я часто был в ней один, когда мои соседи уходили на работу в мастерские. Помню одну такую беседу, которая кончилась тем, что студент в совместной молитве на коленях решил начать жизнь новую, со Христом...

Много личных бесед удавалось вести во время ежедневных прогулок по каменному помосту на тюремном дворике.

СМЕРТНИКИ.

Был в тюрьме один коридор, и на нем царило безмолвие. Я долго не обращал на него внимания, но, наконец, как-то узнал, что здесь помещаются смертники, т. е. осужденные на смертную казнь.

Обыкновенно их приводили из суда и помещали в эти изоляторы впредь до исполнения приговора.

Камеры были весь день закрыты; посещать их никому не позволялось. Когда после поверки всех арестованных запирали в камерах, из канцелярии приходили «брать смертников».

«Брали» со всеми предосторожностями — ибо очень опасались людей, готовых в последнюю минуту на все. Как рассказывали, им связывали руки назад и клали на пол автомобиля-грузовика, чтоб их не было видно... Вокруг сидели чекисты с винтовками.

Когда я узнал о таких соседях в тюрьме, я стал переживать очень тревожное чувство. В первую ночь я не мог спокойно спать. Как!.. За стеной сидит человек, который проводит, может быть, последние часы на этой земле — и не пойти к нему, не сказать ему слова утешения!

На другой день, помолясь, я пошел просить разрешения проведать смертников.

Это было под самую Пасху.

Внизу у «стола» стоит старший надзиратель — коммунист К. Я обращаюсь к нему:

— «Разрешите посетить камеру смертника».

— «Не полагается», сурово отвечает он. «Зачем вам?» — «Я хочу передать Евангелие». — «Ну, вот еще! Сказки все это!» — «Вы, все-таки, позвольте», тихо настаиваю я. «Кстати я передам ему кое-что из пасхальной пищи».

— «Ну, ладно, идите... Но только этот раз»...

И я пошел. Даже и эта дверь отворилась для слова Божия. С тех пор я стал всегда иметь в виду этот коридор.

О. Георгий и другие осведомляли меня, когда приводили новых смертников.

Однажды, когда явилось лукавое сомнение насчет необходимости посещать этих людей — ведь, они изолированы, доступ к ним запрещен и т. д. — я открыл Библию, и «случайно» увидел стих, которого я раньше не замечал:

«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» (Пр. 24. 11).

Эти слова живым укором пронзили мою совесть, обличив меня в скудости любви к ближним.

Вскоре и внешние обстоятельства изменились в мою пользу. Коммунист К. скоро уехал в отпуск. В коридоре смертников оказался старшим хорошо знавший меня надзиратель. Впоследствии он даже давал мне ключи, не желая подниматься с насиженного места, и ворча говорил: «Ну, вот, пошел поп по приходу!»

А с тех пор, как я стал помогать библиотекарю, я получил и законное право ходить в эти камеры для обмена книг.

Смертниками в нашей тюрьме обычно были обвиненные в убийствах или хищениях.

Вот три железнодорожника, обвиненные в продаже казенного продовольствия. Они расхитили 160 пудов рису, и вина их усугубляется тем, что время голодное, катастрофическое. Один из них — полный господин, лежит без пиджака на койке и что-то читает. Другой жилистый, худой брюнет, сидит на койке и рассказывает мне всю их историю. У окна лицом к двери сидит юноша лет двадцати; он не может говорит, смотрит так жалостно, и слезы струятся непрерывно по его щекам.

Они были «взяты» очень скоро.

В другой камере — братья-разбойники Л. Оба из крестьян, но один из них служил на почте где-то в провинции. У него пятеро детей. Оба красивые, здоровые, кровь с молоком. Они нападали на проезжих крестьян, убивали их, сани сжигали, а затем продавали лошадей.

У бывшего чиновника интеллигентное, вдумчивое лицо.

Он читает книгу, которая оказывается Евангелием. «Где вы достали Евангелие?» спрашиваю я. «А тут в камере кто-то оставил». Он подает мне книгу. На ее первом листе надпись красными чернилами:

«Милому Андрюше от любящей матери»...

Сколько говорят эти простые слова! О, они написаны не чернилами, а кровью и слезами, которыми мать опла-

кивала свое родимое дитя. Знать, вымолила она у Бога для своего сына светлый путь в иной мир, а Божественное Слово претворило тернии последних минут в святые слезы!

— «Ну, как же вы?»... говорю я к Л., не зная, с чего начать.

— «Я не тоскую... Может быть, нас еще помилуют... И тогда мы постараемся честным трудом загладить свои вины... А если не пощадят, так тут вот написано: Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь. — Это у Луки в 12 главе».

Слова эти он, к моему удивлению, сказал наизусть и почти без ошибки — видно, он впился в них своим вниманием, ибо реял над ним бледный образ смерти.

— «Мы сегодня утром были в камере у архиереев и причастились св. Таин. Мы приготовились»...

Глубокое, духовное напряжение очистительным огнем прошло через его сердце, и лицо его, красивое от природы, стало прекрасным, одухотворенным: темные глаза, те самые, которые загорались недавно в минуты убийств животным блеском злобы, теперь горели тихим светом.

Обычно казнь совершалась в течение 24 часов по объявлении приговора, иногда через несколько дней — как было с братьями Л. Но были и такие смертники, которым давалась неопределенная отсрочка — и она тянулась месяцами. Вот эти страдали особенно, постоянно и длительно находясь между жизнью и смертью и страшно нервничая. Один из них, измученный долгим ожиданием, объявил голодовку, требуя или помиловать его, или уже казнить и тем прекратить его бесконечную муку.

— «Сегодня привели известного Соловья - разбойника», сказали мне. «Это страшный человек: у него в приговоре двадцать три убийства».

Фамилия его Соловьев, но народ дал ему кличку «Соловей-разбойник», взятую из былин об Илье Муромце.

Он посажен в ту же камеру, что и братья Л. Я отворяю дверь.

Соловей сидит на койке, опустив голову. Это мужчина лет 40, с широкой костью, бледным мясистым лицом, с неправильными типично-русскими чертами; волосы темно-русые. В глазах усталость, как бывает после бессонной ночи.

Подняв на меня глаза, он спрашивает:

— «Вы кто?» думая, вероятно, что я из канцелярии.

— «Такой же, как и вы, заключенный».

— «Так вы тоже смертник?» Я пытаюсь ответить шуткой: «Да, смертник, — но только с отсрочкой»...

— «Как? Разве вы в нашем коридоре?»

— «Нет... Но, ведь, правда, я осужден на смерть с самого рождения, и не знаю, когда умру, а вы вот знаете». — «Ах, вот что», улыбается он — и эта улыбка отворяет дверь общения. Он протягивает мне бумагу, густо написанную на пишущей машинке. «Вот принесли из Трибунала. Не поможете ли написать прошение о помиловании на имя Цика (Центральный Исполнительный Комитет)?»

Я читаю этот страшный документ... 23 убийства!

Конечно, положение безнадежное, резолюция категорическая... Но я все же исполняю его просьбу и пишу прошение.

— «А вы боитесь смерти?» обращаюсь я к нему.

— «Что-о?» сказал он с явным презрением. «Чего бояться? Пуф!... и готово! Да и то сказать... я смерть заслужил. Не все там в бумаге правда, но я убивал, и меня убьют»...

— «А жизни вы не боитесь?» — «Какой жизни?» спросил он. — «Той жизни, которая после смерти».

— «Ну, какая там еще жизнь? Зароют, как собаку, и дело с концом. Только пар пойдет».

— «Но Иисус Христос утверждает, что есть жизнь души и после смерти тела. В Евангелии написано».

— «Этого я не знаю. Но вы письме́нный человек, я вам верю. Стало быть так». И он замолчал угрюмо и сосредоточенно.

На его раскрытой широкой груди виднелось выжженное порохом (татуированное) большое Распятие.

— «Это что у вас такое?» — «Не знаю... Был обычай такой. Другие делали, и я сделал. Я, ведь, человек неграмотный... Даром, что мне скоро 35 лет стукнет... Ничего я не знаю, ничего не читал».

Он рассказал свою биографию.

Родился в воспитательном доме, не знает ни отца, ни матери. В 13 лет совершил первую кражу, и с тех пор уже 20 лет с перерывами находится в тюрьмах.

— «Если бы вы знали, Соловьев, что значит это Распятие, и верили бы в Него, так вам ничего не надо бы бояться — ни смерти, ни жизни!»

Я чувствовал, что надо говорить прямо, «без подходов», тем языком, который понятен человеку перед лицом глубокой тайны жизни и смерти — языком Евангелия, словами Св. Духа. И он все слушал, не перебивая и не возражая.

И я прочитал ему из Евангелия о разбойнике. Он понял, что и о нем говорит Божественное Слово. Как хорошо, что и такой исключительный и страшный случай предвидит Книга Жизни, и мне было что сказать этому закоренелому преступнику от имени Самого Господа, некогда висевшего на кресте рядом с разбойником!

Этот сидевший передо мною убийца только что признал вместе с евангельским разбойником: «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли»... («Я заслужил смерть», сказал Соловьев).

О, я верю, отозвались в глубине его жестокой души, теперь расплавленной скорбью, слова евангельского грешника: «И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Верую, что и слова вечной Божественной любви, сказанные Христом в ответ разбойнику, достигли сердца моего собеседника:

«И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

Слушали внимательно и братья Л.

Старший из них мне поддакивал и пояснял из Евангелия мои слова. Я передал последнему для чтения вслух книжечку, известный рассказ Жуковского «Капитан Бопп», — где так трогательно повествуется о покаянии, пережитом на смертном одре злым и жестоким морским капитаном, после того как он услышал из уст пожалевшего его мальчика евангельский рассказ о любви Христа.

На другой день я посетил его опять. Он был задумчив и печален. На этот раз я принес ему небольшую картинку — на ней был изображен сидящий Христос, к груди Которого припал кающийся блудный сын. Спаситель в прощающей любви обнимает юношу. Шляпа и посох скитальца лежат внизу, на ступеньках. Это глубоко трогательное изображение было напечатано на обложке одной религиозной брошюры — я нашел ее в большом количестве в той куче бракованых книг, которые были обречены на уничтожение. Я вырезал эту картинку и распространял ее в тюрьме, иногда наклеивал на картон.

Теперь я предложил ее Соловьеву.

— «Кто это?» спросил я его. — «Это Иисус Христос»... сразу ответил он. — «А кто другой?» — «Не знаю»... — «Это вы — Соловьев!» сказал я ему.

И вдруг он схватил бумажку, сжал ее в руке, засверкал глазами и воскликнул: «Вот мой мандат, с которым я пойду завтра на смерть»...

На другой день в 8 часов вечера их взяли всех троих.

Заключенные противоположных камер видели их и рассказывали мне об этом.

Впереди бодро шел Соловьев — он даже весело шутил.

За ним, наклонив голову, шел старший из братьев Л.; младший был бледен, как полотно.

Я записал имена этих бедных русских людей (Павла, Петра и Егория) на полях своей Библии, около тех стихов, которые открылись при этом известии:

«С небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стоны узников, разрешить сынов смерти». (Пс. 101, 20—21).

«Господи Боже наш! Ты внимал им; Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их». (Пс. 98). Они понесли наказание здесь в этой телесной, временной жизни, и сами не возмущались против него; но «Бог, не оставляющий без наказания, прощает вину», если кто обращается к нему от злого пути[32]).

Перед уходом из тюрьмы я посетил еще одного из смертников. Он помещался один в угловой камере, сырой и мрачной. Ему только что принесли передачу — корзинку с хлебом, огурцами. Он радушно угощал меня. Это был тоже железнодорожник. Он был подавлен душевною болью и страхом. Я предложил ему вместе помолиться. Он стал рядом со мной и истово участвовал в произносимой мной молитве, весь в слезах. Как он благодарил за посещение! Был ли он казнен или помилован, я не знаю.

При этих посещениях мне очень пригодились те евангелия, которые я разыскал в числе бракованых книг: я мог передавать их теперь этим несчастным, они брали их очень охотно.

Некоторые изъявляли желание пойти на исповедь к о. Георгию, и я сообщал ему об этом. Сам он не мог посещать изоляторов. Помню, как один из помощников начальника тюрьмы сам проводил одного из смертников в перевязочную комнату, где о. Георгий и совершил таинство Исповеди и Причастия.

Таким образом с о. Георгием у нас было оригинальное сотрудничество: он посылал ко мне слушателей на евангельские беседы, он же сообщал мне о вновь прибывших смертниках. Я направлял к нему тех из них, которые

---

[32]) Я, конечно, против смертной казни. Характерно, что такие различные мыслители, как В. Соловьев и Л. Толстой, сходятся в решительном отрицании смертной казни. См. «Воскресные письма (Немезида), По поводу испано-американской войны» В. С. и «Не могу молчать» Л. Т.

искали последнего духовного утешения от священника. И я знаю, что он умел говорить им на близком им языке о Божьей правде и о Божьем милосердии.

СНОШЕНИЯ С ВОЛЕЙ.

Волей в тюрьме называется весь тот «свободный мир», что находится за стенами тюрьмы. Свидания, как сказано, были мне запрещены. Но все же раза три мне удалось их иметь, правда, не оффициально, в порядке деловых встреч (например, в связи с передачей денег и т. п.).

Но однажды и я был вызван «на свидание». Представьте себе посредине небольшого зала, вдоль его — две перегородки с рядами окон, защищенных густой железной сеткой; по обе внешние стороны решеток стоят заключенные, а внутри, теснясь к этим сеткам, стоят в два ряда пришедшие на свидание — родные и знакомые, матери с детьми на руках, старушки с котомками, монахи. Среди них и надзиратели, зорко наблюдающие за тем, чтобы что-нибудь не было тайно передано.

Гомон и гвалт стоят неописуемые. Все говорят одновременно, и потому человеку, лицо которого перед вами, вы должны кричать, как глухому или как на колокольне.

Таганка — как уже было сказано, тюрьма грязная и беспорядочная (таковы, вероятно, все уголовные тюрьмы) — не в пример Бутырской, политической, где чистота и порядок. Но зато с беспорядком связаны и некоторые льготы. Легче получить записочку в порядке обыкновенной родственной переписки. Однако, с ней я однажды чуть-чуть не попал в неприятную историю, да еще двух непричастных лиц в нее замешал.

Вздумалось мне послать домой в подарок найденную в тюрьме картинку библейского содержания, наклеенную на картон (Даниил во рву львином), да еще письмо в наш христианский кружок со списком религиозных тем, кото-

рые желательно было разобрать в предстоящем полугодии. Весь этот пакет согласился отнести один из ходивших на работу, так называемый полусвободный арестант — он ходил днем работать в одном магазине, и лишь ночевать должен был в тюрьме. Дано было знать одному из друзей о необходимости взять пакет из магазина. И вдруг посланный приходит в тюрьму весь расстроенный.

— «Беда случилась... Наш магазин опечатали, и пакет ваш там же. Придет за ним кто-либо из ваших родных — его задержат, и мне будет плохо. А я как раз уже надеялся на полную свободу... Эх, какая незадача!»

Что ж тут было делать?

У меня с этим заключенным была большая дружба. Не раз он приглашал меня к себе, и мы вместе пели духовные песнопения. У него был хороший слух и знание церковной музыки — как сейчас звучат в моих ушах пасхальные стихиры, панихидные «Волною морскою» и т. п. Вот я и говорю ему: «давайте, помолимся. Бог все устроит к лучшему». Мы преклонили колени. Он широко и истово крестился, хотя и не произносил слов.

«Почтальон», носивший «братскую любовь», согласился пойти в шесть часов утра к упомянутому другу и предупредить его, чтобы он не ходил в магазин. Мастер пошел к своему магазину — и, о радость! — магазин открыт... (и только на полчаса!). Он спокойно вошел, забрал свои инструменты и пакет; никто ни о чем его не спросил.

В этот день мне открылся в Библии стих:

«Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, и спасет меня десница Твоя». (Псл. 137. 7).

Эти слова я подчеркнул и написал против них дату — 7 сент. 1921 г. А как ликовал мой знакомый, переживший столько волнений! Теперь устранено обстоятельство, которое могло бы его сильно скомпрометировать.

Притом он увидел явное подтверждение силы молитвы.

У нас в тюрьме сидел некто Г., который был приговорен к расстрелу и только чудом спасся от него. Он рассказывал следующее. Когда автомобиль вывозил его из ворот тюрьмы, он молился, чтобы Бог спас его. И что ж? Не проехали и ста шагов, как раздался выстрел лопающейся шины. Поставили новую шину. Но через некоторое время лопнула другая шина. Была ночь. Автомобиль должен был дойти до какого-то места за Москвой. Решили переночевать в Чеке.

В эту ночь в сознании Г. возникли новые планы, он потребовал вызвать своего следователя для дачи особых, экстренных показаний — и благодаря им судьба его резко изменилась: смертная казнь была заменена пятью годами заключения.

«Бог вникает во все дела их». «Бог слышит стон узников».

О, как много раз мы в этом убеждались!

Кроме писем, я почти всякий раз при передаче получал цветы от родных и друзей. Цветы шли целой вереницей и приносили в тюрьму радость созерцания недостающей у нас природы. Сколько их перебывало у меня! Были подснежинки. ландыши, сирень, красные маки, васильки, розы, акация, в конце стали появляться астры, «поздние гости отцветшего лета». Цветы были для меня живым календарем, напоминавшим о времени года. Многие арестованные из других камер приходили любоваться пышными букетами. Я почти никогда не знал, от кого они. Но навсегда сохраню благодарное воспоминание о них. Ведь, «память это дивный дар, благодаря которому розы цветут и зимой». Эти чудесные алые, лиловые и лазоревые гости цветут и сейчас передо мною и наполняют душу благоуханием... А тогда они раздвигали мрачные стены тюрьмы и проливали в сердце свежесть лугов, прохладу тенистого леса и шелест желтеющей нивы...

ДОПРОС.

Как я уже говорил, я скоро понял цель моего заключения, но причина, юридическое основание ареста были мне неизвестны. Никакого обвинения мне не было предъявлено. Не было снято ни одного допроса.

Уже во время обыска в моей квартире я заметил, что он производился беспорядочно и формально, и необходимость ареста из него как-то не вытекала.

Вначале, еще будучи в тюремном подотделе Чеки, на Кисельном переулке, я несколько раз писал заявление следователю, который арестовал меня, прося его вызвать меня на допрос и назвать мне мою вину. Мои письма оставались без всякого результата, и я перестал их посылать.

Как я узнал потом, следователь совершенно забросил меня в тюрьме и принялся энергично допрашивать моих друзей, сотрудников и т. д. Почти все московские друзья были допрошены, были также произведены обыски и аресты в других городах. Он расспрашивал моих знакомых обо мне, о моей деятельности, об образе жизни — все показывали, как один. Одного из моих друзей он убеждал так: «Мы узнали, что ваша организация — буржуазно-политическая», на что допрашиваемый ответил: «Если вы мне это докажете, я тотчас же из нее выступлю». Доказательств, конечно, не оказалось.

Другому допрашиваемому он раздраженно сказал: «Я его, вашего Марцинковского, сгною в Соловецком монастыре»...

Но на третий месяц моего ареста этот мой следователь был удален от должности в Чеке, в виду некоторых скомпрометировавших его обвинений.

Дело было передано другому следователю. Это был простой матрос. Он не мог хорошенько разобраться в моем деле и на всякий случай откладывал его.

Позже дошли до меня тревожные слухи, что меня обвиняют в шпионаже, в связи с моей перепиской с друзьями за границей — дело переносится в Верховный Трибу-

нал, и ему будет придан громкий «показательный» характер. Называли даже № моего дела. Говорили, что угрожает расстрел. Но допроса все еще не было.

Однажды, меня вызывают в канцелярию. Новый начальник тюрьмы, коммунист Г., в кожаной фуражке, сдвинутой на затылок, с важным и деловитым видом сидит за столом. Держа в руках какое-то письмо, он сурово спрашивает меня: «Вы в переписке с Сазоновым?» (он разумел бывшего министра).

— «Я с ним незнаком». — «А это что же?» показывает он конец письма, где красуется упомянутое имя.

— «Это однофамилец! Был у меня сослуживец по гимназии, письмоводитель Сазонов». — «Ага!» Затем он передает письмо мне. Я пользуюсь случаем и спрашиваю, почему меня не вызывают на допрос. Он требует мое дело из канцелярии, удивляется и сам медлительности моего следователя и обещает принять меры. (Через полгода я встретил его в Москве — теперь уже он оказался уволенным и находился под судом... Ведь, и тот самый человек — но его нельзя было узнать: такой мягкий, простой и конфузливый. Видно, все мы люди естественнее выглядим в роли подсудимых, чем судей. А так называемый «административный восторг» делает нас решительно не похожими на самих себя).

«Телефонограмма с Лубянки! Вы вызываетесь завтра на допрос», объявляет мне надзиратель. Это было в начале октября, на восьмом месяце моего сидения.

Дело мое перешло в это время уже к третьему следователю, который оказался юристом и дельным человеком. Все внутри меня мобилизуется, мысли, воспоминания собираются воедино, чтобы завтра предстать во всеоружии самозащиты. Начинается беспокойная работа ума, тягостная озабоченность. Вспоминаю завет Христа: «Но вы смотрите за собою: ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят

вас за Меня, для свидетельства перед ними... Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но, что дано будет вам в тот час, то и говорите: ибо не вы будете говорить, но Дух Святый».

И я успокоился: оставил всякие планы и подготовку. Нужно было только «смотреть за собою», чтобы быть в крепком и достойном духовном состоянии «для свидетельства во имя Христа».

А эти бодрые мысли и настроения входили в мою душу постепенно из Слова Божия; оно посылало теперь в нее именно те лучи, которые были нужны и которые глубоко впитывались сердцем, напр., из псалмов:

«Восстали на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о том допрашивают меня». «Ибо вот, они подстерегают душу мою; собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех Мой, Господи».

«Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна».

«Жив Господь и благословен защитник мой».

«Восстань, Боже, защити дело Твое...»

«Господь за меня, не устрашусь: что сделает мне человек?»

«Несправедливо преследует меня, помоги мне». И еще это удивительное ободрение: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, Ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня», говорит Господь (Ис. 54. 17).

И много подобных мест я глубоко воспринял тогда своим тюремным настроением; они подчеркнуты в моей Библии.

Итак я в безмятежном настроении ложусь спать перед завтрашним допросом.

«Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, один даешь мне жить в безопасности».

Утром всех вызванных на допрос отводят в особую комнату, находящуюся у ворот тюрьмы.

Вызывают одного за другим и сдают часовым, которые разводят заключенных к следователям, в Трибунал и т. д. Сижу часа два. Вот уже всех разобрали; осталось нас несколько человек. Объявляется распоряжение: «Не хватило часовых. Назад в камеры». Вот неудача! Значит, опять допрос откладывается на неопределенное время. Часовых, действительно, берут нарасхват: всякий жаждет скорее добраться до следователя и этим подвинуть вперед свое дело.

По дороге встречаю начальника тюрьмы — опять новый, уже четвертый за мою бытность в заключении.

Это подвижный сухощавый человек средних лет.

«Гражданин начальник», говорю я ему. «Вы на днях вывесили распоряжение о том, чтобы всякий, кто сидит свыше 3 месяцев без допроса, заявлял об этом начальнику (в виду переполнения тюрьмы). Я сижу уже восьмой месяц и еще ни разу не был допрошен».

— «Но, ведь, у меня нет стольких караульных»...

— «Как хотите... Я с своей стороны должен предупредить вас, что дело мое дошло до Калинина, и вам угрожает большая неприятность».

— «Ну, что ж я поделаю?» отвечает начальник.

Надо заметить, что мои друзья стали энергично действовать в это время.

Различные христианские общества, целые союзы, как менониты, Совет религиозных общин и групп, союзы баптистов и евангельских христиан, со многими подписями подали ходатайство о моем освобождении.

Один из моих друзей был у Председателя Всероссийского Исполнительного Комитета М. И. Калинина, и он приказал рассмотреть мое дело в срочном порядке.

Стук в камеру. «Марцинковский, идите на допрос»... Схватываюсь, быстро надеваю пальто и иду в канцелярию. Часовой нашелся. Его, оказывается, сняли с караула, у тюремной стены на улице...

Как давно я не видел московской улицы!.. Словно из аквариума вышел на вольный воздух.

Мой караульный оказался старым, «кадровым» солдатом. При нем была винтовка. Он сразу почувствовал во мне неопасного преступника, и мы разговорились... Я подарил ему маленькое евангелие, бывшее у меня в кармане... «И таких людей держат в тюрьме!»... удивлялся он. «Ну, что ж!» шучу я в ответ: «берегут... чтоб не пропали»...

— «А что? случаются побеги во время перехода из тюрьмы к следователю?» — «Случаются... Иной всыплет в глаза соли, нюхательного порошку, а то и прямо песку с земли... а сам давай бежать...» Давно не было у меня такой прогулки. Вольно дышит грудь, приятно видеть знакомые места... вот Варварка, Ильинские ворота, а вот и Лубянка... Входим в Чеку... Оклик часового: «Куда идешь?» — «Привел арестованного»... говорит конвойный, предъявляя бумагу. Идем по бесконечным коридорам, через двор, поднимаемся вверх.

Камера следователя. В передней комнате столы, и на них стучат на пишущих машинках канцеляристы. Кабинет следователя хорошо обставлен. Ковер во всю комнату. Красивая ваза на столе.

Худощавый, туберкулезного вида человек лет 30, с пепельными волосами — сидит за столом. Указывая на стул, предлагает сесть.

Конвойный передает следователю записку. «Можете итти», говорит он солдату.

«Никак нет», отвечает мой страж. «Я не имею права оставлять арестованного».

— «Товарищ! Вы здесь не в Совнархозе[33]), а в Чеке! Понимаете вы это?

— «Но, товарищ следователь, воинский устав»...

---

[33]) Совет Народного Хозяйства.

— «Молчать!» вспылил следователь, стукнув по столу. «Я прошу вас выйти в следующую комнату»... Мой верный телохранитель уходит.

«Напрасно друзья ваши подняли шум», говорит мне следователь. «Я и сам вижу, что делу пора дать ход. Но я только что вступил в свои обязанности. Вы были уже раньше вызваны сюда... Не наша вина, что вас сюда не доставили»...

Дальше следуют некоторые формальные вопросы, сведения о личности и т. п.

— «Вы были у Патриарха Тихона?»

— «Да». — «Когда? С какой целью?»

Я рассказал о богородской истории.

— «А больше не были?» — «Был еще — по вопросу о реформе Православной Церкви».

— «Чего же именно вы хотите? Каково ваше отношение к современной Православной Церкви?»

Мне было ясно, что при этом вопросе он имел в виду политические обвинения, предъявляемые к современным высшим иерархам, особенно в связи с монархическими тенденциями некоторых заграничных церковных кругов. направленными к реставрации в России старого режима и восстановлению господствующего положения Православной Церкви в стране.

— «Свои взгляды я высказал в записке, поданной Патриарху. Сущность их состоит в том, что в ответственные члены Церкви должны быть принимаемы через крещение лишь те лица, которые просвещены евангельским учением и пережили обращение и решение служить именно Христу, а не каким-либо посторонним, мирским целям. На основании Слова Божия, я признаю только сознательное крещение по вере. В согласии с этим убеждением я и сам принял крещение 1 сентября 1920 г. — и этим самым, в сущности, выступил из лона современного Православия, из числа ортодоксальных членов данной

Церкви»[34]). Я не помню точно всех моих слов, но таковы были приблизительно мои мысли. Следователь помолчал. «Я удивляюсь... Вы — философ, и придаете такое значение обрядам». — «Вот именно, крещение имело для меня и тот смысл, что я во имя Христа похоронил тогда в реке свою репутацию и всякое мнение обо мне людей».

Следователь пожал плечами. Он заинтересовался этим вопросом, повидимому, только от себя, и в протокол его не занес. Расспросил о моем отношении к военной службе и, узнав, что я освобожден от нее по религиозным убеждениям Народным Судом, оставил этот вопрос.

Расспросил о Христианском Студенческом Союзе, о его целях и работе, об его и моем отношении к политике.

Говорил он тихо, спокойно, вопросы ставил отчетливо и сущность моих ответов записывал. Эти ответы, повидимому, его удовлетворяли.

Иногда останавливался в раздумьи, прежде чем задать следующий вопрос. «В чем же меня обвиняют?» спросил я прямо. Он встал со стула и стал ходить по комнате.

— Тут, очевидно, произошло недоразумение... Вы сами понимаете... Был сложный момент кронштадтских событий...»

---

[34]) Принимая крещение по вере, я не имел намерения, как сказано выше, выступать из Православия, — я верил в возможность евангельской реформации внутри его и считал даже нужным оставаться в его среде для свидетельства о необходимости личного возрождения и сознательного приема каждого ответственного члена в Церковь. Поэтому формально я не уходил из православия и не делал по этому поводу соответственных заявлений.

Но, конечно, фактически, в силу упомянутого акта с моей стороны, я о к а з а л с я вне данной церкви, ибо она естественно перестала признавать меня своим членом, не допуская до участия в таинствах (таков был взгляд епископов; со стороны отдельных священников наблюдалось иное, более свободное и терпимое отношение). Во всяком случае, я вышел из канонического подчинения церковной иерархии, а следовательно уже не был ответствен за ее действия и в том числе за возможные шаги политического значения. Это, последнее, очевидно, прежде всего интересовало следователя.

— «Да, это я понимаю... В такое время легко допустить ошибку».

— Именно»...

Словом, мне было дано понять, что подозрение в политическом преступлении не оправдалось, и я сижу по ошибке.

— «Поверьте, что нам вовсе невыгодно держать вас в тюрьме. Я с своей стороны стою за ваше освобождение... Но не все зависит от меня... На днях я сделаю доклад о вас на очередном заседании коллегии (Чеки) с моим заключением в благоприятном смысле; но я отнюдь не ручаюсь за положительный исход дела»...

Я сидел и радовался... Испытывал что-то похожее на чувство выдержания экзамена в гимназии.

Надежда окрылила меня, и предчувствие, что она меня не обманет, наполняло душу.

Мы пошли обратно с тем же конвойным.

— «Я все слышал, как он вас допрашивал... Ну, и Чека!» возмущался он. «Диковинные у них порядки! Я строевой солдат, а не из чекистского батальона, и не знаю их правил. По нашему воинскому уставу строго воспрещается оставлять арестованного. Или уже я должен сдать его под расписку. А то, ведь, арестованный может и убежать, а я за него отвечай потом. Ведь, там еще была другая дверь»...

«Да знаете», прибавил он конфиденциально, «мы не оставляем арестованных еще потому, что иной чекист над ними чинит насилие. Требуется ему достать показаний, он берет наган да и стучит им по голове арестованного. Да, были случаи... А ведь часовой отвечает и за неприкосновенность вверенного ему арестованного. Нет, я все-таки сидел в соседней комнате и все слышал, как он вас допрашивал», с видом удовлетворения добавил он.

Опять в тюрьме. Проходят дни. Вот и день заседания коллегии. На другое утро ожидаю с волнением резолюции, которая обычно сообщается в виде телефонограммы. Весь день прождал напрасно. Надежда сменилась пе-

чалью: значит, коллегия решила отрицательно. А тюрьма все работает. Принимает новые партии, вызывает на высылку в Архангельск, в Соловки. С трепетом жду своего имени. Тюрьму разгружают к зиме. Служащий в черной сатиновой рубашке, туго перетянутой ремнем, то и дело приносит к столу ордера из канцелярии. Это пресловутый «ангел смерти».

Ордера исполняются немедленно и беспощадно. Профессор Н., чувствуя недомогание, слег в околоток и надеялся, что там «окопается» от угрожающей ему высылки. Приходит ордер о высылке в Архангельск. — «Я болен... не могу», жалуется он. Приходит врач, осматривает его.

— «Следовать может», — говорит он оффициальным тюремным языком.

Протесты заключенного кончаются тем, что солдат просовывает под него приклад ружья и поднимает его с постели.

Вон уж и второй снег выпал и виднеется на зеленых куполах Донского монастыря. Сижу уже от снега до снега. Ах, как хочется домой, к родным и друзьям! Тогда, признаюсь, впервые жгучая боль проникла в мою душу, до того сильная, что стало болеть и тело. (Еще до того, помню, однажды, пережил особенное горькое чувство несвободы: когда смотрел на решетку, — казалось, она впилась не только в тело, но и в душу).

Я пошел в санитарную комнату, ключ от которой всегда был у меня. Взял с собою Библию.

«Изолью пред Господом печаль мою»...

Открываю Слово Божие... Опять та же история Иова:

«Он еще наполнит смехом уста твои, и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». (8. 21—22).

Эти светлые слова вновь поддержали во мне веру, надежду и бодрость.

Раздается призыв на вечернюю поверку:

«По комора́м!»

Успокоенный иду к себе в свою камеру. После минутного шума, когда все спешат на места, в тюрьме водворяется тишина. Идет поверка. И вдруг прорезывает эту тишину крик от стола:

«106 Марцинковский, на сво-бо-ду!»

Ослепительная молния врывается в мое сознание. Я чуть не подпрыгнул от неожиданной радости. Поистине, «нечаянная радость», сменившая только что посетившую меня скорбь. Слава Богу, что Он словом Своим дал силу пережить уныние и овладеть им.

Не всегда ли так бывает, что в ночь искушений тьма сгущается пред рассветом? Потерпи еще... «Еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя».

«Господи, Тебе единому слава!»

Я иду поспешно к столу. «Пришел ордер на ваше освобождение... Завтра я в первую очередь выпущу вас. В 8 часов утра будьте готовы», говорит мне служащий (он из заключенных). — «Нет, я не тороплюсь... Мне кое с кем надо проститься, так что будьте добры — выпустите меня завтра попозже».

— «Ну, хорошо, тогда к вечеру»...

Старообрядец, живший со мной, возвратившись из типографии, узнает новость и поздравляет меня.

ОСВОБОЖДЕНИЕ.

Суббота 14 октября 1921 года.

Утром приносят мне обычную передачу. Я созываю свой кружок. Мы устраиваем заключительное чтение, вместе молимся. Потом братский чай... нечто в роде агапы... Раздаю некоторые свои вещи. Прощаюсь со знакомыми, с архиереями; посещаю смертников, но, прощаясь, не говорю им ни слова о своем освобождении: по-

добные вести особенно тяжелы для людей, лишенных всякой надежды на свободу.

Время летит, как на крыльях. Вот и вечер.

Меня пропускают в контору тюрьмы.

Здесь стоит группа освобождаемых; они толпятся со своими мешками, чемоданами, сундучками.

Им выдают разные документы.

Служащий подзывает меня к столу: «На-те вот, подпишите». — «Что это?» Вижу, какая-то подписка, обязательство не работать среди студентов. Я возвращаю ему и говорю: «Этого я не могу подписать». — «Ну, что же я тут поделаю? Мне прислали с Лубянки с вашим ордером на свободу... Мое дело только получить вашу подпись и вернуть бумагу в Чеку»».

Я внутренно сосредоточиваюсь, прошу помощи свыше. Беру еще раз бумагу и вижу, что я не совсем хорошо понял. На бумаге написано: «Сим осведомляется гражданин Марцинковский, что он не имеет права вести организационную и агитационную работу среди студенчества».

Осведомление еще не обязательство для совести; такое осведомление я слышал и раньше.

Но все же подписка стесняла меня... «Да, ведь, я же могу заниматься работой, не имеющей политического характера, а именно чисто религиозной деятельностью — в силу Конституции»... сказал я. Чиновник мягко уклонялся от объяснений. Тогда я взял перо и написал: «разумею работу в политическом смысле» — и дал подпись.

Обычно уходящих на свободу тщательно обыскивают — не найдут ли писем и т. п.

Меня пропустили без обыска. Вот уж я стою у ворот. Вот загремел ключ в замке, беззвучно отворилась тяжелая железная калитка. — «Ура! Я на свободе!»... Только тот, кто выходил из душной, смрадной тюрьмы знает, что это за невыразимая радость видеть перед собою отворенную дверь. Это нечто очень значительное, символически говорящее и о внутреннем освобождении...

Мой багаж был уложен в простой деревянный сундучек (арестантской работы); он не давил моих плеч: точно крылья выросли у меня за плечами. Шел мокрый снег, звонко цокали подковы лошадей, но я как будто ничего не видел и не чувствовал... Дорога шла через гору... Я все летел вперед...

Вот Ильинские ворота. Маросейка.

Здесь недалеко знакомая церковка, где служил знакомый мне старец о. Алексей Мечов. Была суббота, время вечерни. Меня потянуло зайти в храм. Окунуться после грязной тюрьмы в иной мир...

Вхожу, как во сне... Поднимаюсь по ступенькам. Складываю вещи у свечного ящика. В этом храме бывает много моих знакомых. Но никто не видит меня. Я стою сзади... Горят свечи, сверкают ризы икон, тихо возглашает священник, тихо и стройно на два хора поют... Какой контраст с тюрьмой!.. И как много в этом пении напоминания о том, что весь мир, лежащий во зле, находится в темнице греха!

«Изведи из темницы душу мою исповедатися имени Твоему»...

Этот возглас так значительно звучит в монастырях, зовущих от мирского зла в пустыни, скиты и леса.

Стою как во сне — и чувствую, как душа, утомленная нравственной грязью тюрьмы, жадно пьет эстетику, благолепие и внутреннюю тишину...

Но и тюрьма — уже сон, странный, причудливый, и темный, в котором светлым лучом зрится близость Христа, как редко она ощущается на воле.

Благословляю Бога за это испытание! Оно дало мне глубокое и непобедимое вовеки откровение, которое врезалось в душу огненными словами:

«Со Христом и в тюрьме — свобода,
Без Христа — и на воле тюрьма».

Я недолго постоял в храме.

Вышел так же незаметно, как вошел.

Итак прихожу к себе в дом.

Вот и наша комната... Какая же она большая! После тюремных камер она кажется просторным залом. Мать и сестра встречают меня. Старушка-мать простирает ко мне руки с ее любимым восклицанием: «Ну, слава Тебе, показавшему нам свет»...

Вот радость! «За такую радость», говорю я матери, — «стоило посидеть в тюрьме»... — «Да», говорит она и смахивает набежавшую слезу. «А мы уже думали, что тебя расстреляют... Но Бог милостив»...

Пришел и муж сестры. Он много хлопотал за меня, и теперь его труды увенчались успехом.

В той же комнате, где мы в день ареста 4 марта, семь месяцев тому назад предали Богу все это дело, там же теперь мы воздали Богу горячее благодарение...

В ту ночь мать стояла бледная, перемогающая волнение — теперь она вся сияет от радости. Кошка, наша общая любимица, соскакивает с печки и внимательно обнюхивает мою одежду и вещи: видно, ее озадачивают незнакомые тюремные запахи.

Итак, я на свободе! Просто не верится... Изо дня в день переживаю одну за другой радостные встречи с друзьями. Получаю поздравления и приветствия. Один знакомый поздравляет меня с выходом «из чрева Китова подобно Ионе».

(Таганскую тюрьму в Москве народ называет «китами»; не в честь ли тех «трех китов», на которых, по народному поверью, мир держится?)

Весело опять пойти по улицам Москвы — благо, начинаются морозы и снег, делающие ее такой прекрасной. Встретил я как-то и своего супротивника, который меня в тюрьму засадил. Идет в шубе, запрятав выбритое лицо в каракулевый воротник. «Здравствуйте!» говорю ему. Он отвечает легким поклоном.

Побывал и в Таганской тюрьме. Какая разница в ощущении!

Вот они — окна с решетками, возвышающиеся над высоким кирпичным забором. Ни признака жизни не видно в них — а сколько там людей, сколько жизненных историй и трагедий!

Постоял с полчаса на морозе в длинном хвосте пришедших с передачами. Некоторые прибыли из дальних деревень «на побывку» к сынам своим... с кульками и мешечками.

Многие неграмотны или не знают тюремных порядков; я пишу заявления и вообще даю советы, как «спец».

Входим в переднюю. Через маленькое окно в перегородке сторож Н., тот самый, который разговлялся со мной на Пасху в моей камере, принимает от меня передачу без проверки. Принес кое-что о. Георгию. Вызвал его на свидание, также и епископа Гурия — передал ему просимое Евангелие на калмыцком языке. О. Георгий сообщает мне новости о разных моих знакомых — этот на свободу вышел, того перевели в Бутырки и т. д.

Вскоре оба они были освобождены. О. Георгий поселился в Даниловом московском монастыре (в том, где погребен Гоголь) и состоит старцем, т. е. дает духовные советы приходящим. Так как он вполне убедил власть в своей аполитичности, то его не беспокоят. Знаю и других православных священников (не из «живой церкви»), из тех, которым удалось доказать свою непричастность к политике — они живут на свободе и работают открыто.

Радость моего ощущения свободы увеличилась, когда я узнал, что и руководительница женского христианского студенческого кружка, сидевшая в тюрьме по тому же подозрению и столь же долго, как и я, была освобождена (в тот же день, что и я); она убежденно православная в старом духе.

Меня подобные случаи освобождения особенно удовлетворяли: это показывало, что власть, по крайней мере,

в лице своих лучших представителей, преследует не религию, а политику под флагом религии.

В данном случае я имею в виду тех духовных лиц, которые принадлежали к так называемой патриаршей «Тихоновской» церкви, а отнюдь не к привилегированной, так называемой, Живой Церкви — основная ошибка которой состояла в том, что она повторила грех государственной церкви, стремясь «приспособиться» к новой власти.

Вообще, в России есть, по крайней мере, три основных вида православия: 1) Тихоновское, 2) обновленческое, сменившее Живую Церковь, и 3) старообрядческое. Судьба их весьма поучительна не для одного лишь историка Церкви.

Старообрядчество, эта многомиллионная русская Церковь, гораздо более благочестивая и строгая в своей вере и нравственности, чем бывшее государственное православие, не подвергалось, как таковое, насколько мне известно, преследованиям со стороны советской власти: и понятно — оно и раньше, при старом режиме, было свободно от государства и даже было гонимо светской властью, при участии господствующей церкви.

Уже в XVII веке оно стало на самостоятельный путь (при Патриархе Никоне, предпринявшем исправление церковных книг и церковных обрядов).

В том же Соловецком монастыре, где томятся теперь епископы бывшей господствующей Церкви, в XVII столетии отсиживались в осаде монахи, восставшие против деятельности Никона и присоединившиеся к сторонникам старой веры: они были сурово наказаны царским войском.

Вожак старообрядчества протопоп Аввакум был сослан и после тяжкого 14-летнего заключения сожжен живым в Пустозерске вместе с тремя своими приверженцами (1681). За ревность и стойкость его недаром сравнивают с Гусом и Савонаролой.

МОИ ЛЕКЦИИ ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ.

Московскую аудиторию я увидел на другой же день после освобождения — и именно в том же зале, где я читал когда-то свою лекцию: «Почему надо верить в Бога?»

Теперь здесь читал доклад религиозного содержания один из моих друзей.

После лекции я был вызван на эстраду и имел возможность впервые приветствовать слушателей, из которых многие знали меня... Я радовался тогда первому случаю засвидетельствовать о том, как верен Бог и слово Его: оно непреложно и действенно при всех обстоятельствах, и на свободе и в тюрьме. И теперь мой тюремный опыт был для моих слушателей новым доказательством жизненности Евангелия.

Он как бы оковал слова Христа, и в таком железном переплете вышло для меня Евангелие из-за тюремной стены.

А какая радость была поделиться своим новым опытом в кружке друзей и братьев, в среде нашего христианского студенческого кружка! «Да он даже физически там поправился!» сказал один медик. Действительно, в сырых подчас камерах тюрьмы я даже не испытывал своего ревматизма. Здесь в небольшом интимном кругу я рассказал о том, как Бог хранил меня, и благодарил их за братские молитвы, которые я так сильно ощущал там в некоторые минуты.

На первом открытом собрании кружка я говорил на тему: «Христос и счастье», подчеркнув то обстоятельство, что откровения Евангелия о радости подтвердились для меня новым незыблемым основанием, ибо пережиты были в тюрьме. Эта тема была плодом моей тюремной жизни.

Еще через недели две мы открывали свой собственный Студенческий Дом. — Это был полуразвалившийся небольшой особняк у Новинского бульвара, который власти предоставили нам под условием, что мы сами приведем его в порядок. И мы с Божьей помощью — взяли его

верою. Мы сами таскали кирпичи, чистили, мазали... Помогали и специалисты... И наконец, после упорной работы, дом был приведен в порядок. (В одной комнате, впрочем, балки были такие негодные, что потолок впоследствии неожиданно провалился — бревна и штукатурка посыпались ночью; но, слава Богу, и, поистине, чудесно, никто из спавших там не пострадал). Нужда квартирная уже тогда была так велика, что мы пристроили даже нары под потолком в коридоре для ночлега проживающих в доме студентов.

И даже знаю такой случай, характерный для тогдашнего квартирного кризиса. Известный мне человек, полковник N., бывший в заключении в Таганке, по освобождении попросился в одну из московских тюрем в качестве воспитателя, ибо за это он мог проживать в одной из тюремных камер (я посетил его там).

Пришел день открытия Студенческого Дома.

Объявлена была моя лекция «Смысл Страдания». Студентов пришло необыкновенно много. Я опять радовался тому, что могу воспользоваться одним из своих тюремных трудов. По поводу открытия Дома я сказал, что его мы хотим посвятить человеческому страданию, и здесь надеемся итти навстречу скорби и нужде молодежи с состраданием в сердце.

О, как хорошо слушатели понимали меня! Хотя немногие знали тюремный опыт, но в это время уже так много было страдания и на воле! Поистине, «вся Россия лишь страданье», и не лежит ли в этом особая любовь Бога к этой стране, которой Он доверяет так много пережить и перенести? И этому русскому юношеству, с его чуткой идеалистической душой, — выпало на долю, минуя счастливую весну жизни, сразу вступить в пору лютых вихрей и бурь...

Кто устоит в эту годину ненастья, безвременья и буреслома без жаркой веры в груди, без Христа в сердце? А с Ним все возможно, и жизнь будет победная, торжествующая!... Юность Христу!... И скорей и всецело, пока

не налетел ястреб времени и не расхитил наших сил и вдохновения!... (Таковы были некоторые мысли моей лекции).

Вскоре я выступил также в московской общине евангельских христиан, в их большом зале, недалеко от Садовой улицы. Я говорил на тему «Даниил» — о мужестве исповедничества, о необходимости, признавая земную власть, «повиноваться больше Богу, чем человекам». Народу было человек 600. После краткого приветственного слова со стороны старца-пресвитера, обращенного ко мне по поводу моего освобождения, все встают и поют гимн свободы:

О, нет, никто во всей вселенной
Свободы верных не лишит!
Пусть плоть боится цепи пленной
И пусть тюрьма ее страшит.

Но мысли, тьмой порабощенной,
Сам Бог любви свободу дал;
И цепи ей, освобожденной,
Доныне мир не отковал.

О, нет, никто во всей вселенной
Нас чести нашей не лишит!
Пускай с враждою откровенной
Толпа позором нас клеймит.

Поднимем знамя правды вечной,
Любовью злобу обовьем,
И честь не в славе быстротечной,
А в торжестве любви найдем.

О, нет, никто во всей вселенной
Не похитит богатств у нас!
Пусть на алтарь борьбы священной
От нас возьмут в жестокий час

И серебро и что имеем, —
Мы совесть чистой сохраним,
Мы тайной счастья овладеем
И ею мир обогатим.

Я впервые слышал этот народный русский мотив, и теперь он рождал в моей груди чувство глубокого преклонения перед народной душой, которая так любит свободу и так страстно, подчас неверными путями, стремится к ней...

О ЕВАНГЕЛЬСКОМ ДВИЖЕНИИ.

Евангельское движение в двух главных своих течениях (евангельских христиан и баптистов) уже ширилось в могучие потоки, напоявшие иссохшую русскую землю Словом Божиим. Измученный отрицанием, исканиями и сомнениями, народ возжаждал чистого, цельного, ясного Слова Божия во всей его нравственной, разумной и сверхразумной, мистической полноте.

Как пример народных религиозных устремлений, я привел бы ту характерную эволюцию, которую пережила к этому времени община христиан-трезвенников под руководством простого русского человека И. Н. Колоскова (в Москве). Сначала, еще при старом режиме, он работал, не выходя из православной Церкви — и скоро прославился как целитель от запоя и других неизлечимых пороков (это засвидетельствовано и русской наукой; см. также книгу Философова «Неугасимая лампада»). Затем он был обвинен оффициальною церковью в хлыстовстве (обвинение было заведомо ложно, и целый ряд общественных деятелей выразил свой протест против этого печатно). После того состоялось его отлучение от церкви. Но это лишь усилило его влияние на народ. Помню его «тайное» собрание на Нижней Хапиловке, в квартале рабочей бедноты — на котором присутствовало до тысячи человек. Но как он вел его! Это была беседа от сердца к сердцу. Простой мужичек, в голубой рубашке с кушаком, с русыми волосами в скобку, «братец Иванушка» словно на тысячеструнных гуслях играл, вызывая в народе то молитвенный экстаз, то аккорды дружного радостного смеха.

Своим не ораторским, косноязычным, но метким народным языком он изъяснял Слово Божие, которое народ жадно пил, как воду или, лучше сказать, как вино радости новой.

У него было тогда до 30 тысяч последователей. Потом он впал в рационализм, стал последователем Л. Толстого, оставил молитву. Дар стал иссякать... и община редеть...

На религиозных лекциях он появлялся с усмешечкой.

Встретив раз меня на лекции Е. Н. Трубецкого (на тему «Смысл жизни») в Синодальном Училище в Москве, он высмеивал передо мной образованных людей (в том числе и лектора), которые наивно верят в Богочеловечество Христа.

И вдруг с ним произошла перемена.

«А знаешь, я заскучал без молитвы»... сказал он мне однажды.

«Дом ли строим, за стол ли сядем — не хватает молитвы. Был у меня на-днях один из братьев-баптистов; он и говорит: «давай, помолимся». Я не молюсь сам, но противиться не стал — и чувствую, как-то на душе ладно — хорошо от его молитвы».

В день Иоанна Крестителя Колосков объявил собрание покаяния. Полный зал народу, преимущественно простого. Женщины в белых платочках: это сестры из общины. Тут же сидят друзья из толстовцев: Сергеенко-младший, М. Трегубов и др. Красуются тексты из сухих кленовых листьев:

«Христос воскресе»... «Унизим себя во имя Его». Братец Иванушка открыто кается в своих заблуждениях. «Три с половиной года я блуждал за интеллигенцией, вслед за Львом Николаевичем, который не принимает Евангелия, как оно есть. А теперь я каюсь в том и верую, что Господь распят за наши грехи и воистину воскрес». И вдруг он запел: «Христос вос-кре-се из мер-твых». И весь зал вторил ему могучим, дружным откликом.

Вскоре община приняла также и крещение по вере.

Помню было «испытательное» собрание. Иванушка пригласил и меня для участия в испытании.

— «Ну, дорогие, кто из вас хочет исполнить заповедь Господа и принять крещение?» Встают один за другим парни, девушки. Встает старушка лет семидесяти. — «А тебе, бабушка, чего? Ты тоже изъявляешь желание?... Разве ты до сих пор не крещена?»... «Уже два раза крещена, братец... Да, ведь, без веры... Один раз по-православному, когда была дитёй, а потом родители-поморы (староверы) пригласили свово священника на осьмом году и крестили меня по своей вере... теперь я хочу уже сама, по своей вере в Господа, Спаса Нашего»...

Характерные черты этой общины — трудовое артельное начало, вегетарианство и отрицание военной службы.

С тех пор, как Колосков стал проповедывать цельное Евангелие, с призывом к покаянию и возрождению, его зал опять наполнился. Даже стало не хватать места. И тогда он выбросил некоторые внутренние стены в доме общины, и стало места человек на тысячу.

Еще во время суда надо мной по поводу моего отказа от военной службы (1919) одна из главных руководительниц этой общины в беседе со мной энергично отрицала чудеса Евангелия; теперь она с огнем вдохновения исповедывала Евангелие Голгофы и Воскресения.

В РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ.

Зимою 1921 г. я был приглашен в село N. прочесть лекцию в местном народном доме. Поехали мы туда вдвоем, вместе с моим другом, студентом Х., у которого я гостил в деревне. Дороги было верст двадцать. Весело было нестись по мягкой снежной дороге, среди сосен и елей, унизанных белыми хлопьями.

Прибыв в село, мы остановились в семье учительницы, пригласившей нас. На другой день после некоторых

затруднений получили в местном исполкоме разрешение устроить лекцию. Тема лекции: «Для чего мы живем?»

Был канун Крещения. Лекция должна была состояться в праздник, на другой день.

Местный священник, о. Михаил, не пользовался популярностью, но на страже Церкви стоял твердо.

Узнав, что лектор придерживается свободных евангельских убеждений, батюшка решил воспрепятствовать собранию.

Он ходил из избы в избу, согласно крещенскому обычаю, с крестом и св. водою, предупреждал, что, вот, мол приехал сектант читать лекцию, так чтоб не шли туда. Говорил и лично со мною, пытаясь вызвать на спор церковного характера. Я старался давать ему лишь ответы и уклонялся от прений. Настало время лекции.

Как обычно, мною стало овладевать волнение, сознание своей слабости. А тут еще хозяйка дома расстроена: «Вот неприятно», говорит: «батюшка всех отговаривал; видно, никого не будет на лекции. Как жаль! А ведь здесь такое безбожие, озорство и хулиганство. В церковь ходят только по большим праздникам. Да вы видели, как они стоят в храме: толкаются, смеются»...

Я пошел в лес, чтобы сосредоточиться. Вспомнил свои любимые места из Нового Завета, которые всегда укрепляют меня перед публичным выступлением: «Кто пребудет во Мне и Я в нем, тот сотворит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего». Сознание своего ничтожества угнетало — но могучая сила таилась в словах: «Сила Моя совершается в немощи».

Зарево заката уже горело за далекими зубцами елового леса. Половина седьмого. Надо итти.

Приближаюсь к народному дому. Кучка крестьян стоит при входе; среди них о. Михаил: «Уж ты, батюшка, побудь на собрании. Не выдай, коли што... Изобличи». Я поздоровался с ним. Вошли в зал. Он был переполнен. Стояли в проходах, сидели на подмостках.

Член наробраза занимал место председателя.

Передо мною была подлинная народная гуща: вырисовывались бороды лопатой и клином, молодые лица в платочках, парни. Присутствовала представительница культпросвета, известная своей агитацией безбожия. Атмосфера была наполнена ожиданием, любопытством, так и горевшим в глазах. В зале от духоты тускло горели висячие керосиновые лампы. Помолясь внутренно, я начал. Редко когда я чувствовал такое воодушевление. Что-то накопившееся в душе и стесненное там тоской и волнением рвалось наружу. Хотелось вылить самые возвышенные мысли и чувства, какие были мне доступны, и прославить Бога, сказать громко о Христе перед лицом той темной деревни, в которой на благодарную почву невежества и грубости усердно бросались лозунги атеизма. «Родная, не оступись!» хотелось сказать от сердца русской душе. Хотя эта лекция была до тех пор читана и приспособлена для студентов (под заглавием «Смысл жизни»), но здесь откуда-то брались слова простые, народные.

Я кончил. Раздались крепкие апплодисменты. Потом начались прения. Первой взяла слово агитаторша.

Чего только не было в ее словах? И «наука давно опровергла Бога, и Христос никогда не существовал, счастье народу даст лишь научное образование, в котором религии не будет места» и т. п.

На ее лице отражалась какая-то наигранная бесшабашность, которая ей придавала храбрости, — она, видимо, чувствовала, что аудитория не на ее стороне: тем и слаб в России атеизм, что он является оффициальным, поддерживаемым сверху.

Ее слова прерывались усмешками. Мне было жаль ее.

Я ответил ей, стараясь обратиться к ее лучшим чувствам, к той ее внутренней стороне, которая, несомненно, и в ней где-то в глубине души жила, потому что, ведь, всякая «душа по природе христианка». Указал ей на главную причину ее атеизма, который, если предполагать его искренность, был сплошь основан на незнании и Еван-

гелия, и исторической, и богословской науки. В заключение я сказал:

«Заблуждаетесь, не зная Писаний ни силы Божией!» это говорил Христос неверующим людям своего времени.

Вы ссылаетесь на плохих христиан, обличая их в неправде. Но, ведь, я не их проповедую, а Христа. «Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?» сказал Христос однажды. Ни народ, ни вы лично никогда не будете удовлетворены без живого, вечного Бога»...

«Теперь, батюшка, ваше слово», сказал председатель, обращаясь к о. Михаилу. Все затаили дыхание. Что-то он скажет? И против кого будет возражать?

Батюшка поднялся с места.

— «Я вполне удовлетворен... Лектор все сказал»...

Говорило еще несколько человек, больше в виде дополнительных вопросов.

Я сказал заключительное слово; благодарил за внимание и просил сохранить в сердце тот ответ, который дает Сам Христос на вопрос о смысле жизни. Темна наша жизнь; мы все, как на распутьи, в страшную ночь... Но сквозь шум бури слышится тихий и ясный голос Христа:

«Я свет миру; кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». «Да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Меня веруйте». Дружные рукоплескания, слова благодарности, просьба почаще устраивать беседы о Боге... были ответом.

Радость наполняла мое сердце.

Я спешил к поезду. Долго было протискиваться сквозь толпу, и я ушел через маленькую заднюю дверь. Дома хозяйка ожидала меня с чаем. Она ликовала:

«Ну, вот, видите, как Бог все устроил. Все вышло к лучшему. Батюшка, выходит, только содействовал успеху лекции. Как вышла эта атеистка, он и видит ясно, где заблуждение, которое надо опровергать... А он вас искал

после лекции — просил благодарить и извинялся», добавила она с торжествующей улыбкой.

На пути в Москву была пересадка.

Места в вагоне было очень трудно найти.

Поезда шли один за другим, переполненные пассажирами, большей частью везущими продовольствие из южных губерний.

Приходит новый поезд, набитый битком. Один из вагонов, товарная теплушка, наполнен студентами: это они «от организации» ездили на льготных началах в Подольскую губернию за хлебом. Мой спутник обращается к ним с просьбой дать нам место. «Некуда, товарищ! И так уж один на другом сидят, как селедки в бочке». Вдруг один из студентов узнает меня: он оказывается моим хорошим знакомым.

«Товарищи! Это Марцинковский, известный лектор Христианского Студенчества Союза. Пустим его».

Согласились и дали место, т. е., вернее, воткнули нас обоих в кучу человеческих тел.

Студентов в вагоне было человек семьдесят. Когда поезд тронулся, один из студентов громко объявляет: «Товарищи, здесь среди нас находится лектор Марцинковский... Он мог бы прочесть нам лекцию о Христианском Студенческом Движении... Эта тема многих из нас интересует... Желаете ли?»

«Просим, просим», раздались голоса.

Я стал говорить, но с большим напряжением голоса, ибо грохот колес товарного вагона, без рессор, заглушал меня...

После лекции начались прения: расспрашивали насчет организации и идеологии движения. Просили еще прочесть что-либо.

Я изложил им в существенных чертах лекцию «Смысл жизни».

Мои слушатели, громоздившиеся вокруг маленькой железной печки, на мешках и лавках, слушали очень внимательно. Потом опять была беседа. И так незаметно прошло часов пять пути до Москвы. Уже стемнело, когда поезд наш подкатил под огромный застекленный навес Брянского вокзала.

В КРЕМЛЕ.

Как известно, Кремль затворился уже в первые дни после октябрьского переворота — и это было большим лишением для Москвы в религиозном смысле. Замолчал Иван Великий, своим медным гулким ударом начинавший в пасхальную ночь перезвон тысяч московских колоколов. Тут опять сказалась печальная судьба соединения Церкви и государства, при которой политический центр сливался с церковным, меч сплетался с крестом, «царь-пушка» стояла рядом с «царем-колоколом». Поэтому-то, стреляя по политическим противникам, красные повредили кремлевские святыни. Эта неестественная, роковая связь распалась как-то вдруг (думаю, и в народном сознании). Помню, как еще в дни собора стояла у запертых Спасских ворот небольшая толпа, ожидавшая пропуска в Кремль. Тут же находится митрополит в белом клобуке с нашитым на нем бриллиантовым крестом. К нему подходит часовой и спокойно-деловым тоном говорит: «Товарищ митрополит, станьте в очередь»... Это обращение тогда как-то никого не удивило.

Зимой 1922 г. мне нужно было пойти в Кремль по поводу легализации нашего Христианского Студенческого Союза.

Данное движение началось в России еще в 1903 году, но с тех пор никогда, несмотря на все усилия, нам не удавалось его легализовать. При старом режиме этому противилась господствующая Церковь, в виду того, что мы

работали помимо ее руководства[35]) и объединяли в своей среде студентов, верующих во Христа — представителей различных церквей и даже не причисляющих себя ни к какой церкви. (Большинство принадлежало к православной Церкви, но были также баптисты, евангельские христиане и лютеране).

Теперь мы решили опять попытаться добиться легализации. Для этого надо итти в Кремль, в отдел Комиссариата Юстиции, ведающий делами вероисповеданий. Идем туда вдвоем. Вход для просителей открыт только через Боровицкие ворота, против Воздвиженки. Требуется специальный пропуск. Дежурный в Боровицкой башне справляется по телефону у заведующего отделом, в который мы идем. Разрешение последовало. Входим. По мосту, ведущему от башни к Кремлю, беспрерывно идут ответственные совработники, служащие в Кремле — большей частью в военной форме, с портфелями. Среди них мои глаза встречают знакомую фигуру Луначарского — в большой шубе с меховым воротником. Он оживленно беседует со своим спутником. Подходим к воротам уже самого Кремля. Опять караульный в шлеме-«единорожке», в длинной шинели с характерными косо-пришитыми на груди полосками, напоминающими древне-русские кафтаны военных людей. Идем под воротами... Кремлевская площадь... Стоят, как и прежде, старинные пушки и пирамиды из ядер. Свален новый строительный материал — очевидно, для какого-то ремонта.

Молчаливо, как немые изваяния, высятся древние храмы — Успенский Собор и Иван Великий. Вот и здание бывшего Окружного Суда.

Опять проверка, выдача пропуска.

Поднимаемся вверх, идем по коридору, ищем комнату с соответственным номером.

---

[35]) Только отдельные, авторитетные для молодежи, представители духовенства приглашались иногда на наши собрания.

Комиссар Отдела, бывший православный священник, сидит перед нами. Лет пять тому назад он принадлежал к группе молодых пастырей-идеалистов, издавал духовный журнал с широкой христианской программой. Теперь он сидит, как «спец», в вероисповедном отделе. На нем простая суконная куртка. Говорит он с нами вежливо, обещает все устроить, предлагая подать заявление.

На его бледном лице какая-то мертвенность и грусть — не то от переутомления, не то от внутренних, более глубоких причин.

Он беседует с нами по поводу предполагающегося изъятия церковных ценностей для помощи голодным. Прием скоро кончается, и мы тем же путем, через те же контрольные пункты возвращаемся обратно.

В ПЕТРОГРАДЕ.

В марте 1922 г. я был вызван в Петроград[36]) для чтения лекций в местном христианском студенческом кружке и в Высшей Школе. Лекции были намечены в четырех высших учебных заведениях, и уже были получены соответственные разрешения от администрации; но в двух из них местные представители партии аннулировали эти разрешеня.

Удалось прочесть лекции в двух учебных заведениях — в Университете (на тему: «Смысл жизни») и в Институте Путей Сообщения (на тему: «Наука и религия»). На первую лекцию пришло столько студентов, что они в ожидании начала разместились в двух аудиториях. К ужасу своему, я лежал больной от сильной простуды и не мог притти в этот раз. Через несколько дней я все же прочел лекцию. Как приятно было читат в том же Университете, в котором двадцать лет тому назад я учился сам! Я рас-

---

[36]) Переименование его в Ленинград состоялось позже.

сказал, как здесь, на студенческой скамье, я пережил свои искания и сомнения... и однажды так унывал, что, переходя Тучков мост в Петербурге, помышлял о воде, как об избавлении от безотрадной жизни во власти тьмы и греха. Потом я нашел Христа, или, вернее, — Он нашел меня. И теперь я за эти 20 лет перешел мост, очень длинный и страшный, и свидетельствую своим юным слушателям, что только со Христом можно перейти мост жизни, ведущий через бурный, гибельный поток.

В Путейском Институте во время беседы, бывшей после лекции, один из студентов сослался на известную книгу шлиссельбуржца Морозова «Откровение в грозе и буре», которая будто бы астрономически доказывает, что Откровение написано не в I веке нашей эры, а в IV веке, и притом Иоанном Златоустом (а не Иоанном Богословом). Слова попросил один из слушателей, который оказался профессором астрономии. Он авторитетно показал, что книга Морозова написана совершенно произвольно, а отнюдь не с астрономическою точностью, хотя бы уже потому, что автор усматривает астрономические термины там, где их вовсе не предполагается.

В свободное время я занимался в рукописном отделении Всероссийской Публичной Библиотеки (бывшей Императорской), работая над вопросом о подлинности евангельского текста.

Когда-то я занимался здесь же по окончании историко-филологического факультета Петербургского Университета, когда писал исследование на тему о Новикове и русском масонстве XVIII в. Тот же директор Библиотеки, престарелый Бычков, любезно показывал мне все, что требовалось для моей работы.

И здесь пригодились мои тюремные знакомства. Архивариус св. Синода, с которым я сидел в одной камере (к тому времени уже освобожденный), дал мне рекомендацию к Бычкову — его хорошему другу. Он повел меня в «святое святых» Библиотеки, где хранится огромная культурная ценность — древнейшая в мире рукопись Но-

вого Завета, codex sinaiticus, Синайская рукопись, названная так потому, что она была найдена на горе Синае (в монастыре св. Екатерины) известным немецким ученым Константином Тишендорфом. Последний принес ее в дар императору Николаю I, который передал ее в Публичную Библиотеку.

Эти драгоценные, удивительно сохранившиеся тончайшие пергаментные листы лежат в изящном ящике красного дерева, прикрепленном к нюпитру. Завернуты они в тот самый простой красный арабский платок, в котором их получил на месте Тишендорф. (При своей работе я пользовался в дальнейшем фотографическим снимком этой рукописи, работы известного Lake).

Библиотека сохраняется в том же виде, как и прежде, только на угловом полукруглом выступе здания, выходящем на Невский проспект, красуются портреты вождей революции.

Между тем, меня постигла серьезная болезнь, о которой я расскажу немного, так как она характеризует тяжелые условия того времени.

Жил я в неотопленной комнате (была зима).

Лекции читал в неотопленных залах (помню, какое угрюмое впечатление произвел на меня роскошный актовый зал Института Путей Сообщения: стены обезображены от сырости, воздух тяжелый, мерзлый)...

Приходя после лекции домой, я сейчас же ложился, даже и в дневное время, в постель, чтобы согреться.

Появилась острая горловая болезнь, затруднявшая речь. Сходил в клинику Военно-Медицинской Академии; врач констатировал атрофический катарр слизистой оболочки горла, который стал распространяться на слизистую оболочку ушей, глаз, носа...

Доктор предписал энергичные меры и сделал предупреждение о серьезной опасности.

При таком состоянии я прочел в Петербурге 15 лекций. Но после этого, уже приехав в Москву, я почти не мог говорить, и погрузился в невольное молчание прибли-

зительно на три месяца. Жизнь в лесу, солнечные лучи, пост и молитва восстановили меня, и к осени я, к великой своей радости, опять мог «служить словом».

Конечно, я побегал по Петрограду, который так дорог для меня своими студенческими воспоминаниями.

Как во сне, иду по Невскому проспекту; захожу в Казанский собор.

Там дальше Мойка, где мы собирались тесной студенческой семьей вокруг П. Н. Николаи, который так задушевно и просто изъяснял нам глубины Евангелия. (Это было лет 25 тому назад).

Иду мимо Зимнего Дворца. Его красная колоссальная громада о чем-то угрюмо молчит. Чего только он не видел своими широкими зеркальными окнами? И патриотические манифестации в Японскую войну, и страшное 9 января 1905 г., когда тысячи народа, доверчиво шедшие ко дворцу во главе со священником Гапоном, были встречены огнем, и многие, многие погибли от расстрела; а дальше — батальоны Керенского, матросы, большевики...

Теперь дворец служит лишь воспоминанием прошлого: он превращен в Музей Революции.

А там Васильевский остров, Университет, Большой проспект. В конце его, в Галерной Гавани, за 26-ой линией, я жил в 1903 году в семье бедного рабочего, в маленькой комнатке за перегородкой. Оттуда каждый день я шагал 45 минут до Университета, на лекции...

Могучая красавица — Нева попрежнему катит свои волны среди гранитных берегов. Переходя через Николаевский мост, останавливаюсь в одном из каменных выступов. В туманной мгле высится гигант Исаакий, а Петр, как и прежде, мчится на медном коне, который перед Невой занес свои передние ноги для прыжка и словно замер на скале...

Теперь другая железная рука поднимает Россию на дыбы и силится вправить ее в новый строй жизни. (В Москве по этому поводу читалась характерная лекция на

тему: «Петр I и Ленин»); за памятником Петра Великого как и встарь, — «...светла Адмиралтейская игла».

И дальше колоссальный Троицкий мост, с версту длиной. В той же стороне виднеется высокий тонкий шпиц Петропавловской крепости.

Оборачиваюсь назад — там в дыму и тумане вырисовываются очертания мачт и труб зимующих пароходов...

Посетил и свободную православную общину протоиерея И. Егорова. Он умер незадолго перед тем от тифа, в декабре 1921 г. Это был известный талантливый законоучитель и проповедник.

Он не примыкал ни к Живой Церкви, ни к Тихоновской, но решил со своей общиной итти самостоятельным путем[37]). Придя к (покойному ныне) митрополиту Петроградскому Вениамину, он заявил ему, что впредь он объявляет свою общину автономной и просит владыку не считать себя ответственным за его действия.

По смерти протоиерея Егорова община избрала на его место бывшего своего диакона в его заместители посредством общего возложения рук, соборне с незримо присутствующим почившим пастырем. Эта община стремится удержать всю мистику православия, даже восстановить чин богослужений, уже вышедших из церковной практики, как, например, панагию, или таких таинств, как «братотворение», когда два члена общины вступают с благословения Церкви в союз личной дружбы. (Об этом древнем обряде дает глубокие объяснения П. Флоренский в упомянутой уже книге: «Столп и утверждение истины»). Богослужение в этой общине совершается на русском языке, в оригинальном переводе священника Егорова. Согласно тенденции общины в молитвах сохранены лишь те имена

[37]) В дни церковной разрухи подобных «автономных» православных священников, независимых от какого бы то ни было епископа и в то же время вполне ортодоксальных, было немало. Один из них называл такую церковную позицию русским пресвитерианством.

Божии, которые указуют на любовь Бога — такие, как Отец, Пречистый Спас. Во всем укладе общины подчеркивается соборная, братская любовь, ибо, по взглядам ее основателя, в последние времена должна открыться Иоаннова Церковь, Церковь любви.

Братская взаимопомощь лежит в основе повседневной жизни. Часто совершается причащение, но при этом вместо вина употребляется вода.

ОПЯТЬ В МОСКВЕ.

К этому приблизительно времени относится моя встреча с И. Д. Сытиным, известным книгоиздателем. Он пригласил, однажды, меня к себе для духовной беседы. Всем известна его история — как он из простого книгоноши-офени, благодаря уму и характеру, вырос в крупнейшего предпринимателя-миллионера. В годы революции его предприятия были национализированы. Сам он был оставлен в качестве управляющего собственной типографией. Я пришел к нему в бюро (на Маросейке). Передо мною сидел крепкий, коренастый старик семидесяти лет. «Вы не думайте, что я горюю по поводу лишения своих богатств. Я, правда, имел чистого дохода пять миллионов рублей золотом в год, но на что я их тратил? Таскался по за-границам, кутил. А главное, совращал русские таланты, покупая их за деньги. И много напечатал такого, чего бы не нужно было выпускать в свет. Верьте мне, когда у меня все отняли, я пришел к Луначарскому, моему давнему знакомому, поклонился ему в пояс и говорю: «Спасибо вам, что освободили меня... Теперь я и о душе своей могу подумать».

И действительно, он переживал глубокий религиозный подъем и желание остаток дней посвятить только здоровой литературе, в которой, по его словам, должны про-

водиться три великих принципа: «вера, любовь и труд».

Он подарил мне на память роскошно изданную книгу в белом сафьяновом переплете (она за несколько лет перед тем вышла по случаю пятидесятилетнего юбилея его издательства) — и сделал на ней трогательную и очень оригинальную надпись религиозного смысла.

Другой раз он позвал меня к себе на квартиру, туда же, где он жил и раньше, у Страстного монастыря. (Там прежде была редакция «Русского Слова», а теперь помещается оффициоз «Известия»). Квартира у него очень хорошая, и мне было совестно, что я не мог снять своих старых высоких ботиков, так как под ними скрывались ботинки весьма ветхого вида; так и пришлось сидеть за чаем, в кругу его семьи, предварительно подостлав под ноги старые газеты. Подобные церемонии в то время никого не удивляли.

В скором времени была устроена моя лекция в московском Высшем Техническом Училище для студентов на тему «Смысл красоты». Здесь я выступал и раньше, до тюремного заключения, на различные темы, в одной из больших аудиторий. Теперь мне дали актовый зал, роскошное овальное помещение с прекрасным роялем, играя на котором мой друг, тот самый артист, который играл и в тюрьме, так тепло и вдохновенно вновь соединил свое искусство с моим словом. Зал был переполнен: студентов пришло человек 600. Я радовался тому, что ко мне вновь вернулся голос. Какая противоположность между этим высоким, светлым залом и полутемным, угрюмым помещением в тюрьме! Но все же тогда я испытывал редкий внутренний подъем.

Старик-профессор подошел ко мне по окончании, поздравлял с освобождением.

ЛЕКЦИИ В ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКОЙ АКАДЕМИИ.

Вспоминаю еще лекцию в Сельско-хозяйственной Академии в Петровско-Разумовском на тему «Наука и религия». Пришло много студентов. Присутствовало восемь профессоров.

Когда я кончил, один приват-доцент, убежденный дарвинист, выступил против меня: он очень подробно рассказывал о новейшем состоянии этой теории; некоторые имена, упомянутые им, были неизвестны мне, как не-специалисту в этой области. Мое утверждение, будто наука не противоречит Библии, было подвергнуто моим оппонентом сомнению. Большая аудитория с чрезвычайным любопытством следила за диспутом. Мои друзья — студенты, способствовавшие устройству этой лекции, говорили мне потом, что они были в большом смущении.

Оратор, окончив свою длинную речь, пошел с кафедры и сел наверху, на последней скамейке. Чем же ответить мне на все эти возражения ученого, вооруженного с головы до ног, обладающего в этой области, так сказать, последним словом науки? Пока он говорил, я просил мудрости у Того, Кто есть начало всякого знания. Затем я сказал так: «Уважаемые слушатели! Я утверждал в своей лекции, что мне неизвестны научно установленные факты, которые бы противоречили Библии. Те же положения науки, которые выдавались за противоречащие Библии, всегда оказывались при более строгой объективной проверке ненаучными.

Теперь я опять утверждаю, что научные положения не противоречат Библии, а противоречащие Библии положения ненаучны.

Библия излагает нам на своих первых страницах происхождение мира (космогонию) и происхождение человека (антропогонию). Мне неизвестны научно установленные факты, которые противоречили бы в этом отношении Библии. Теперь я обращаюсь к вам, уважаемый оппонент, как к специалисту в области естественных наук:

известны ли вам такие объективные факты, которые бы противоречили этим двум откровениям Библии?»

Оппонент сходит с последней скамейки и при напряженной тишине зала заявляет следующее:

— «Уважаемые слушатели! Я должен откровенно сознаться, что я недостаточно знаком с Библией, и потому не берусь ответить на данный вопрос».

Лица моих друзей просияли, в зале наступило оживление, сменившее тяжелую атмосферу.

— «Я с своей стороны повторяю», сказал я затем: «что я Библию по этому вопросу исследовал, и ни одного такого факта не знаю. К этому я должен прибавить, что, беседуя с такими крупными русскими учеными и вместе с тем хорошо знающими учение Библии по данному вопросу, как И. Ф. Огнев (директор Гистологического Института при Московском Университете) я установил, что и им такие факты неизвестны. А это-то я и заявлял», сказал я, переходя теперь, так сказать, в наступление, «и вновь призываю всех вас добросовестно изучать Библию, как источник истины. Незнание ее есть причина многих заблуждений, и в наши дни более, чем когда-либо, вновь подтверждаются слова Христа, сказанные саддукеям Его времени: „Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией“. Я пришел сюда не для полемики, не для защиты каких-либо своих теорий, но для свидетельства об абсолютной истинности св. Писания».

Зал громко апплодировал.

После лекции старик-профессор N., известный ученый — естествовед и дарвинист, был окружен студентами. «Почему же вы не выступили против лектора?» — «Где тут выступать?» замахал старик добродушно руками. «Я ему приведу так называемое «последнее слово» науки, а он, может быть, вчера в каком-нибудь научном журнале прочитал еще более последнее слово — вот тут и спорь!»

На утро мы встретились с ним около паровичка. Он подошел ко мне. — «Ваша лекция была чрезвычайно любопытна. Только вот как я смотрю. Религиозное чувство

имеет в мозгу соответственные центры, своего рода шишечки. У кого они развиты, тот и способен верить»...

— «Профессор», сказал я, «вы знаете, что те или иные органы развиваются в зависимости от того, как мы их питаем, упражняем... Поэтому и в области этих религиозных центров человек свою структуру определяет своими собственными усилиями»...

На это профессор не возражал. Он говорил затем по поводу теории Дарвина, сообщая мне некоторые данные, которые, по его мнению, говорят в пользу теории изменяемости видов. Но вскоре подошел паровичек, и мы с ним распрощались.

В этой же Академии я читал еще лекцию на тему о красоте. К несчастью, паровичек тогда не ходил, и я вместе с пианистом шел туда из Москвы пешком часа два, частью через лес.

Лекция состоялась, как обычно, в той же химической аудитории, но в ней теперь стоял мороз — на столе передо мною была замерзшая вода в эмалированной чашке. Как мне сообщили, в ночь перед этим, благодаря морозу, погибли ценные научные инструменты в лаборатории. Прибывший со мною артист перед игрой должен был согреть свои руки в горячей воде.

В конце 1922 г. там же была устроена моя лекция на тему «Достоверно ли Евангелие». В ней я имел намерение сообщить те выводы, которые я вынес из исследования данного вопроса по первоисточникам (сначала в рукописном отделении Публичной Всероссийской Библиотеки в Петрограде, а затем в специальном кабинете для научных работ в Московском Румянцевском Музее).

Помню оригинальное выступление против меня одного студента. Он говорил как-то через-чур неспокойно, отклонялся от темы и нападал на мою личность, осыпая меня насмешками. Старался говорить остроумно и весело... Я чувствовал какой-то надрыв в душе этого студента и сказал приблизительно следующее: «Есть у человека странная черта. Он смеется не тогда, когда ему весело, а

как раз тогда, когда ему грустно и на душе неладно. Вот и мой оппонент старался маской смеха заслонить свое настоящее душевное состояние. Я не сужу его, но убедительно говорю ему — что он никогда не успокоится, пока не найдет живого Бога... Достоверность Евангелия Христа доказывается лучше всего опытом, который доступен и тем, кто не изучал академической стороны этого вопроса: принимая Евангелие, мы испытываем удовлетворение; отвергая его, мы страдаем»...

К ВОПРОСУ О РУССКОМ ВЕРОИСПОВЕДАНИИ.

Часто ставят вопрос: какое вероисповедание победит в России? Будет ли это западный протестантизм или восточное греческое православие?

Я лично полагаю, что в России будет р у с с к о е х р и с т и а н с т в о — так же, как в Германии есть немецкое, и в Византии было греческое. Притом это будет христианство свободно принятое[38]), а не внушенное сверху, со стороны власти, до известной степени предписанное, как это было в X веке, во время крещения Руси.

Наконец, это будет христианство не X века, а XX века — ибо Дух Святый говорит Церквам и доныне.

Верую, что по-настоящему насытится русская душа лишь вселенским христианством, представляющим синтез, сочетание западной мужественной активности и восточной нежно-женственной созерцательности.

Ценности православия, его некоторые глубокие догматические толкования, его пение и музыка должны быть сохранены и оживотворены той сознательной личной верой, которою богато свободно-евангельское христианство.

Это сознание все больше проникает в сердца верую-

---

[38]) Мысли о свободном религиозном самоопределении я излагал уже в начале 1918 г. в публичной лекции на тему: «Нужна ли нам религия и какая?» (в новой Богословской Аудитории Московского Университета).

щих обеих Церквей. А что евангельское движение способно не только внешне расти, но и внутренно развиваться, об этом свидетельствуют хотя бы следующие факты.

В Москве одно время собиралась маленькая группа из руководителей различных евангельских течений для совместного обсуждения Никео-цареградского символа веры в свете Слова Божия. Я участвовал в ней. До моего отъезда из России мы дошли до X члена, и все единодушно признали формулы Символа веры вполне согласными со Св. Писанием (в нашей среде были представлены — баптизм, евангельское христианство, менонитская община, адвентисты, христиане-трезвенники, Армия Спасения).

На одном из собраний Евангельской общины, во время совершения Тайной Вечери — я, согласно поручению пресвитера, объяснял значение евхаристических хлеба и вина и подчеркивал слова апостола Павла:

«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова» (1 Кор. 10. 16).

В соответствии с этим я привел слова одного из древних церковных писателей: «Видимо принимая хлеб и вино, невидимо, духовно, мы принимаем Тело и Кровь Христовы».

Я призывал также воздерживаться от всяких догматических споров и определений, ибо что может постигнуть плотский ум человека, когда он «вторгается в то, чего не видел?»

И не лучше ли, избегая умствования, рационализма, в глубоком молчании принимать Тайну искупления: «Да молчит вся земля перед лицем Его»; а рассуждать больше о нравственных условиях, об этике преломления, чтобы участвовать в Тайной Вечери достойно? После собрания многие (в том числе руководящие братья) подходили ко мне и выражали свое сочувствие по поводу сказанного; благодарили за новое освещение вопроса, отвечавшее, по их словам, назревшему сознанию членов общины.

22 ноября 1922 г. происходило знаменательное собрание в Московской общине Евангельских Христиан. Целью его было, согласно инициативе Евангельского Союза, объединить в молитве всех христиан, независимо от их церковного направления (включая и православных). Народ прямо ломился в зал, кое-как вместивший около тысячи человек.

Выступали с речами представители разных вероисповеданий.

Присутствовал архиепископ Антонин, священник Б., протодиакон и др. представители православия (не принадлежавшие ни к Тихоновской, ни к «Живой» Церкви).

Общий тон, звучавший во всех речах, был призыв к единству всех верующих.

Пресвитер евангельских христиан предложил всему собранию спеть Символ веры, этот, по его выражению, «прекрасный гимн Христу».

Пение было единодушное, могущественное, потрясающее.

Архиепископ Антонин закончил свою речь свободной молитвой, простой и вдохновенной.

Мне было поручено говорить дважды — в середине и в конце собрания. Я не мог назвать какой-либо общины, представителем которой я являюсь, и я начал так:

«Я верую во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь и дерзаю здесь выступать во имя Главы ее Господа Иисуса Христа. Перед Церковью», говорил я далее, «всегда было два пути: или это было обмирщение, путь великой блудницы, сидящей на звере багряном, т. е. опирающейся на кровавое насилие государства, или это был путь „жены, облеченной в солнце“, путь апостолов, исповедников и мучеников»...

Постепенно в зале нарастал дух единства. Казалось, русская душа, расколотая разными церковными течениями, устремилась к своей собранности и цельности, и, когда пели «Христос Воскресе» (это не была Пасха, но

было вневременное переживание радости Воскресения), — могучий подъем слил всех воедино; казалось, и стены вибрировали в созвучии с нашим пением.

Многие плакали. Одна женщина в молитве со слезами изливала свою радость и благодарение Богу, ибо исполнилась наконец молитва ее сердца — о единстве верующих.

После собрания гостям был предложен чай. Я сидел около архиеп. Антонина.

— «Вы как себя определяете?» спросил он: «баптистом или евангельским христианином?»

— «Я не примыкаю в собственном смысле к какой-либо общине, но в основных взглядах, в частности, в вопросе о крещении я разделяю убеждения этих обоих течений — баптистов и евангельских христиан и потому нахожусь с ними в тесном общении».

ОДЕССА.

Вслед за этим собранием я был приглашен в Одессу для чтения лекций.

Транспорт уже налаживался.

От Москвы до Одессы я ехал приблизительно двое с половиной суток. Добыл билет III класса, с плацкартой и спальным местом. В вагоне было тепло, чисто и светло благодаря электрическому освещению. Я давно так не ездил и, лежа на своей верхней полке, хорошо отдохнул.

И это было очень кстати — ибо в Одессе пришлось прочесть много лекций (всего было за три недели 17 собраний).

Город еще не вполне оправился от страшного голода предыдущего года. Старый профессор университета, которого я посетил, описывал ужасы, свидетелем которых он был. На каждые два—три квартала можно было встретить на улице труп умершего от голода человека.

По утрам их собирали на особые дроги, и человек,

управлявший лошадью, сидел на них запросто, как на куче дров — до того это явление стало уже обычным. Сам профессор, за недостатком топлива, сжег значительную часть своей мебели. Еще и теперь можно было встретить на улицах людей, у которых вместо обуви были на ногах тряпки, обвязанные бечевкой.

В общем разные области России поочереди переживали голод, — и тут сказывался своего рода закон нравственного возмездия. Я помню, как жители богатых поволжских губерний отказывались даже продавать хлеб приезжим голодным из Москвы. Ездивший туда на поправку больной директор одной московской гимназии рассказывал мне, что в Саратовской губернии можно было умереть с голоду среди гор хлеба.

И что же? Года через два нужда в хлебе дошла в этой местности до того, что люди дошли до трупоядения и людоедства.

История голода в России подтвердила истинность изречения: «неурожай от Бога, а голод от людей».

С особенным интересом я посетил в Одессе общину евреев-христиан. Они исповедуют Иисуса Христа, как Мессию, и вообще принимают целое Евангелие.

Они примыкают в настоящее время к Союзу Евангельских Христиан, объединяясь с ним в верованиях. Своего еврейского происхождения они не только не скрывают, но подчеркивают именно то, что, будучи евреями по плоти, они открыто признают Иисуса Христа как Богочеловека и Мессию Израиля и всего человечества.

При старом режиме они сознательно отказались пользоваться государственными привилегиями, присвоенными христианам, обозначали себя, как евреев, в паспорте и подвергались вместе с прочими евреями всем правовым ограничениям, жили только в черте оседлости и т. д.

За это прочие евреи (иудеи) уважают этих евреев-христиан.

С своей стороны русские относятся очень сочувственно к евреям-христианам. Во время погромов многие евреи находили в общине последних надежное убежище.

Устроить в этой общине лекцию с открытым объявлением мне местные власти не разрешили, так что пришлось ограничиться частными приглашениями. Пришло все же человек сто. У общины хороший зал. На входных дверях, на стекле выгравированы на древне-еврейском языке слова из Библии.

Во время собрания поются духовные гимны Христу на ново- и на древне-еврейском языке.

Я читал здесь лекцию на тему: «Христос и евреи».

Молитву произносил старый еврей-христианин. Он рассказывал мне, как он пришел к вере во Христа совершенно без помощи миссионеров или вообще христиан, но исключительно благодаря чтению Евангелия.

Этот проповедник подарил мне Новый Завет на древне-еврейском языке на память. Другой еврей, старик лет 60, человек любящий Христа, горячо молился после нашей беседы с ним. Он бы уже принял крещение, но, по его словам, его удерживает страх огорчить свою престарелую мать.

Эта и другие беседы дали мне лишний раз почувствовать, как жаждет своего Мессию еврейский народ и как он горячо любит именно Иисуса Христа, — только бы мы, христиане, не заслоняли собою Его святой и совершенный образ и свидетельствовали Израилю о Божественной любви прежде всего путем нашей любви ко всем, и к этому народу, в частности.

С другой стороны, атеистическое направление растет и среди еврейской молодежи. Незадолго до моего приезда — некоторыми ее представителями было устроено «комсомольское»[59]) шествие; это было в Судный день (Йом-кипур).

---

[59]) Комсомол — коммунистический союз молодежи.

Они останавливались около синагог с кощунственным криком «Weg mit Gott!» но без видимого влияния на молящихся.

Побывал я также в местном украинском православном храме. (К этому времени образовалась украинская автокефальная церковь). На литургии было полно народу. Иконы были нарядно убраны вышитыми полотенцами согласно местному народному обычаю. Какая-то особая мягкость и поэтичность создавалась задушевной украинской речью.

А какое пение! Особенно потрясло меня исполнение запричастного стиха: пели духовный стих о Страшном Суде, полный священного трепета, тревожно зовущий, будящий беспечную душу от сна...

Мое любимое место в Одессе — берег моря.

Я старался каждый день быть на берегу.

Видел его и в ясный солнечный день, когда изсиня-изумрудные волны с белой жемчужной пеной играли и нежились в солнечных лучах и с тихим рокотом набегали на прибрежные камни. Видел его и в бурную погоду — под темным небом: передо мною поистине было Черное море. Высокие водяные валы, гремя и сверкая, с бешеной яростью бросались на берег...

Я любил подолгу следить за уходящими парусными судами. Вон уж виднеется только белое крыло полотнища, все бледнее и бледнее... и наконец оно растаяло в синеющей туманной дали. Они идут один за другим, туда, в неведомые края... В душе у меня являлось странное чувство, что и я уеду скоро туда же в далекое путешествие. Меня что-то влекло и чудилось в этих неясных перспективах что-то красивое, неизведанное, новое. Впрочем, в этих грезах подсознательно отражалось и действительное приглашение, которое в июле 1922 г. я получил с Запада — меня звали на время туда для духовной работы, для

свидетельства о Христе, между прочим, среди русских, рассеянных на чужбине.

В МОСКОВСКОМ ГПУ.

В середине декабря вдруг приходит ко мне в Одессу телеграмма: «Выезжай немедленно прямым поездом Москву».

Внезапное беспокойство овладело мною: не мать ли умерла? Предаю все на волю Божию и сейчас же снаряжаюсь в путь.

Всю дорогу готовлюсь внутренно ко всяким возможностям.

С бьющимся сердцем приближаюсь к Москве.

На вокзале меня встречает одна знакомая и тихо говорит мне:

«У вас был обыск... Могли арестовать вас в Одессе. Поэтому мы вызвали вас телеграммой в Москву, чтобы избавить вас от этапных переездов и т. п. осложнений».

Дома мне сообщают, что агент ГПУ[40]), производивший обыск, искал меня и успокоился лишь тогда, когда ему обещали вытребовать меня немедленно из Одессы.

Прошел день, два... Мы начали успокаиваться... Может быть, обыском дело и ограничится.

Во время обыска были взяты мои письма, и среди них то письмо, в котором заграничные друзья приглашают меня на Запад. Это вызывало у нас особенное беспокойство, так как опять открывалось поле для всевозможных подозрений в связи с заграничной перепиской.

Через несколько дней после моего приезда вдруг слышим среди ночи тихий стук в дверь — такой деликатный, карандашиком.

---

[40]) Государственное Политическое Управление, созданное на место Чеки.

Отворяем — ...он, в шлеме со звездой, стоит, придерживая одной рукой велосипед.

— «Гражданин Марцинковский дома? Это вы? Вот, пожалуйста, прочитайте и распишитесь». И он протягивает мне книгу для расписок.

«Предлагается гражданину Марцинковскому явиться в ГПУ, Лубянка № 2, комната № такой-то, с предъявлением данной повестки... к 12 часам такого-то дня декабря 1922 г.».

Ну, вот начинается... И в доме опять возникает волнение, беспокойство, строятся предположения.

К этому времени наша внешняя жизнь уже стала входить в нормальную колею. Я опять жил в моей маленькой комнатке. По вечерам мы собирались там вместе у маленькой горящей печки, пили чай, дружно беседовали и в заключение всей семьей молились на сон грядущий... И вот опять тревога... «Что день грядущий мне готовит?»

В назначенный день и час иду на Лубянку. У дверей караульные тщательно просматривают мой пропуск. Поднимаюсь наверх. Ох, эта бесконечная лестница! Недаром сказал Данте: «Тяжело подыматься по чужим лестницам».

Попадаются навстречу служащие с портфелями, «советские барышни», т. е. служащие здесь же телефонистки, машинистки; иногда видишь медленно спускающуюся фигуру священника.

Вот и требуемый этаж. Дальше бесконечные коридоры. В них легко заблудиться. Наконец, вот и дверь с нужным мне номером. Это в отделе по «особо важным делам», — стол, который на местном языке называется «поповско-сектантским».

Вхожу... И не знаю, выйду ли обратно.

Карманы моего зимнего пальто сильно оттопырены: в них вещи, необходимые для тюремной жизни — железная чашка, деревянная ложка, крохотная подушечка,

зубная щетка, мыло и полотенце — все, что в случае ареста необходимо в первое время, «до передачи».

За несколькими столами сидят люди в форме защитного цвета... К одному из них направляют меня. Это мой следователь, человек лет 30, бледный брюнет, с добродушной усмешкой на лице. Говорит со мной вежливо и мягко.

Начинается допрос. Сначала снимаются формальные сведения (где, когда родился и т. д.).

Потом выясняются мои убеждения.

Особенно подробно выспрашиваются мои взгляды на войну и военную службу.

«Вы толстовец?» — «Нет... Мы выступали иногда вместе на публичных диспутах, и потому, вероятно, вы нас смешиваете».

— «Чем же отличается ваша вера?». — «Мы исповедуем целое Евангелие, мы веруем не только в мораль Нового Завета, но и в Самого Христа, распятого, воскресшего и паки грядущего». — «Что же вы можете сказать о толстовцах?»

— «Об этом пусть они вам скажут сами».

— «Как вы относитесь к военной службе?»

— «Как христианин, я отрицаю ее».

— «Вы отрицательно относитесь ко всякой войне?»

— «Да».

Дальше начинаются прения по этому вопросу. Следователь представляет мне разные случаи самообороны, защиты слабых, в частности, защиты «завоеваний русской революции».

С ним было интересно поговорить. Повидимому, и со мной он о многом говорил ради «чистого искусства» — может быть, и для того, чтобы поупражняться в диалектике и защите своих взглядов, а может быть, чтобы лучше выяснить мою позицию; во всяком случае, не думаю, чтобы он расчитывал меня переубедить, хотя в тоне его чувствовалась и эта тенденция.

— «Считаете ли вы возможным открыто призывать солдат бросать оружие?». — «Этого я никогда не делаю.

Я воздерживаюсь от политической пропаганды антимилитаризма... Считаю это нецелесообразным. Если солдат бросит оружие, не желая защищать отечество, а затем дома будет угощать побоями свою жену — то такой пасифизм я считаю противоестественным и вижу в нем просто шкурничество. Если же человек действительно переродился духом и стал ко всем питать любовь и всепрощение, начиная со своих домашних, то он, без всякой пропаганды, будет стремиться исполнять евангельский завет о любви к врагам и не пойдет убивать»...

— «Да, по Евангелию это так»... сказал следователь.

— «А как вы вообще относитесь к государственной власти? Расскажите об этом более подробно».

— «Я признаю власть, я не анархист... Пока существуют зло и грех и люди не возродились через Христа — власть необходима для порядка в обществе. Я различаю три состояния общества: 1) варварское, когда господствует произвол низших инстинктов и насилие; это, так сказать, свобода без дисциплины; 2) государственное — это дисциплина без свободы, точнее, при этом состоянии дисциплина ограничивает злоупотребление свободой; 3) благодатное, — когда люди, возрожденные благодатью через Христа, сами устраняют или ограничивают свои дурные желания, хищнические инстинкты, порождающие насилие, эксплоатацию и т. д. Это Царство Божие, состояние, когда в человеке властвует Сам Бог, и потому тогда уже не нужна никакая милиция, никакое вмешательство государственной силы и внешнего закона. Закон уже написан в сердцах людей — и они сами хотят добра и в состоянии его творить»...

Следователь, человек, повидимому, простой, не очень образованный, прекрасно понял мою мысль.

— «Значит, вы, христиане, хотите всех людей перевести в это третье состояние, в Царство Божие?»

— «Именно... А пока этого нет, необходима государ-

ственная власть. Принцип власти установлен Богом. Без нее в обществе царил бы хаос и торжество грубой силы»...

— «Итак, вы признаете необходимым подчиняться власти?»

— «Да... Но в пределах христианской совести»...

— «Где же эти пределы?»...

— «Ну, вот, например, когда советская власть посылала нас на принудительные работы — чистить улицы, железные дороги от снега, я шел это делать, ибо это полезная для общества работа.

Но когда тот или иной представитель власти запрещает мне проповедывать Евангелие, я не повинуюсь ему, ибо «надо больше повиноваться Богу, чем человекам». Даже ради интересов самой власти я не должен повиноваться таким приказам, ибо религия вообще лежит в основе всякого общественного порядка. И власть, которая, будучи в принципе установленною Богом, идет против Бога, подрывает сама себя, свой авторитет...

Точно так же я не могу пойти по приказу власти убивать моих ближних. Это тоже противоречит моей христианской совести».

Допрос кончается. Наступает решительный момент.

— «Можете итти домой». — «А я уж думал, что вы опять меня засадите... Вот видите, захватил с собой вещи для тюрьмы»...

Следователь улыбается.

— «Если бы это была Чека, то, может быть, тем бы и кончилось... Но так как это ГПУ, то вы должны только дать подписку о невыезде из Москвы. Вот эти ваши письма и бумаги вы можете забрать».

Я вижу среди бумаг заграничное письмо, то, в котором меня приглашают за границу, и прошу вернуть его мне, но следователь не соглашается и говорит: «Оно для нас важно».

Я с чувством некоторого удовлетворения иду домой. Кончилось гораздо лучше, чем мы ожидали.

Но — увы! Через несколько дней опять карандашик тихо стучится в дверь...

И с тех пор пошли постоянные ночные ожидания этого стука.

— «Вы куда?» спрашивают меня знакомые на улице около 12 часов дня.

— «На службу»... говорю я. — «То-есть? Где же вы теперь служите?»

— «А вот служу... в ГПУ»... смеюсь я: «В присутственные часы должен быть там».

ВЫСЫЛКА ЗА ГРАНИЦУ.

В первый день Нового Года состоялся духовно-музыкальный вечер в московской Евангельской общине.

Исполнители много чувства вкладывали в свое искусство. Я играл на скрипке.

И тоже старался через струны передать то, что томило душу — и грусть и протест против несвободы, которая связывает меня.

Завтра опять на допрос, и будет объявлена резолюция ГПУ.

Что за приговор ожидает меня? Но — ничто не может случиться без Божьего допущения.

Певец, при глубокой тишине переполненного зала, поет мощным басом знаменитую песнь, кажется, из времен гонений на гугенотов:

Господь, в моих песнях я славил
И милость Твою и любовь...
Но новою, дивною песнью
Теперь восхвалю Тебя вновь:
То песня разбитого сердца,
Песнь слез, воздыханий, скорбей,
Болезни, нужды и страданий

Тяжелых скитальческих дней;
То песнь изнуренных, голодных,
Покинутых вдов и сирот, —
Тобой сокрушенная воля
Хвалу Тебе громко поет.
То песня приявших мученье,
Изгнанье, позор за Христа,
Отверженных, нищих, гонимых
И верных Ему до конца.
Поет хор великий страдальцев,
И радость звучит в их хвале
Тому на престоле небесном,
Кто слезы пролил на земле.

Публика слушает, затаив дыхание. В конце собрания говорит экспромтом из публики православный протоиерей. Он выражает сердечное сочувствие «братьям евангельским христианам» и кончает свободной вдохновенной молитвой, при начале которой все встают.

На утро я опять отправляюсь т у д а же... Перед уходом я спрашиваю свою мать, как бы испытывая ее:

— «А что, если мне предложат, как условие свободы, подписку — обязательство не проповедывать Евангелие? Что́ я должен предпочесть тогда — тюрьму или свободу?»

Мать моя, для которой этот вопрос имел и личное значение, ибо я был главной опорой в ее вдовьей старости, не задумываясь, сказала решительно: «О, конечно, иди в тюрьму! Ни за что не отказывайся от проповеди Евангелия... Бог меня не оставит», добавила она с глубокой верой.

О, как эти слова окрылили меня! Я полетел в ГПУ радостный, счастливый, что имею такую свободу... Если бы она ответила иначе, в духе малодушия, мысль и забота о ней, ее упреки пролили бы горечь в ту чашу сладкого вина, которой представлялось мне страдание за Христа...

Следователь с неизменной улыбкой на лице встречает меня. Сажусь. Он говорит тихо, не подымая на меня глаз:

«Согласно постановлению коллегии, вы высылаетесь на 3 года в Германию»... — «А если бы я предпочел сидеть в тюрьме и остаться в России?»... — «Нет, этого нельзя»...

— «В чем же моя вина?» спрашиваю я. Следователь помолчал.

— «В разложении красной армии»...

— «То-есть как это?» удивляюсь я: «Ведь, я никогда не выступал в казармах и вообще не агитирую насчет военной службы». — «Так то оно так... Да на ваших лекциях, где вы проповедуете Евангелие, в числе публики бывают и красноармейцы... и из них некоторые потом отказываются под влиянием Евангелия от военной службы».

Я развел руками. — «Кто еще едет со мной?»

— «Вы высылаетесь втроем: В. Г. Чертков (друг Л. Н. Толстого) и В. Ф. Булгаков (секретарь Л. Н. Толстого) — тоже с вами...»

Впоследствии я узнал, что это было постановление «комиссии по очистке высшей школы от буржуазной идеологии».

По тогдашнему выражению, Университеты — эти «командные высоты знания», должны быть в распоряжении представителей революционных марксистских идей.

— «Кто еще намечен к высылке?» любопытствую я. — «Эта ваша тройка последняя», говорит следователь: «больше уже мы за границу высылать не будем».

(И действительно, впредь стали высылать только на дальний север, в Сибирь и Среднюю Азию).

— «Слушайте», говорю я ему: «вот вы до сих пор все смешиваете политическую религию с чистой религией. Вы гоните и самую религию, а между тем, без нее нельзя строить общества.

Выгоняя нас, вы пилите сук, на котором вы сидите. Помяните мое слово — некогда вы в этом раскаетесь.

Народный Суд, освободив меня от военной службы на основании советского закона, предоставил мне право вести культурно-просветительную работу среди молодежи и детей улицы...

Дети без религиозного воспитания одичают и сядут вам на шею[41]). У вас лично есть дети?» вдруг спрашиваю я его.

— «Да, трое», отвечает он и затем молчит. Видно, уже и сейчас он имеет с ними не мало затруднений.

Стук в дверь. Входит Булгаков, молодой человек лет 34, с румяным приветливым лицом и совершенно седыми волосами.

«Здравствуйте, гражданин следователь! Ну, что хорошенького скажете?»

— «Вы высылаетесь на три года в Германию»...

— «Высылаюсь?... Как это грустно!... И это уже окончательно?.. Нельзя обжаловать?»

— «Окончательно».

— «Дайте мне хотя срок для устройства личных дел... для сдачи музея Л. Толстого, которым я заведую».

— «Мы можем вам дать десять дней сроку.

Вчера мы вызвали и Черткова... Старик рассмешил нас. Он явился на допрос с чемоданом. „Знаю“, говорит, „чем ваши допросы кончаются!“... Но нет, мы теперь не так суровы... Мы в тюрьму за идеи не сажаем»...

Из соседней комнаты доносится голос начальника отдела. Я решаюсь поговорить еще с ним.

— «Гражданин N., позвольте справиться у вас — за что меня высылают?»

— «Я вам скажу откровенно, гражданин Марцинковский, мы вас не считаем политическим, иначе мы вас посадили бы в тюрьму. Мы знаем, что вы человек идейный и искренний; вы всех призываете к вере в Бога — но линия вашей работы для нас в настоящее время вредна...

К вам собирается интеллигенция, белогвардейцы... Все это ютится под флагом ваших религиозных идей»...

---

[41]) Эти слова оправдываются позднейшими фактами: в России, по оффициальным сведениям, сейчас сотни тысяч беспризорных детей. Тысячи этих подростков наводят своими преступлениями панику на население, и власть не знает, что делать с этим полчищем одичалых «детей природы».

Я пытаюсь возражать, но он увлекается дальше и, возвышая голос, продолжает:

— «Ведь, мы все, все знаем. Знаем и про Самару... И еще в 1918 г. вы читали лекции в Рабочем клубе в Иваново-Вознесенске»».

— «Да, ведь, лекция была чисто евангельская. Я разбирал тогда после публичной лекции текст Евангелия для интересующихся».

— «Это все равно... Вот через три года, когда рабочие будут поумнее, тогда пожалуйте с вашей религиозной проповедью... Но самое главное зло вашей работы в том, что вы работаете среди студентов».

— «Вот уж этого я никак не предполагал... Еще я понимаю, когда меня обвиняют в разложении «сырых рабочих масс»...

— «Как раз евангельских народных проповедников мы не трогаем. Они вне связи с буржуазной классовой идеологией».

— «Да, ведь, студенты — люди сознательные».

Комиссар нетерпеливо встал и повернулся к окну.

— «Довольно дураков и среди студентов»... сказал он. «Вот вы и на собрании у евангельских христиан 22 ноября были председателем»».

— «Это у вас ошибочное сведение... Я там выступал, как обыкновенный оратор по приглашению».

— «Да, вы стремитесь создать единый фронт из всех религий — вот вы уже́ хотите православных объединить с евангельскими. Я все, все знаю... Вы называли нас в своей речи «красным зверем».

— «Опять недоразумение... Я цитировал слова Откровения Иоанна Богослова, где, церковь, прислуживающаяся мирским началам и сильным мира сего и опирающаяся на мирскую силу, называется «великой блудницей, сидящей на звере багряном»[42]).

---

[42]) Я имел в виду мирские тенденции Живой Церкви.

— «А что вы думаете о деятельности Живой Церкви?» вдруг спросил он, переходя в конфиденциальный тон и назвав некоторых лиц.

— «Лиц я не берусь судить... Я признаю необходимость реформации Церкви, но не допускаю, чтобы Церковь вновь подчинялась государству»...

— «Хамы они, вот что!» сказал он вдруг неожиданно и с презрением по адресу некоторых лиц (обвиняемых и обществом в оппортунизме).

«Мы всех их как на ладони видим».

Я опять пытаюсь протестовать против высылки.

— «Да мы вас в Сахару что ли высылаем? Ведь, в культурный центр Европы! Там с голоду не помрете»...

— «Я вам повторяю то, что уже сказал и следователю: Борясь с Богом, вы идете против самих себя... Я вполне понимаю вас, когда вы боретесь с религией, как политическим средством партии, но»...

— «Надоел он вам, этот Марцинковский!» говорит, улыбаясь, входящий вдруг из комнаты следователя Булгаков. «Пойдемте, Владимир Филимонович! Пора уж...

И охота вам спорить с ними!.. Ведь, это дело безнадежное», добавил он добродушно-шутливым тоном.

Еду домой в трамвае. Час обеденный, вагоны переполнены. Я стою среди толпы... Вагон мчится по Софийке, мимо Большого театра... Я чувствую, что вагон моей жизни катится по каким-то новым рельсам. За границу!.. Я и сам мечтал когда-то попасть туда... Я жил в разных областях России — на западе, в центре, в Москве, и на востоке (Козлов, Самара). Шесть лет провел на Кавказе, был в Финляндии... Но скольких краев России я еще не видал! Теперь меня звали за границу, в том самом письме, которое осталось у следователя; и неужели представители власти не остановились перед тем, что их решение совпадает с желанием чуждой им воли?

Прихожу домой, полный новых дум и настроений. Все уже обедают, не дождавшись меня. Я захожу в свою комнату и в краткой молитве принимаю от Бога новый период

своей жизни. Открываю Библию. Бросается в глаза стих: «И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. (1 Пар. 18. 6. Против этого стиха я поставил на полях Библии дату 2 янв. 1923 г.). Я объявил домашним о высылке. Все смолкают... У сестры по лицу катятся слезы. Она выходит из-за стола. Мать, всегда бодрая, и тут первая овладела собой. «Ну, что же! И за то слава Богу! Лучше, чем в тюрьму или в Сибирь... Я, по крайней мере, буду спокойна за тебя, что ты жив и невредим. Хорошо и то, что Рождество ты проведешь с нами»...

«И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил».

Эти воспоминания я пишу теперь, 16 января 1927 г. И я подтверждаю, что Бог всегда верен и в этом Своем обетовании — помогать рабам Своим всюду, куда бы они ни пошли, если только они идут во имя Его.

«Благословен грядущий во имя Господне» — и всякий, идущий во имя Божие, уподобляется Христу, направляющемуся к воротам Иерусалима. В конце концов только там наше отечество, где царствует Отец во славе Своей и святых ангелов, в горнем Иерусалиме; а здесь мы только странники и пилигримы, Града взыскующие, устремленные к Сиону Грядущему.

Кто-то сказал в Германии:

«Jedes Land ist mein Vaterland, weil jedes Land meines Vaters Land ist».

(Всякая страна мое отечество, ибо всякая страна принадлежит моему Отцу).

Наступило Рождество[43]). Как нарочно, Москва была удивительно хороша в эти дни — вся в пушистом снегу, белой фатой, словно грезой овеянная...

---

[43]) Праздновалось по старому стилю, т. е. 7 янв. 1923 г.

В сочельник я посетил храм одного знакомого священника, известного красноречивого проповедника. Он стремится всю общину преобразовать в духе древне-христианского братства, примыкая в церковном смысле к упомянутому выше «пресвитерианскому» течению.

На первый день Рождества внезапно умер мой близкий друг, бывший член нашего кружка, впоследствии ставший священником. Он пришел от ранней обедни домой, чтобы отдохнуть перед поздней литургией. Причесывал волосы — и вдруг упал бездыханный[41]).

Я был на его погребении. Отпевание происходило на Маросейке. В старинном небольшом храме с колоннами было душно от множества народа. Я входил в 6 часов утра, как раз, когда пели Херувимскую (в этом храме бывают иногда всенощные стояния, которые продолжаются с позднего вечера до раннего утра). Херувимскую пели на мотив известного песнопения Страстной недели, которым сопровождается обряд погребения Христа («Благообразный Иосиф»...) Этот мотив и всегда производил на меня глубокое впечатление, особенно, на заре Великой Субботы — теперь же он соединял в душе так много переживаний, связанных с памятью почившего друга! Дня за два перед его кончиной я посетил его: он огорчился сообщением о моей высылке. Мы вместе молились. Он ободрял меня, говоря, что Бог употребит и эту возможность для расширения моей работы во славу Его.

После литургии и панихиды почти весь народ пошел провожать гроб на кладбище. Духовенство шло в ризах, несли хоругви и пели. Никто не препятствовал процессии.

---

[41]) Он был в числе двух друзей, арестованных вместе со мною в Самаре; это он именно заявил, что не выйдет из-под ареста, если и меня не выпустят на свободу.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В МОСКВЕ.

Вызовы в ГПУ продолжаются. О визе в Германию я должен хлопотать сам. Немецкое консульство в обычном порядке переписывается с Берлином. Как всегда, эта процедура затягивается. Десятидневный срок уже истек. Меня опять вызывают и задают вопрос, почему я все еще в Москве. Заграничный мой паспорт давно готов; в нем не хватает только въездной визы Германии. Дни идут за днями, проходит январь и февраль. Я продолжаю читать свои лекции, — то в общине евангельских христиан, то в общине баптистов на Петровке.

Всего я прочел их, уже в состоянии изгнанника, около десяти. «Поберегись», говорили мне друзья: «а то обозлишь их — они тебе сделают что-либо хуже высылки за границу».

Помню большое собрание на Мещанской улице (в Евангельской общине) на тему: «Христос и евреи». К этому времени уже и в Москве образовалась небольшая группа евреев-христиан, и они устроили это собрание. Двое молодых евреев-христиан говорили перед этой многолюдной толпой (человек 800 было) с таким жаром о Христе и Евангелии! Особенное впечатление произвело исповедание молодой еврейки, прибывшей из екатеринославской общины евреев-христиан.

Итак, я продолжаю свои выступления.

Мог ли я молчать, когда они, проповедники атеизма, агитировали все громче?

На Рождество было устроено шествие комсомольцев. Москвичи сознательно не хотели быть даже в числе пассивных зрителей этой процессии, чтобы не увеличивать количественного впечатления кощунства. Был там мой знакомый и затем передал мне свое впечатление. Одна подробность этой процессии заслуживает внимания: изображался священник в ризе с кадилом; он кадит лениво, нарочито зевая и крестя рот. Ведь, такое небрежение осудила бы и совесть верующих — и разве это не доказывает

лишний раз, что атеизм есть иногда не что иное, как протест во имя несознаваемой правды против ее искажений. (Такое неверие Владимир Соловьев называл добросовестным). Шествие кончилось сожжением на площади изображений Христа, Магомета, Будды и т. д.

Подобные процессии скоро возбудили против себя народное мнение. Еще раньше был издан декрет, запрещающий оскорблять религиозное чувство народа под страхом наказания.

В результате, эти демонстрации были перенесены с улицы в закрытые клубы комсомола (там, напр., праздновалась комсомольская «Пасха» в 1923 г.).

На одной антирелигиозной лекции Луначарского на кафедру была подана из толпы записка следующего содержания: «Теперь я вижу, что Бога нет, ибо, если бы Он существовал, Он покарал бы вас за подобную лекцию».

Эта записка вызвала дружный смех в зале, — и именно по адресу ее автора. Видно, даже атеистическая совесть осмеивает такое заключение, ибо она знает, что, если Бог есть, то Он соединяет в себе и любовь и долготерпение. Бог признает свободу человека, попуская полное ее выявление и в дурную сторону. Он ищет *свободного* избрания Добра со стороны человека. Не потому ли в притче о блудном сыне отец удовлетворяет желание младшего сына, требующего следующую ему часть имения, чтобы пожить ему по своей воле?

И не потому ли Бог допускает сожжение изображения Христа, чтобы изобличить ложное благочестие некоторых русских людей и «вынести грехи народа перед лицо его», на всенародное сознание?

Разве нарушать заветы *живого* Христа — не значит Его «распинать в себе?»[45]) Разве возжигать лампаду перед иконою Христа и в то же время в жизни оскорблять Евангелие, «попирать Сына Божия»[46]), жить в обмане,

---

[45]) Евр. 6. 6.
[46]) Евр. 10. 29.

разврате, хищениях — не хуже, чем сжигать только Его изображение на площади? Терпел же и тогда Бог и ждал покаяния, «не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию»[47]).

О, революция — есть великое разоблачение.

И эти охмелевшие от безудержной свободы и бесшабашности юноши, — участники антирелигиозных демонстраций, — в сущности, это мы сами, только лишенные всех масок, прикрытий и декораций ложного, лицемерного благочестия.

Поистине, для выявления нашего внутреннего духовного убожества и скрытого кощунства Бог попустил эти кощунства наружные.

Иного успеха они иметь не могли, ибо отрицанием, насмешкой и критикой долго нельзя привлекать, и даже сам безбожник этим нигилизмом долго сыт не будет. Подлинно увлекает, творит и строит в жизни не отрицание, а утверждение.

И потому естественно стал привлекать внимание народа в противовес комсомолу (или, по народному выражению, — «максомолу»[48]) христомол — движение христианской молодежи. О нем недавно сообщала заграничная газета «Руль», упоминая о том, что оно организовано баптистами и имеет большой успех. Агитаторы безбожия жалуются, что христомол своими идеалами и жизнью «перетягивает» лучших представителей комсомола.

О самоотверженном исповедничестве христианской молодежи свидетельствует хотя бы нижеследующий случай, происшедший несколько лет тому назад.

Группа молодежи проповедывала Евангелие на улице, в одной деревне русской Украины. Прибывший туда отряд махновцев-анархистов потребовал прекращения проповеди — и в результате неповиновения юные свидетели

---

[47]) 2 Петр. 3. 9.

[48]) Искаженное слово «марксо-мол».

Христа были мученически убиты. Одна из них, девушка 18 лет, еврейка-христианка (Регина Розенберг) — по словам очевидцев, шла к месту казни с улыбкой восторга на лице. Показывая на небо, она словно хотела сказать: «Я иду домой». Она была обезглавлена в числе других...

В дни комсомольского шествия посетил меня профессор Х., тоже освобожденный из тюрьмы.

Старик горько возмущался бездействием московского духовенства: — «Стыдно за русского христианина... Ведь, подумайте, я ходил из прихода в приход, просил: устроим лекцию против этих кощунств в защиту истины Богочеловечества Христа! Ведь, это так уместно в дни Рождества! Если не беремся лекции устраивать, — тогда, хоть молебен отслужим! Нет, „как бы чего не вышло!“... Горе! Горе! Будете за границей — так и передайте профессору N. (он назвал имя одного из видных ученых):

„Православная церковь в России окончательно распадается“[49])... Вот, напр., на фабрике в Дорогомилове, дают материальные льготы тем, кто запишется в комсомол (а это значит, отречется от религии) — и что же? Из 96 человек только 6 не записалось. Так тяжело мне, что прямо хочется скорее уехать отсюда!» Профессор Х., преподававший в Духовной Академии, не примыкает к обновленческому движению. Ревность же его видна из того, что он, несмотря на долгое сидение в тюрьме, и именно по церковному делу, продолжал и впоследствии проповедывать в одном из храмов в Москве на чисто религиозные темы.

— «Хотя я сам не сектант», говорил он, «но я уважаю наших русских сектантов за открытую и смелую проповедь Евангелия и утверждаю, что теперь сектантство в России представляет более реальную силу, чем православие. Истинно-православных, не отпавших и готовых

---

[49]) Будущее не подтвердило этого черезчур пессимистического диагноза, справедливого, впрочем, в отношении оффициальной церкви (см. ниже).

исповедывать веру, осталось, по-моему, около 1 процента». Характерно, что такую же приблизительно цифру назвал один московский протоиерей. Конечно, это не статистика, а лишь впечатление.

А народ ищет и жаждет — и жмется к стенам Церкви, ища воды живой.

Помню, с каким религиозным энтузиазмом была встречена некоторыми революция именно в связи с вопросом о Церкви. Был всенародный молебен на Красной Площади (еще в дни Временного правительства), и один рабочий сказал: «Теперь и я пойду в Церковь. Теперь она у нас будет равная, прямая и всеобщая» (он имел в виду известную избирательную формулу).

В праздник Крещения Господня я пошел в храм Христа Спасителя. Этот храм вмещает до 20 тысяч человек. Он был полон. Я мог попасть лишь на хоры. Проповедь говорил митрополит Антонин. Слов я не мог разобрать: его гулкий бас ухал как в колодезь. (вообще этот храм при всем своем величии отличается неудачным резонансом). Из храма было устроено и обычное шествие на Иордань (т. е. крещенское водосвятие) к Москве-реке.

Очередная явка в ГПУ. Мой следователь уходит куда-то по делу и просит меня подождать у его стола, вежливо усаживая меня в широкое мягкое кресло.

У соседнего стола сидят двое молодых людей — один длинный слегка улыбающийся латыш, другой, как оказалось потом, студент-медик старого типа (не рабфаковец, т. е. не студент так называемого рабочего факультета, возникшего при университетах в дни революции для подготовки студентов из рабочей среды).

Он разбирается в чьем-то деле: повидимому, тоже следователь. Симпатичное и простое лицо латыша располагает к себе — и я чувствую желание завести с ним беседу. Достаю из кармана одну из печатных лекций рели-

гиозного характера и передаю ему. Он принимает, благодарит. (Название брошюры: «Религия, как дело воли» и «Нравственная атрофия»). Студент берет брошюру из рук латыша и, отложив свою работу, вступает в спор. «Извините, гражданин, я вам помешал?» говорю я. — «Нет, напротив, я очень рад случаю побеседовать» (вероятно, также попрактиковаться в антирелигиозной полемике).

— «Я, товарищ», говорит он, тоном уверенности, — «все это изучал. Вообще не думайте, что у нас здесь невежды сидят. Прошло то время. Я — студент-медик, и я сознательно вступил на службу пролетариату».

Сзади нас за зеленым столом сидит молодая дама лет 25, тоже оказавшаяся следователем.

Отворяется дверь. Входит священник, с бледным исхудалым лицом, обрамленным русыми волосами и такой же бородой. На вид ему лет 30. Он очень измучен. Дама оказывается его следователем. Нет свободного стула для священника. Я встаю и подвигаю к нему свое кресло. Он благодарит и тяжело опускается в него. До меня долетают отрывки его рассказа. Где-то в Сибири он арестован в связи с какой-то резолюцией прихода по поводу изъятия церковных ценностей. Его везли по этапу дни и ночи — немудрено, что он так измучен. А в таком состоянии и показания даются не совсем сознательно.

Сидит он, как тень, и в своем следователе возбуждает жалость. Дама старается говорить с ним мягко. Взор его глубоко запавших лихорадочных глаз блуждает, точно он силится что-то вспомнить или сообразить.

Мне хочется хоть чем-нибудь его поддержать.

Наши жизненные поезда идут по разным рельсам, но вот теперь на одной станции они сблизились на момент и идут параллельно, продолжая двигаться наравне.

Итак в своей беседе со студентом я имею в виду уже не столько его, сколько этого священника.

«Все это, товарищ, самовнушение, воображение... вся эта ваша религия», говорит мне студент.

— «Имейте в виду, что я не богослов, а филолог. Я и сам сомневался и силился вместо религии как раз самовнушением укрепить свою волю, но напрасно. Когда же я обратился ко Христу, я узнал на опыте новую, побеждающую силу... Для самовнушения нужна сила воли, а ее то у меня и не было».

В то время, когда я подал стул священнику, сидевший против студента латыш вышел в соседнюю комнату. Через несколько минут он возвратился со стулом в руках, предлагая его мне.

— «Вы хотите», говорю я студенту, «опровергнуть религию на основании книг, но, ведь, мы убеждаемся в ее истинности не из книг, а из опыта.

Возьмите хотя бы это изречение псалма: „Вкусите и увидите, как благ Господь". — Разве можно проверить его истинность иначе, как из опыта? Или вспомните слова Христа (и тут я стал читать отчетливо, медленно, чувствуя, что священник уже обратил внимание на наш разговор и стал к нему прислушиваться): «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».

Что думал в это время бедный священник, вырванный из тихой деревенской среды далекой Сибири, истерзанный всей этой процедурой ареста, переезда среди красноармейцев, измученный рядом бессонных ночей?

Слова Христа, те самые, которые нераз возглашал он из Евангелия в храме, во время молебна, и они раздаются здесь, в ГПУ? Среди людей, которые забыли и отвергли все на свете, как буржуазные предрассудки? И как легко человек теряется в этом лагере отрицания! «Что вы так боязливы! Как у вас нет веры!» словно слышится в такую минуту укор Христа. Все человеческие слова и построения прейдут, «небо и земля прейдут, но слова Мои, Христовы, не прейдут». Все, что против Евангелия и правды Его, — это лишь мираж и навождение; лишь Бог подлинно существует и те, кто имеет общение с Ним... А у тех, кто вне Бога, ценно лишь искание и, может быть, подчас подсознательное искание все той же вечной Божией правды.

Не знаю, что думала дама-следователь. Она писала что-то с серьезным лицом, со слов священника; он же замолк и глядел в нашу сторону, как бы очнувшись и силясь понять, где же кончается тяжкий сон и начинается светлая действительность иного мира, нездешнего.

Беседа наша закончилась мирно. Может быть, бесплодно для моего юного спорщика, но, если хоть капля освежающая упала от евангельского слова на запекшиеся от муки уста этого бедного деревенского священника, я удовлетворен своим тогдашним посещением ГПУ. Мой следователь оказался отнюдь не принадлежащим к тем фанатикам, которые и думать не хотят о иной идеологии, — когда им предложишь Евангелие, эти бедные рабы чужого мнения обыкновенно отвечают: мы этого не читаем.

Он же взял, поблагодарил. Во всяком случае, он знал что книга передается ему человеком, который убежден в ее истинности (раз уж он готов страдать за нее).

Немецкая виза все еще не приходила. Я преспокойно жил в Москве, читал лекции. Казалось, что ГПУ забыло обо мне. «А может быть, и в самом деле, они махнули рукой на тебя», говорили мне. «У них есть дела поважнее».

Но вот опять ночью стук в дверь и вызов в ГПУ.

«Как видно, вас не принимают за границу», говорит следователь. «Да, и вообще, не думайте, что вам там дадут ход. Европа привыкла к проповеди буржуазной религии»... Помолчав, он сказал: «А не хотели ли бы вы, чтобы вам заменили высылку за границу ссылкой в Туркестан?» — «Ну, это я подумаю».

Вскоре после этого я заболел и лежал в постели.

После очередного появления агента ГПУ с вызовом мой друг звонит моему следователю по телефону и сообщает ему о моей болезни. Следователь беспокоится и через несколько дней опять справляется о моем здоровьи.

— «Если вы не верите, гражданин следователь, то можете прислать вашего врача на квартиру Марцинковского».

Я в свою очередь приглашаю доктора; он осматривает меня и пишет для ГПУ соответствующее удостоверение.

Время болезни мне пригодилось. Я успел привести в порядок при помощи друзей некоторые рукописи и конспекты своих лекций для вывоза за границу. (Неразборчивых заметок не пропустит цензура: она производится в Главнауке, в Москве). Мои конспекты и некоторые лекции были отнесены туда. Барышня, проверявшая материалы, оказалась близкой к религиозным вопросам и, по ее словам, прочла рукописи с большим интересом. Все это, вместе с Библией, было зашито в полотно и скреплено печатью, вскрыть которую может лишь агент контроля при переезде через границу.

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ.

Под этим именем обобщают слишком многое, особенно за границей, употребляя этот уже устаревший термин для обозначения так называемого обновленческого движения в православной Церкви.

На самом деле так называлась в начале 1922 г. только первая группа, стремившаяся к реформе православной Церкви.

В ней участвовал и епископ Антонин. Человек он своенравный и суровый, доходящий даже в проповеди до грубых выражений, но, по-моему, честный, искренний и прямой.

Богослужение с новыми реформационными элементами в нем он совершал в Заиконоспасском монастыре, на Никольской улице. Я был там вскоре после Пасхи. Присутствовали преимущественно мужчины. Служба шла на русском языке в переводе еп. Антонина. К служению он выходил из алтаря, уже в архиерейских ризах, отменив длинную церемонию облачения архиерея, что давало повод некоторым называть архиерейскую службу не Бого-

служением, а архиереслужением. Видно было, с каким интересом прислушивались молящиеся к понятным русским словам, во многих из них как бы впервые открывая новые истины, которые оказывались очень близкими и важными (такие открытия особенно относились к кафизмам, стихирам, канонам, в которых и хорошо знающий церковно-славянский язык не легко разберется).

Евангелие он читал тоже по-русски, медленно, истово, с большим чувством; в это время он стоял на архиерейском возвышении, посреди церкви, лицом к народу. Вдруг раздается истерический визг: «Господи! Какое кощунство!... Спиной к алтарю Евангелие читает!»... Какая-то женщина не выносит подобного новшества; ее успокаивают, но она продолжает шуметь, нарушая благочиние — и прихожане выводят ее из церкви. Антонин продолжает читать, лишь раз обернувшись на крик, с огорчением на лице.

В этот же вечер он говорил проповедь, в которой объяснял, что власть в праве требовать к себе лойяльности и проверять политическую подкладку деятельности духовенства. Это делается в каждом государстве. Но с другой стороны, помимо такого контроля, Церковь должна быть свободна в своей собственной жизни и деятельности от подчинения светской власти. Так как «Живая Церковь» стала уже погрешать в этом отношении, то он, Антонин, из нее выходит. Притом он не согласен с идеей белого, т. е. женатого епископата, проводимой в Живой Церкви. Поэтому он образует отныне новую группу под названием «Возрождение».

Были и еще течения, более или менее значительные, которые доказывают, как глубоко в сердце православных русских людей лежит сознание необходимости церковной реформации. Напр., в Туле образовалась одна небольшая группа «Пробуждение». Ее представители однажды сняли свои нательные кресты и возвратили их своему священ-

нику в храме, прося его раньше приготовить их евангельским просвещением для истинного, сознательного крещения, а потом уж они будут в праве носить эти кресты.

Перед собором 1923 г. различные группы объединились в более сложную организацию, названную «Древлеапостольская Церковь». Я встречал здесь людей очень искренних, религиозных, готовых на подвиг, жаждущих подлинного обновления Церкви.

Некоторые из них, во главе с одним видным протоиереем, разрабатывавшие программу реформ, ввели в последнюю необходимость сознательного крещения по вере. При этом они воспользовались моим докладом, поданным Патриарху, и приглашали меня на деловые собрания, где обсуждался данный вопрос.

Но главные вожаки этой группы впоследствии отказались от всяких реформ вообще, боясь остаться без народа.

Но, повторяю, в среде духовенства и мирян шла эта реформаторская работа. Я был приглашен и на совещания некоторых руководителей группы. Одно из них происходило в башне Китай-города, у Ильинских ворот. Я не подозревал, что в этом древнем, на вид небольшом, сооружении внутри помещается целая квартира.

Весной 1923 г. состоялось предсоборное присутствие группы Древле-Апостольской Церкви. Я успел до своего отъезда побывать на нем дважды. Оно происходило во 2-м доме Советов на Садовой улице (в здании бывшей Духовной Семинарии)). Опишу свое впечатление.

Большой светлый зал. Впереди эстрада. Перед эстрадой столик, накрытый белой скатертью. На нем стоит образ Спасителя. Служится молебен. Проходя мимо столика, один из священников нечаянно задевает рукавом рясы икону. Она со звоном падает: при этом, оказывается, риза отделилась от иконы и упала отдельно. Что означает для реформации это знамение? рассуждали некоторые. Откроет ли она лик Христа, заслоненный ризой форм и обрядов? Или только исказит самую форму?

После молебна три епископа, несколько священников (среди них протоиерей А. Введенский) садятся за столом на эстраде.

Среди гостей присутствует и И. С. Проханов (председатель союза евангельских христиан). Выразив приветствие собранию, он просит позволения помолиться и затем произносит свободную молитву, прося у Бога благословения на съезд. Далее он излагает пожелания относительно предстоящей работы, стараясь обосновывать их на слове Божием. В ответ на его слова один протоиерей отвечает благодарностью, но, в виду поступивших уже нареканий на то, что Древле-Апостольская Церковь подпадает под влияние сектантства, говорит, что данная группа не намерена ничего менять в православии, с свободными же христианами она хочет лишь поддерживать добрые братские отношения, не разделяя обычных прежде превозношения и нетерпимости.

Один из старых евангельских христиан, присутствующий тут же, в перерыве говорит мне относительно съезда: «И то хорошо, что кости уже шевелятся... Помните, как в видении Иезекииля?»

Мне дают слово, но за поздним временем я откладываю его назавтра.

На другой день произошло несколько прискорбных фактов. Один знакомый убежденный и деятельный протоиерей оказался под арестом, другого «отвели», т. е., заставили где-то прождать до 3 часов; потом он прибыл в заседание, но оно уже кончилось. Ораторы, говорившие прямо и смело, были президиумом стеснены в свободе слова. Мне было сказано секретарем собрания, что я, как высланный ГПУ из России, вообще не имею права говорить.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день![50]).

---

[50]) Встарину на Руси в Юрьев день, т. е. 23 апреля, крепостные крестьяне могли переходить от одного помещика к другому. Отмена этой льготы при царе Борисе Годунове вызвала в народе эту поговорку, как выражение недовольства.

Нет, русская православная Церковь еще не дожила до реформации. Церковный корабль все еще ищет светского буксира. Но есть в русской православной среде живые люди, горячо стремящиеся к преобразованию церкви — в духе Евангелия, и оно придет, это преобразование, вернее преображение, через возрождение свыше отдельных лиц, в среде духовенства и мирян. И потому я так верю в евангельское движение, которое способствует возрождению личности своей проповедью Евангелия в народе. Это делают, главным образом, евангельские христиане и баптисты — к сожалению, еще не совсем объединившиеся в дружной совместной работе. Хотя те и другие звали меня в свой союз, но я считаю себя в данное время примыкающим, так сказать, к обоим течениям сразу, ибо не вижу между ними существенной разницы. Вообще же, я хотел бы в духе объединяться со всеми любящими Христа, а называться — просто христианином.

Старый баптистский деятель В. Г. Павлов еще до моего крещения сказал мне однажды: «Когда известного евангелиста Бедекера спросили, к какой церкви он принадлежит, он ничего не ответил, а только показал рукой на небо, исповедуя этим свою веру в небесную, невидимую Церковь, члены которой рассеяны по разным церквам и общинам. Так, видно, и вы себя определяете»...

ПОМОЩЬ ЧЕХОВ.

Страстная неделя была временем горьких переживаний для всей нашей семьи. Уже на Вербной неделе пришли к нам с обыском и арестовали мужа сестры. Это было чрезвычайно тяжело. Сам он был очень утомлен в это время. А тут еще я покидаю дом, как высланный. Тяжело будет в таком состоянии уезжать из дому, может быть, навсегда и оставлять в семье только одних беспомощных женщин.

Сестра написала заявление моему следователю, прося его отпустить мужа в виду ее болезненного состояния — ведь, она должна поддерживать и слабую старушку-мать и свою однолетнюю дочку. Я захватил это прошение с собой, когда пошел в ГПУ. «Не трудитесь подавать заявление: ваш шурин уже свободен», сказал следователь. «Как!» воскликнул я, вне себя от радости. — «Обыск производил неопытный агент — и он не должен был его арестовывать вовсе»...

Я вернулся домой. Его еще не было. Сестра с девочкой на руках с радостью выслушала мое сообщение. Вдруг раздаются тяжелые удары в дверь. Малютка, широко открыв глаза и улыбаясь, показывает всем своим видом, что папа пришел. Это он всегда стучит таким образом... И так мы все опять вместе. Слава Богу!

К своей малютке-племяннице я очень привык; часто в роли няньки я носил ее на руках; иногда она, словно предчувствуя нашу разлуку, прижималась к моей щеке и так жалобно напевала своим тоненьким голоском что-то в роде колыбельной песни, слышанной от матери...

После размышлений и совещаний дома я решил направлять свои стопы не в Туркестан, а за границу, так как это казалось мне более соответствующим моим ближайшим планам. И поэтому я пошел в чешское консульство попытать там счастья.

Нашлись общие знакомые с консулом Гирса; он оказался добрым человеком, религиозно настроенным, и выразил готовность помочь мне; но в такое короткое время он мог дать визу лишь на свою личную ответственность, без разрешения из Праги — а это дозволяется лишь в крайних случаях; поэтому он сказал мне:

— «Хорошо, но вы все-таки еще пойдите в ГПУ завтра. Если они будут настаивать на высылке в Туркестан и положение ваше будет безвыходным, тогда я дам вам визу в полчаса»...

Позвали опять в «скит». (Так в последнее время здесь величают духовный отдел ГПУ. Начальника его име-

нуют аввой Зосимой. А все учреждение ГПУ в народе называют: «Господи помилуй»).

Сегодня начальник на меня очень сердит.

Вбегает в комнату следователя и давай меня разносить.

— «Ну, вы, я знаю, сговорились с немцами, и нас за нос водите. Они и не думают давать вам визу»...

— «Послушайте, гражданин, вы на меня напраслину взводите», говорю я в сильном возбуждении. — «Да нет, вы нас обманываете»... — «Вы прекрасно знаете, что я всегда говорил вам правду. Никакого сговора с консульством у меня нет. Вот, хотите, позвоните им по телефону»... — «Стану я им звонить!... Я им ни на грош не верю... Знаю я эту немецкую политику»... раздраженно уже кричал комиссар. «Ну, вот, что!» вдруг обращается он решительно к следователю: «Товарищ, напишите обязательство о выезде в течение семи дней в Туркестан! Пусть он подпишет»... — «Я вам никакой подписи не дам». — «То есть как это?» остановился вдруг комиссар: «Пока не подпишете, не выйдете отсюда». — «Да, ведь, моя подпись не имеет для вас никакого смысла. Вы же мне не верите... Вот я подпишу, а на деле не исполню обязательства. Что тогда?» — «Ну, это нас мало беспокоит... Я отправлю вас военным эшелоном».

Мой следователь пишет формулу подписки, сам краснеет, как бы стесняется по своей деликатности всего этого казуса. Подает мне бумагу. «Обязуюсь в течение семи дней выехать в Ташкент»... «Постойте... А если достану визу за границу?» спрашиваю я. «Сомневаюсь», говорит следователь: «но, если достанете, мы отпустим вас за границу». — «Нет, шабаш, за границу мы вас не пустим. Уж довольно с вами возимся»... сказал комиссар и вышел.

— «А я уверен, что я получу визу, и именно в Прагу, и я достану вам ее через полчаса»»...

Следователь уходит на совещание к комиссару. Я внутренно передаю Богу свою судьбу — ведь, я и сам не

знаю, где лучше служить Ему: в Туркестане или в Праге? Через несколько минут он возвращается с ответом: «Можете ехать в Прагу... Только дайте подписку»...

Я подписал, но потом зачеркнул подпись, так как счел нужным приписать к предложенному мне обязательству слова: «в случае, если не получу визу за границу» — и тогда дал свою подпись.

— «Ну, теперь идите к чехам... Что́ они вам скажут?»...

В комнате, за другим столом, спиной ко мне, сидел протоиерей К. (из Живой Церкви) и писал какую-то бумагу.

Отворяется входная дверь, и являются... мои старые друзья — И. С. Проханов (председатель союза евангельских христиан) и его секретарь Дубровский, оба с саквояжами в руках.

— «Ба! Вы какими судьбами?» спрашиваю я их. — «Да вот вызвали из Петрограда для объяснения». — Я еще не успел уйти, как мой следователь приглашает к своему столу Проханова... Начинает допрос в знакомом уже мне порядке. Я прощаюсь с ним. «Ну, может быть, в Праге увидимся... Я собираюсь туда»... говорит он мне.

Иду в чешское консульство; это около Мясницкой улицы.

Жаркое апрельское солнце. Масса гуляющих москвичей.

У одного книжного магазина встречаю профессора Самарского Университета Т. «Здравствуйте... Мы ждем вас в Университете... Теперь там некоторые из профессоров уехали, и вы нужны более, чем когда-либо»... — «Как жаль! Но я еду за границу... Получаю «заграничную командировку», шучу я и описываю свои обстоятельства.

В чешском консульстве встречаю г. Гирса на лестнице. «Здравствуйте! Ну что?...» — «Да вот, меня действительно поставили в безвыходное положение... Высылают в Туркестан. Итак, если можете, дайте визу в Прагу».

— «Ох-хо-хо! Ну, уж если я обещал визу, так, конечно, и дам ее. Пойдемте в канцелярию».

— «Господин Г., приготовьте сейчас же визу в Прагу г. Марцинковскому».

Пока справлялись с формальностями, я иду в переднюю и звоню в ГПУ. — «Гражданин следователь!... Виза есть»... Ответ: «Приходите за паспортом, он сейчас будет готов».

Возвращаюсь в ГПУ. — «Пожалуйте, вот вам паспорт», говорит следователь. «Еще дайте подписку в том, что на вокзале вам не будут устраивать публичных проводов. А то вот Булгаков уезжал — и много шуму было на вокзале».

— «У меня к вам еще просьба, гражданин следователь, и это собственно от имени моей старушки-матери. Она просит вас прибавить мне несколько дней, чтобы я мог провести Пасху в Москве, в семье»... — «Ну, что ж, это можно... Раз уж виза есть... Я вам дам лишних три недели после числа, от которого написан паспорт»... На меня он всегда своей мягкостью и вежливостью производил хорошее впечатление, а этот его гуманный поступок лишний раз расположил меня в его сторону. Мы распрощались с искренними, добрыми пожеланиями друг другу. «Счастливого пути!... Счастливый вы человек!... поездите по Европе, свету повидаете»... сказал он мне на прощанье.

Я всегда думаю что с каждым человеком надо прощаться так, как будто видишься с ним в последний раз. И это особенно с теми, с которыми происходит какое-нибудь недоразумение.

Мне хотелось попрощаться и с комиссаром — после недавнего крупного разговора.

И вот я кстати встречаю его, спускаясь с лестницы. — «Гражданин Н., я уезжаю. Прощайте. А вы все-таки меня напрасно сегодня обидели, обвиняя меня в обмане»... Он улыбнулся. — «Да нет, это я так... Я про немцев го-

ворил... Я знаю, что вы не обманываете». — «Ну, всего доброго!»

Домой прихожу в 4 часа дня. Все уже были уверены, что я арестован. Опечаленная мать забылась сном после обеда.

Я вхожу в ее комнату. Она сразу открывает глаза. — «Ну, что?» — «Да, вот еду в Прагу». — «В Прагу? Ну, слава Богу!... Это все же лучше, чем в Туркестан!»

«Ну, скажи на милость, какая судьба», говорила она позже. «Когда-то и мне нужно было в Прагу ехать. Первый мой жених был чех З., он хотел меня увезти в Прагу. Все хвалил ее: «Злата Прага, краснэ место». Да я заробялась и отказала ему... А теперь вот ты должен туда ехать... Кто мог подумать, что так все случится? Ну, вот, слава Богу, и Пасху еще вместе отпразднуем!»

ПРОЩАЙ, МОСКВА!

Мои дни в Москве сочтены... Знаете ли вы подобное состояние?.. Так спешишь со всеми встретиться, переговорить и наглядеться на нее, златоглавую матушку-Москву... Сколько пережито здесь за эти 10 лет!

Иду посетить могилу отца на Ваганьковском кладбище. Мечтал он умереть у себя на родине в тихом живописном селе, да не судил Бог.

Внезапно, на почте, куда он в трескучий мороз, желая оказать услугу другим, пошел сдавать заказное письмо, он упал и умер от разрыва сердца на 75 году жизни, еще в 1915 году. Могила его находится под тополями на склоне кладбища, рядом с Александровской железной дорогой; оттуда непрестанно доносятся свистки поездов, уходящих туда, на его и мою родину, на юг, где много тепла и солнца!

На простом деревянном кресте надпись: «Я есмь воскресение и жизнь: верующий в Меня, если и умрет, ожи-

вет». Своей внезапной смертью, при оказании помощи другому, он как бы завещал мне: хорошо умереть на посту служения ближним.

Были минуты, когда я переживал тяжелое чувство при мысли о своей высылке. Бывало ночью проснешься, и кажется невероятно дикой и мучительной мысль — что меня отрывает чья-то вторгающаяся в мою жизнь человеческая воля. Хочешь — не хочешь, а уезжай! Но, ведь, я хочу быть здесь, со своими близкими, здесь, где столько работы...

Иногда такое чувство, точно живьем отдирают меня от места, к которому я прирос своим существом...

Вот и Пасха... В последний раз слышу звон к заутрене. Провожаю в храм свою мать. Последний раз в Москве слышу радостные гимны воскресению Христа.

Ночью после заутрени разговляемся. В Свете пасхальной радости Бог отнял у нас всякую грусть. Нет ни слез, ни вздохов — точно нет ни разлуки, ни смерти. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа!»

Радость воскресения так близка нам, Христос воскресший так победно над всем торжествует! Ведь, ради имени Его мы терпим все это, и тюрьму и изгнание. «Ради Тебя несу я поношение»... И потому Он так близок. Некогда Он отрет всякую слезу с очей тех, кто доверился Ему; но вот Он отирает их уже теперь — и Сам незримо присутствует на нашей пасхальной трапезе. Все веселые, радостные, добрые... Лица отражают не ближайшее будущее, которое придет и уйдет, но отблеск иного, грядущего Дня, невечернего, незакатного... когда все возлюбившие Его и оставшиеся Ему верными будут призваны на великую, несказанную радость брачной вечери Агнца!

Прощальное собрание с друзьями устроено в частной квартире, и всем объявлено, что на вокзал могут притти не более десяти человек.

Студенты выражают мне пожелания, пишут в особый альбом. Дарят картину чьей-то работы, где нарисован странник с посохом в руке, идущий на высокую гору

— там, на ее вершине, красуется Прага. Внизу картины надпись: «Блаженны изгнанные за правду». Приходят прощаться. О. Георгий присылает привет и напутственные пожелания из Данилова монастыря: он выражает уверенность, что все это испытание послужит к славе Божией и расширению моей христианской работы. Два пресвитера евангельской общины при прощании выражают то же убеждение, что Бог употребит это изгнание для будущего большого дела.

Вот и день отъезда — 20 апреля 1923 г.

Мать в слегка возбужденном состоянии. Она на прощание говорит мне: «Не забывай молиться обо мне».

Последний раз молимся вместе Тому, Кто может опять соединить нас в радостной встрече, если не здесь, то там, у Престола Своего.

Вещи уже вынесены на извозчика. Большими испуганными глазами смотрит на все моя маленькая любимица, чувствуя, что происходит что-то необычайное. Последние слова, поцелуи... «Пиши, не забывай, молись»...

Выхожу на улицу. Густой завесой падает весенний дождь. Высовываюсь и последний раз вижу свою мать: она стоит на лестнице подъезда, маленькая, согбенная старостью, и осеняет меня крестным знамением.

Последнее материнское благословение...

Лошадь трогает, и мы медленно двигаемся по лужам воды. Еду на Виндавский вокзал мало знакомыми улицами. И хорошо... На все привычные и дорогие места Москвы тяжело было бы смотреть в этот час. На вокзале уже ждет небольшая кучка друзей. Приезжает сестра с мужем. Мелькают еще некоторые хорошо угадываемые личности «в гороховом пальто», которые присланы быть безмолвными свидетелями моего отъезда. Это, так сказать, почетный караул.

Я уже в вагоне. Семь часов вечера. Поезд трогается по направлению к Себежу (пограничному пункту).

Прощай, Москва!..

Все это можно назвать политическими похоронами, причем покойник сознательно наблюдает все подробности своего погребения. Нет никакого основания сомневаться и в том, что с неменьшей сознательностью и физически умерший человек видит все совершаемые над ним обряды, слышит погребальные речи и т. п.

В Себеже — таможенный осмотр.

Пограничные солдаты заинтересовались одной моей религиозной брошюрой, и, так как их у меня несколько, я дарю им два-три экземпляра. Толстые стенки моего старого чемодана вызывают подозрение. Их тщательно выстукивают и даже выражают намерение их вскрыть. Я соглашаюсь, но предупреждаю о необходимости, в случае напрасной порчи, возместить мне убытки. Это убеждает недоверчивых людей в добросовестности моих слов. Как-то я проговариваюсь: «Я, ведь, высланный». Может быть, поэтому меня требуют в отдельную комнату и делают подробный личный обыск. Ничего не отнимают. На время отбирают документы, но потом все возвращают в целости и берут с меня расписку, что при обыске ничего у меня не было отнято. Из Себежа посылаю письмо, своего рода «последнее слово подсудимого», главному участнику моей высылки, в ГПУ. Пишу ему, как человеку — напоминаю еще раз, что он должен, во-первых, различать религию, как таковую, от ее политических применений, и, во-вторых, что вера в Бога нужна не только русскому народу вообще, но и ему лично, ибо и он человек, а бессмертную душу человека может насытить только Бог.

ЗА ГРАНИЦЕЙ.

Вот и граница. Канавка с водой, пограничный столб. Последний русский солдат...

И тут же рядом уже начинается новый мир...

Во френчах защитного цвета стоят латвийские сол-

даты. Один из них играет с большой лохматой собакой. В первый раз за всю свою жизнь покидаю родину, да еще при каких обстоятельствах!

Новое, странное, острое чувство наполняет душу — чувство изгнания...

Вагон сразу оживляется. Одна женщина, молчавшая до тех пор, начинает во-всю бранить российские порядки и выражать свое удовольствие по поводу приезда в «культурную Европу». Пытается вовлечь и меня в эту своеобразную радость, но она непонятна мне... Ведь, я не бегу из России, а предпочел бы остаться в ней... Она и такая мне дорогá!

Да и Европа не очаровывает меня.

Ночью хочется пить... Выхожу на станцию... «Воды нет... Не угодно ли пива?» Так и пришлось до Риги протомиться жаждой, ища глотка воды.

Нет, уж лучше наша обыкновенная «вода для питья», которой сколько угодно есть на самой захудалой станции. Мне особенно симпатично было запрещение всякой торговли алкоголем, действовавшее в то время в Р. С. Ф. С. Р. (заведенное еще при старом строе, во время войны).

В Риге читаю в местном Университете по-русски лекцию для студентов на тему «Смысл жизни». Встречаю русских друзей. Все это делает еще мало чувствительным мой переезд на чужбину.

Из Риги еду в Прагу через Польшу. Ночью проезжаю Гродно, город, в котором я прожил 17 лет — до 1913 года. Здесь прошли мои гимназические годы (от 5 до 8 класса), сюда я приезжал на каникулы из Петербурга, где учился в Университете. Здесь же шесть лет был преподавателем в гимназиях — женской и мужской. Несколько последних лет я преподавал в той же мужской гимназии, где некогда учился сам, и даже с некоторыми из тех преподавателей, которые учили меня.

Поезд подошел к станции Гродно ночью. На плат-

форме, мокрой от дождя, прогуливались щегольски одетые польские офицеры.

Трогаемся дальше. Через окно вглядываюсь в предутренний сумрак... Едем через мост. Вон Бернардинский костел, форштадт, маленькая русская (Владимирская) церковка... Сколько воспоминаний далекого детства теснится в душу!..

Золотое время преподавания русской литературы юношам и девушкам, так чутким к идеализму.

Ученический журнал, литературные и евангельские кружки среди молодежи, хождение в летнее время по деревням в качестве книгоноши св. Писания в костюме простого рабочего...

Вот и Прага... Старые друзья, близкие еще с 1904 г. по христианскому студенческому кружку в Петербурге, встречают меня на вокзале.

Как хорошо найти друзей и братьев по духу в чужом городе! Я шутя говорил им: «Меня выбросили через окно, но ваше гостеприимство подложило мне перину на мостовой». «Бог вникает во все дела их!» Впрочем, что я говорю? Прага мне не чужой город. Еще в детстве я увлекался житием Яна Гуса, поборника Евангелия, веру которого не могло победить и пламя костра.

Вот он стоит на Staroměstském náměstí, иссеченный из камня, с благородным смелым челом, подъятым к небу. «Hledej pravdu, slyš pravdu, uč pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, braň pravdy až do smrti». («Ищи правду, слушай правду, учи правде, люби правду, говори правду, защищай правду даже до смерти»). Этим заветом он ободряет меня с высоты своего каменного подножия...

Какое счастье знать правду! Лучше с ней умереть, чем без нее жить. Лучше страдать за правду, чем мучиться незнанием правды или изменой ее заветам.

ТАЙНА ПОБЕДЫ.

То, что я пережил за несколько лет в западной Европе, представляет столь многообразный материал, что изложение его требует особой книги.

Я ограничусь лишь несколькими основными впечатлениями.

Прежде всего о старушке Европе, о нашей второй родине, по выражению Достоевского. — Я коснулся ее «священных камней», но увы! — они большей частью оказались именно «камнями», изваяниями прошлого, жгучим упреком, обличающими убожество настоящего, то самое банкротство и угасание, о котором пишет Шпенглер в своей книге «Закат Европы!»

Эти памятники, начиная с памятника Яна Гуса, напомнили мне гневные слова Христа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников»...

Реформаторы далекого прошлого, Виклеф, Гус и Лютер, выступали в защиту чистого Евангелия против его человеческих искажений; они реформировали себя и Церковь во имя Евангелия.

Реформаторы же наших дней покушаются реформировать самое Евангелие в защиту человеческой моды, капризов и вкусов. И таким образом реформация вырождается в деформацию, и вино Евангелия становится пресной, скучной теорией, мутной водой, которую жаждущие отвергают с гневом и отвращением. На разных конференциях и собраниях, в храмах и университетах я имел уже случай выразить эти мысли в свете нашего религиозного опыта, насколько я в состоянии его сознавать, и в этом я вижу цель своей миссии, своей заграничной «командировки».

И не в этом ли миссия «великого русского рассеяния?»

Мы несем из России великую весть всему миру.

Мы пришли на Запад из г о р я щ е г о д о м а. Старые ценности, в том числе и религиозные, испытываются

в огне революции, и уцелевает лишь то, что зиждется на вечном Божественном основании, на камне веры во Христа, веры, горящей всецелой любовью.

«Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр. 12. 11). В России побеждает только такое цельное христианство, вернее, Сам Христос.

Всякое другое христианство, половинчатая религия, отвлеченный идеализм — горят, как солома, в огненном испытании, в горниле величайшего переворота, перед лицом величайшего экзамена, предъявившего человеку эти жизненные и неизбежные вопросы о труде, о социальной правде, о вселенском братстве, о смысле жизни, о Боге. Этот пожар испытает всю землю. «Година искушений придет на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле», как сказано в Откровении.

Мы пришли из горящего дома, а вы, наши западные братья, живете в этом же доме, только этажем повыше. Мы пришли не для того, чтобы петь вам колыбельные песни, и вы продолжали бы беспечно спать на подушке мещанского благополучия. Разве вы не слышите, что в вашем жилище уже пахнет гарью, — пахнет дымом и все это туманное богословие, и все хитроумное сооружение буржуазного христианства, которое задалось безумной целью не мир Христу покорить, а заветы Христа приспособить к миру? Когда-то русский изгнанник Герцен, разочарованный Западной Европой, хотя он был и западник, изрек о западной культуре суровое слово — что в ней «мещанство победит». И вот оно уже побеждает.

Христианство без Христа, будет ли это саддукейское либеральное отрицание живого Бога и чуда, или фарисейский мертвый догматизм, признающий лишь идею Бога и Богочеловека, но не имеющий Самого Бога, Самого Христа, — не устоит в грядущем испытании.

Вот оно идет, как буря и как вихрь.

На площади Революции, в Москве, на бывшем здании Городской Думы, начертаны слова: «Революция есть вихрь, который отбрасывает назад всех, ей сопротивляющихся».

Нет, вы не устоите перед пламенным дыханием этой бури — наоборот, все ваше компромиссное христианство, исповедующее Евангелие в теории и на бумаге, лишь готовит почву и собирает горючий материал для грядущего мирового пожара. Всякая неправда в социальной или мировой, отечественной или колониальной политике — лишнее полено в разгорающийся костер, всякая человеконенавистническая речь в парламенте раздувает его пламя...

«Мы знали, чего мы хотели, и потому мы победили», писал как-то Ленин.

— «Да, вы победите», — говорил социалистам еще до революции один оратор (архимандрит Михаил): «но после всех победителей победит Христос».

Вихрь революции отбрасывает всех, кто ей сопротивляется.

Так веруют вожди революции в свою конечную победу над теми, кто сопротивляется революции ее же оружием, т. е. материальною силою. Другой силы не признают материалисты.

Между тем, того, кто утверждает себя в духе, в Боге и Христе, того не опрокинет никакая буря и никакой вихрь — ибо он идет не против, а в ы ш е революции. И Христос победит этим Своим «в ы ш е», ибо всякий жаждущий правды, красоты и добра предпочтет то, что выше. «Не воинством, не силою, но Духом Моим», говорит Господь.

Это я сам испытал на своем маленьком жизненном опыте.

От революции не спасут никакие блокады — ибо «пожар не на крышах домов, а в умах», как говорил Достоевский в «Бесах».

Ее не победят никакие интервенции — кроме интервенции Духа, т. е. внесения в жизнь совсем новой природы возрожденного свыше человека, живущего уже не

эгоизмом, а жизнью Христа. Помимо этого возрождения, никто не может «выпрыгнуть из своей классовой кожи», по справедливому выражению социолога Зомбарта, не может из эгоиста и эксплоататора поистине переродиться в новую тварь, в сердце которой начертаны заветы Христа.

Как-то на одной из моих лекций в Москве меня спросили: когда кончится вся эта разруха?

Насколько я помню, смысл вопроса был в том — может ли все это нестроение миновать без вмешательства нового переворота, без вмешательства внешней физической силы? Я ответил так:

— «Когда в зимнюю пору поля бывают засыпаны сугробами снега — что делают земледельцы?

Берут ли они лопаты и убирают ими снег? Конечно, нет. Придет вешнее солнце, которое сверху пошлет свои горячие лучи... И растают холодные снеговые пласты...

Когда в душах русского народа взойдет Солнце Правды — Христос — все чуждое, тяжким бременем тяготеющее над нашей землей, сгинет в лучах Лица Господня, как тает воск от огня».

Русский атеизм, сковавший ледяною корою творческую мощь русского народа, есть глубокая болезнь духа.

Может быть, ее назначение в историческом процессе состоит в том, чтобы выморозить всю гниль, накопившуюся в организме русской религиозности. Это железная метла, выметающая сор из храма. Тяжелый молот, который, «дробя стекло, кует булат».

Ошибка и грех атеистов состоит в том, что они, — «выливая из корыта грязную воду, выбрасывают и ребенка». Но уже и теперь некоторые из них начинают видеть свой промах.

Бочка рассыпается, когда сбивают с нее обручи.

Так распадается государственная церковь, когда отнимается от нее помощь государства, силой железного полицейского аппарата и внешних привилегий, удерживавшая народ в церкви, словно обручами скреплявшая ее внешнее единство.

Эти обручи разбил тяжкий молот революции, и народ стал уходить из церкви. Остались в ней те, кто связан подвигом личной веры с главой ее Иисусом Христом.

Борьбу против лжи и обмана в религии благословляет Сам Бог. Но когда люди начинают метать камни и стрелы в самое небо, они обрушиваются на их же головы.

Те самые дети, которых атеисты пытались воспитать без религии, восстанут на своих родителей и учителей — и уже восстают.

Несколько лет тому назад происходило в Москве совещание духовенства и мирян православной Церкви.

Был поднят вопрос о борьбе с нарастающим сектантством.

Некто предлагал старую меру — организацию противо-сектантских миссионерских курсов.

Тогда встал убеленный сединами епископ (он же был председателем на собрании) и сказал: «Мера эта уже и в старое время показала свою негодность. Все мы должны признать, что эти штундисты гораздо выше православных в нравственном и культурном отношении. И мы победим их только тогда, когда своих православных прихожан воспитаем так, что они будут *выше* сектантов по своей нравственной жизни».

Тут опять был выражен тот же закон истинной победы — «не против, а выше, non contra, sed supra». Победа лежит в превосходстве. Поистине, борьба между людьми есть состязание в благородстве.

Побеждает *в последнем* счете тот, кто поступает благороднее.

Второе применение этого же *закона превосходства*, которое я вывел из опыта, описанного в этой книге — касается тюрьмы.

Хотите ли вы, чтобы не было тюрем?

Конечно, простейший способ решения этой социальной проблемы есть внешнее уничтожение тюрем.

Это и сделала с большим увлечением революционная толпа в Петрограде в начале переворота, предав огню знаменитый Литовский замок, Окружной суд и т. д.

Но вскоре на место этих уничтоженных зданий появились новые так же, как на место каждой головы Лернейской гидры, срубленной Геркулесом, появлялась новая.

Так же и после французской революции Бастилия осталась Бастилией — разве что поставили ее в другом месте и украсили золотыми буквами, выражающими великие лозунги: «Братство, равенство, свобода».

Тюрем не будет лишь тогда, когда будет устранена главная причина их, т. е. грех, все равно, чей грех — заключаемого в тюрьму или того, кто его сажает. Грех искони построил тюрьму. А грех не сожжешь никаким физическим пламенем. Он несгораем, а вместе с ним несгораема и тюрьма.

Но есть огонь, который сжигает и грех своим очистительным пламенем, и этот огонь принесен на землю Христом. «Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся».

Хотите ли уничтожить тюрьмы? Тогда освобождайте человека из плена греха. Поднимите его духовно. И тут опять тот же закон — «non contra, sed supra», «не против, но выше».

Кроме старушки Европы, я встретил на Западе еще одну старушку, с знакомыми и родными чертами — это нашу эмиграцию.

Как трогательна эта жажда сохранить в целости все священное на чужбине — и язык, и литературу, и обычаи, и религию, и общественные идеалы! Но как печально, что эмиграция во многом оказывается лишь такой старушкой, которая «вся в прошлом» — даже и будущее представляется ей лишь, как реставрация прошлого со всеми теми особенностями русского быта и государственности, которые и привели к катастрофе... Как будто и не

было войны и революции с потоками крови и слез! Как будто она ничему не научилась! И она предпочитает жить в созданных фантазией грезах (хотя бы и религиозных), забываясь в тяжелом летаргическом сне.

Бедная, бальзамированная Россия! Она забывает, что чудо воскресения России, как и всякое чудо, совершается не против природы и не помимо природы и реальной исторической действительности, а лишь выше природы (non contra, non praeter, sed supra).

Но, конечно, всякое обобщение и тут опасно. Лжива обобщенная мысль некоторых эмигрантов, что там, «за красной чертой» — все плохо, как в зачумленном лагере. Я видел и пытался показать в этой книге, что и там жив творящий Бог, и там «душа — по природе христианка», и в самом богоборчестве своем она подчас восстает не против Бога, неведомого ей, а против божков и религиозных предрассудков — бунтует не против религии, а против религиозного дурмана, не против служителя и священника Бога живого, а против «служителя культа», который кадит, зевая и крестя лениво рот, и заботится не об овцах, а об их шерсти.

Так и в Европе я встретил на ряду с бесплодным рационализмом и молодую, ключем бьющую энергию веры, апостольскую ревность о цельном и чистом Евангелии, о воплощении в жизнь заветов правды и братства, как основ счастливой трудовой жизни.

Встретил не только священные камни прошлого, но и живые камни, из которых создается вселенский храм...

Так и в эмиграции я нашел не мало подлинной религиозной жажды, подлинного стремления раз навсегда отделить религию от политиканства и освободить Церковь от обмирщения. Встретил горячую веру в грядущее сочетание (синтез) Правды Востока и Правда Запада, правды о Небе и правды о Земле, слияние в цельном религиозном порыве созерцательного и деятельного начала, вечно-женственного и творчески-мужественного, старых ценностей и новых дерзающих откровений.

А пока все это будет и свершится, мы странствуем в великом рассеянии, мы ходим по улицам Парижа, Лондона и Берлина — учимся и свидетельствуем о том, чему научила нас величайшая в мире катастрофа. «Слушайте русскую революцию, слушайте ее всем сердцем», и поймите ее предостерегающие уроки, те огненные письмена, которые Бог (ибо Он есть и Бог истории) начертал на стенах современного Вавилона:

«Мене, Текел, Перес».

«Твои дни сочтены! Ты взвешен на весах и найден очень легким! Разделено царство твое и отдано твоим недругам». (См. Дан. 5).

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Кончая свою книгу, я напоминаю себе и читателю цель, с которой я взялся за перо.

«В Боге восхваляю я слово Его».

Бог и слово Его — вот внутренняя тема моего изложения.

Я не пишу в защиту Бога — подобная мысль была бы безумной.

Также и лекции мои в России не имели своей целью защищать Бога.

Бог не нуждается в нашей защите, — мы нуждаемся в Его защите.

Человек и его человеческое достоинство нуждается в защите — и во имя этого достоинства нуждается в оправдании и одухотворении наша вера в Бога.

Ибо справедливо говорит Владимир Соловьев: «Верить в Бога есть наша нравственная обязанность. Мы можем не исполнять своей нравственной обязанности, но тогда мы неизбежно теряем свое нравственное достоинство»[51]).

---

[51]) «Духовные основы жизни».

В своей книге я хотел показать, что Бог есть Бог, что Он есть Царь царствующих и Господь господствующих.

Я хотел показать то, что я сам видел и испытал.

Я видел, что Бог верен и хранит каждого, кто предал себя Его воле.

Бог обращает зло и страдание во благо.

«Любящим Бога все содействует ко благу».

Тюрьма послужила мне во благо и способствовала лучшему осуществлению цели моей жизни. В те дни трудно было попасть в тюрьму для распространения Евангелия. Между тем, я уже давно вел эту работу. И вот теперь я получил не только доступ в этот запертый мир, но и помещение в нем, так сказать, квартиру со столом и надежной охраной. Я не говорю уже о многих добытых в тюрьме приобретениях, духовных и интеллектуальных, — из коих самым главным я считаю вышеупомянутое откровение:

«Со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на воле тюрьма». Разве не знакома всякому хотя бы вторая, теневая половина этого откровения? Разве не пережил каждый из нас этот горький опыт, подтверждающий, что мир, поскольку он живет без Бога, есть большая тюрьма, плен и рабство греха?

«Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей», говорится в известном коммунистическом манифесте.

Христианин же, отрекаясь от этого мира, поистине не теряет ничего, кроме цепей греха. «Христианин никогда ничего не теряет, но всегда приобретает».

В изгнании я узнал еще одну истину.

Хотя отечество мне ближе, чем чужая сторона, но со Христом и на чужбине не ощущаешь сиротства, в то время как без Христа мы и на своей родине чужие, лишние и беспочвенные изгои, скитальцы (былинка «перекати-поле», по выражению Достоевского в «Речи о Пушкине»).

Вторая цель моей книги — «восхваление слова Его».

Если кто-нибудь полагает, что мои лекции в защиту Евангелия имели в известной степени успех благодаря

моим знаниям или моему искусству спорить, то такой человек глубоко ошибается.

Никогда я сознательно не ставил себе целью победить своих оппонентов: я хотел лишь показать ложность и несостоятельность их идей, поскольку они направлены против вечного Божьего Слова. И опять скажу — не я защищал своим доказательством Слово Божие, но оно всегда приходило мне на помощь и влагало меч в мои недостойные уста и руки.

Кто-то верно сказал, что защищать слово Божие это все равно, что защищать льва, сидящего в клетке: лучше выпустить его из клетки, а уж тогда он сам сумеет себя защитить.

Когда я самодовольно и самоуверенно строил подпорки для слова Божия от своего ума, то, обыкновенно, они были посрамляемы мудростью мира сего.

Почти всегда перед лекцией я очень волновался, до физической боли. И чем больше я страдал, тем более ответственное и успешное собрание предстояло мне, как потом оказывалось.

В минуты сознания моей полной слабости, беспомощности и недостоинства мне вспоминались слова: «Довольно для тебя благодати Моей (точнее: у Меня), ибо сила Моя совершается в немощи».

Сколько раз в минуту такого уныния мне приходили на память слова Вл. Соловьева: «Иди! Ангелы Божьи идут впереди!»

И действительно, если мы предпринимаем что-либо во имя Божие и для Его славы, Бог посылает вперед огнекрылых воителей, в белых ризах, с пламенными мечами...

Ибо «не ваша война, а Божия». «Бог будет поборать за вас».

Если я иду по Его поручению, «Он со мною, как сильный ратоборец». Все мы, и более образованные в книжном смысле и полуграмотные, исповедывавшие Евангелие в России, свидетельствуем о непреложности обетования Христа:

«Ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам».

Нам нечем гордиться перед своими противниками: добросовестные и искренние из них «доблестно» защищались и нападали, и не их вина, что против пламенного меча Божьего слова они имели в руках картонный меч человеческой мудрости — скорее, это вина и несостоятельность книжной мудрости.

И потому не нам принадлежат слава и одобрение за то, что слово Бога оказывается верным. «Не нам, не нам, а имени Твоему!»

Только бы нам быть верными проводниками этого слова, звучными трубами из чистого, чеканного серебра!

Только бы быть стрелами в колчане Вседержителя!

«Туда, Господи, веди Твоих героев».

Секрет победы словом заключается не в удачном споре с противником, не в том, чтобы говорить против него, а в том, чтобы говорить выше его, с большим достоинством и благородством и о более достойных вещах.

Этой-то никем не превзойденной, возвышенной красотой дышат слова Божии.

«Мои мысли не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но, как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших»».

И потому простые рыбаки «пленяли всякое помышление в послушание Христу».

Цель слова не в том, чтобы победить противника, но в том, чтобы убедить его стать на сторону истины. И потому нужно говорить не против человека, а за человека: нужно говорить лишь против его заблуждения и греха; сам же человек — будь он самый ожесточенный атеист, — достоин искренней любви. Она-то и обезоруживает и заставляет не упорствовать в ошибочном убеждении. Самое главное в беседе — это вступить в благородный контакт с собеседником и действовать, так сказать,

изнутри его самого, исходя из его совести, а она-то всегда будет на вашей стороне, если вы действительно исповедуете Божию правду.

Против правды честный не захочет, а нечестный не сможет возражать.

В Самарском Университете, после публичной лекции «Наука и религия», я сказал перед лицом нескольких сот студентов: «Кто из вас знает научно установленные факты, противоречащие Библии, пусть выйдет вперед!»... Никто не вышел.

Другой раз в том же зале один из слушателей стал говорить против Христа. Я внутренно молился, ища ответа. И вдруг он перестал говорить, словно осекся. Он забыл свои мысли. Помолчал и сел. Я тоже ничего не сказал против него.

Высшее торжество слова Божия не в том, что оно отражает всякие нападки, а в том, что оно убеждает и Савлов-гонителей делает своими апостолами.

По неоглядным равнинам нашего отечества идет это победное небесное шествие: «впереди его Тот, у Которого очи, как пламень огненный... Имя Ему: Слово Божие... И воинства небесные следуют за Ним, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы... На одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и Господь господствующих». (Откр. 19). И я видел этот триумф Библии в С. С. С. Р., и он ширится все дальше, возрождая и преображая русский народ для светлой, творческой жизни.

«Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест: так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его».

Когда-то в студенческие годы и я воевал против некоторых истин Слова Божия, но оно оказалось выше

всего самого заветного, к чему я стремился — и мог ли я отказаться от высшего ради низшего? Мог ли я предпочесть слабость, уныние и рабство — силе, радости и свободе?

Чрез борьбу и хаос дикий,
Чрез страдание и ложь
Ты к гармонии великой
Народ измученный ведешь.
(Мережковский).

Россия больна, смертельно больна...

Но над ее смертным одром тихо склоняется Христос. Он влагает Свои исцеляющие персты в раны, истекающие кровью, покрывает их чистою ризой Своей.

На наших глазах сбываются три великих предвидения Достоевского, выраженные в романе «Бесы»: и «мужики с топорами», и комсомольские костры, в богоборческом буйстве сжигающие символы святынь человечества, и, наконец, — духовное исцеление России. Герой романа, обанкротившийся атеист Верховенский в конце концов, там на распутьи, в постоялом дворе, под влиянием Евангелия находит Бога и пророчествует о больном духовно русском народе, одержимом, словно гадаринский бесноватый: «Великая мысль и великая воля осенят «душу больного, и он исцелится и «сядет у ног Иисусовых, и будут все глядеть с изумлением».

И эта кроткая женщина-книгоноша, которая (в конце романа «Бесы») приносит евангельскую весть больной русской душе — не является ли она прообразом религиозного движения в современной России, движения ко Христу и Евангелию, рождающего могучий и радостный аккорд, которым разрешатся наши внутренние диссонасы, вековые болезни нашего духа.

Однажды Александр Блок присутствовал на литературном вечере, посвященном его поэзии. Критик указал на неестественность окончания поэмы «Двенадцать», ибо

там, впереди двенадцати красноармейцев, опьяненных буйством разрушения, изображен Христос.

Впереди с кровавым флагом
За вьюгой невидим
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз
Впереди — Иисус Христос.

В свое оправдание Блок сказал тогда, что он создал такое заключение против своей воли, и когда хотел устранить его, то не мог этого сделать, повинуясь какому-то властному, необъяснимому зову.

Конечно, неестественно, чтобы Христос шел впереди разрушения и убийства. Но вполне естественно, чтобы душа человека, утомленная разрушением, опустошенная безбожием, возжаждала света и устремилась за Христом, несущим знамя, обагренное не кровью убийств, но Своей пречистою Кровью, пролитой за всех и за вся.

И поистине «после всех победителей победит Христос», «от пули невредимый», за вьюгой и хаосом борьбы невидимый...

«И Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей; и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные». (Откровение Иоанна).

А путь к этому светлому будущему — подвиг любви и молитва веры.

О нашей родимой земле
Миром Господу помолимся.
О наших полях пустых и холодных
О наших безлюбых сердцах,
О тех, что молиться не могут...

Так говорит в своей «Молитве о России» Илья Эренбург, один из светских писателей современной России.

13 августа 1926 года умерла в Москве моя мать. Эта скорбная весть пронзила меня на чужбине. С тех пор, как она осенила меня своим последним благословением у дверей нашего дома в Москве, я так и не увидал ее больше и даже не посетил ее могилы...

Теперь я хотел бы положить на эту могилу несколько цветков, которые рождает во мне благодарное воспоминание. Это три завета-предания, которым я хотел бы следовать в своей жизни. Они так всечеловечны, что я должен поделиться ими с моими читателями.

Первое ее любимое изречение гласило:

«Будь хорошим, и везде тебе будет хорошо».

В этом простом слове в сущности заключается вся глубина и высота идеализма, вполне оправданного и жизненным опытом и Божественной мудростью: «Ищите же прежде всего Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам».

Второй завет она высказала мне однажды по поводу ораторского искусства.

Возвратясь домой после моей лекции в московском Политехническом музее на тему: «Религиозная вера, как основа жизни», — она сказала: «Все это хорошо... Но одного я не одобрила бы: ты часто употребляешь слова: „вероятно“ и „мне кажется“, „как я полагаю“. Разве можно так говорить о Боге?»... Это было лет восемь тому назад; с тех пор я обратил серьезное внимание на эту сторону своего слова, ища причину подобной неопределенности, конечно, и во внутреннем своем духовном состоянии.

Этот завет определенности и объективной ясности соответствует апостольскому слову:

«Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?»

И в третьем завете она воплотила всю свою натуру (недаром она происходила от старинной казачьей запорожской фамилии Майборода — представители которой

позднее сменили меч на крест — и уже отец ее был православным сельским священником)[52]).

«Лучше тебе итти в тюрьму, чем отказаться от проповеди Евангелия», сказала мне мать.

Этот завет мы найдем в Новом Завете, в 11 главе послания к Евреям, где говорится о людях веры, таких, как Моисей, который «лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение».

«Лучше прекрасно умереть, чем постыдно жить», говорит Антигона у Софокла.

«Лучше сто лет питаться живым, чем триста лет падалью» — говорит орел ворону в народной сказке.

Нельзя проповедывать Евангелие и не страдать.

И разве станет воин жаловаться на раны, когда видит своего Вождя истекающим кровью на кресте?

Однажды, лет десять тому назад, я был приглашен местным священником проповедывать за литургией в храме Большого Вознесения на Большой Никитской улице, в Москве. Когда я облачился в стихарь, он благословил меня у престола и дал поцеловать крест.

— «Это в знак того, что вы берете на себя крест благовествования», сказал он.

Вот и сейчас, когда я пишу эту книгу, в чужой стране, я вижу перед собой на столе все эти дни крест из зеленой хвои — кто-то положил его или забыл здесь. Какое хорошее напоминание о том, что и книгу писать не стоит с иною целью и в ином духе, как взявши крест и следуя за Ним!..

В тот вечер, когда я покидал Москву и в последний раз видел свою мать, мы вместе молились:

«Боже, дай нам вновь свидеться, е с л и не здесь, то там, у Престола Твоего».

---

[52]) Ее родной брат сменил меч на лиру и завоевал лавры на поле русского искусства красотой своего голоса (известный певец Мариинской оперы В. Я. Майборода).

А теперь отпало это «если», и я влагаю всю свою веру в три последние слова: «У Престола Твоего».

Там произойдет наконец эта встреча, которая разрешит все скорби, загадки и вопросы этой жизни.

Мы все идем туда — хотим или не хотим, верим или не верим.

Возвратясь из тюрьмы домой, я сказал матери в минуту радостного свидания: «Стоило посидеть в тюрьме ради такой радости!»

А когда мы придем т у д а, мы увидим Самого Христа в неизреченной славе, мы встретим у ног Его своих близких, и отца и мать — тогда, с высоты вечности оглядываясь на эту маленькую землю и на свое маленькое прошлое, мы скажем: «стоило ради такого несказанного блаженства там на этой земле потрудиться и пострадать из-за любви ко Христу и людям!»

И мы войдем в новый мир, где нет ни тюрем, ни больниц, ни кладбищ, где все пронизывает одна неперестающая Светлая Радость — ибо там «Бог будет все во всем».

Германия.

Гарц.

22 янв. 1927 г.

162

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Предисловие 5
Среди народа 7
В начале революции 17
Октябрь 20
Церковный собор (мои «православные» искания) . . 26
Духовный развал 38
Религиозная жажда 41
У анархистов 48
Страда революции 53
Дети улицы 66
Лекции против атеизма 72
Возвращение в Москву 78
Лекции в Богородске и Подольске 81
Вопрос о военной службе 86
Суд над церковниками 93
Антирелигиозные лекции Луначарского и др. . . . 96
Церковный вопрос. Беседа с Патриархом Тихоном . 108
Опять в Самаре 114
Утро на Волге (стих.) 124
Лекции в Московском Университете 125
В московской чрезвычайке 134
Тюремный подотдел В. Ч. К. 140
Проповедь Евангелия в тюрьме Чеки 144
Перевод в Таганскую тюрьму 150
Внешние условия тюремной жизни 154
Мое настроение 157
Братьям — сестрам (стих.) 158
Три опоры 163
Утренний звон (стих.) 164
О. Георгий 170
Лекция о красоте 173
Тюремные нравы (воры, их этика) 180
Жажда свободы (смертельная голодовка, побеги) . . 185
Православная Церковь 194

Пасха в тюрьме 202
Сектанты 205
Проповедь Евангелия в тюрьме 207
Смертники 215
Сношения с волей 223
Допрос 226
Освобождение 235
Мои лекции после тюрьмы 241
О евангельском движении 244
В русской деревне 246
В Кремле 251
В Петрограде 253
Опять в Москве 258
Лекции в Петровско-Разумовской Академии . . . 260
К вопросу о русском вероисповедании 263
Одесса 266
В московском ГПУ 270
Высылка за границу 275
Последние дни в Москве 283
Живая Церковь 291
Помощь чехов 295
Прощай, Москва! 300
За границей 303
Тайна победы 306
Послесловие 313

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ:

	Напечатано:	Следует читать:
Стран. 159 строка 5 снизу	Любянку	Лубянку
» 178 строка 5 сверху	опископ	епископ
» 228 строка 13 снизу	преследует	преследуют

На странице 224 строки 26—28 надо читать:

брал свои инструменты и пакет; никто ни о чем его не спросил.

В этот день мне открылся в Библии стих:

163

СОЧ. В.Ф. МАРЦИНКОВСКОГО МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ:

Достоверно ли Евангелие, *18 амер. центов.*

Наука и религия, *12 ц.*

Христос Грядущий, *18 ц.*

Смысл страдания, *12 ц.*

Записки верующего (из истории рел. движ. в Сов. России), *60 ц.*

Через M. L. Bréchet (pro V. M.), Vořechovka, Střešovice 409, Praha, Czechoslovakia.

Книгопродавцам скидка 33%. Книги высылаются наложенным платежом или по высылке денег (включая на пересылку 15% стоимости).

Когда люди станут братьями? *18 ц.*

Изд. «Licht im Osten», Kaiserstr. 4, Wernigerode, Harz, Германия.

Распятие и воскресение, *9 ц.*

Ко Христу, *4 ц.*

У ног Христа, *2 ц.*

Христос и юность, *2 ц.*

Даниил, *2 ц.*

Изд. «Kompas», Gdańska 130, Lodz, Польша.

Обращаться также в русские книжные магазины.

Цена 60 амер. центов